

*НОВЫЙ  
Журнал*

*117*

*THE NEW  
REVIEW*

**STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION**

(Act of August 12, 1970: Section 3685, Title 39, United States Code)

1. Title of Publication—The New Review.
2. Date of Filing—[Sept. 26. 74.]
3. Frequency of issue—Quarterly (March, June, September, December).
4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025.
5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.
6. Names and addresses of publisher, editor, and managing editor—Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025; Managing editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.
7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc.—2700 Broadway, New York, N. Y. 10025; Alexis Goldenweiser, President 523 West 112-th Street, New York, 10025; Zoya Yurieff, Secretary 46-04, 196-th Street Flushing, N.Y. 11358.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None.

9. For optional completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121, Postal Service Manual).

39 U. S. C. 3626 provides in pertinent part: "No person who would have been entitled to mail matter under former section 4359 of this title shall mail such matter at the rates provided under this subsection unless he files annually with the Postal Service a written request for permission to mail matter at such rates."

In accordance with the provisions of this statute, I hereby request permission to mail the publication named in Item 1 at the reduced postage rates presently authorized by 39 U. S. C. 3626.

(Signature and title of editor, publisher, business manager, or owner).—Roman Goul, Editor.

10. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

11. Extent and nature of circulation	<i>Average No. of copies each issue during preceding 12 months</i>	<i>Actual number of copies of sin- gle issue pub- lished nearest to filling date</i>
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1600	1600
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	390	390
2. Mail Subscriptions	1116	1125
C. Total paid circulation	1506	1515
D. Free distribution by mail, carrier or other means		
1. Samples, complimentary, and other free copies	20	21
2. Copies distributed to news agents, but not sold	—	1
E. Total distribution (Sum of C and D)	1526	1537
F. Office use, left-over, unaccounted, spoiled after printing	74	63
G. Total (Sum of E & F—should equal net press run shown in A)	1600	1600

I certify that the statements made by me above are correct and complete.  
(Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

THE  
NEW REVIEW  
Новый Журнал

---

*Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942*

*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*

*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*

*Тридцать третий год издания*

*Редактор: РОМАН ГУЛЬ*  
*Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА*

*NEW REVIEW, December 1974*  
*Quarterly No. 117*  
*2700 Broadway, New York, N.Y. 10025*  
*Subscription Price \$15. — for one year*  
*Publisher: New Review Inc.*  
*Second Class Mail postage paid*  
*at New York N.Y.*

## О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Ю. Мальцев</i> — Месть. Супружеское согласие . . . . .	5
<i>Иван Елагин</i> — Стихи . . . . .	17
<i>Вл. Максимов</i> — Стань за черту . . . . .	19
<i>Ирина Одоевцева</i> — Стихи . . . . .	45
<i>В. Шаламов</i> — Протезы. Прокуратор Иудеи . . . . .	47
<i>Зинаида Шаховская</i> — Стихи . . . . .	53
<i>Лидия Алексеева</i> — Стихи . . . . .	54
<i>Е. Валентинов</i> — Иван Петрович . . . . .	55
<i>Ольга Анстей</i> — Стихи . . . . .	70
<i>Конст. Климов</i> — Метнер и его квинтет . . . . .	72
<i>Олег Ильинский</i> — Стихи . . . . .	82
<i>Вл. Седуро</i> — А все-таки встреча Достоевского с Гоголем была . . . . .	84
<i>Ю. Айхенвальд</i> — Из цикла «Воробьиные песни» . . . . .	101
<i>В. Вейдле</i> — Батюшков и Мандельштам . . . . .	103
<i>Вадим Крейденков</i> — Стихи . . . . .	133
<i>Алла Климова</i> — «Блаженное наследство» О. Мандельштама	134

### ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Письма И. А. Буннина к Н. А. Тэффи</i> (публик. А. Зверес). . . . .	147
<i>В. Алексеев</i> — Московские протоиереи . . . . .	157
<i>С. Войцеховский</i> — Саша (памяти друга) . . . . .	165

### ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>Роман Рутман</i> — Кольцо обид (еврейский вопрос и А. Солженицын) . . . . .	178
<i>А. Шарп</i> — Б. С. Ижболдин как экономист . . . . .	197
<i>С. Пушкирев</i> — Столыпин и Кривошеин . . . . .	204
<i>Н. Ульянов</i> — Соблазны истории . . . . .	212

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: <i>Н. Натова</i> — Второй международ- ный симпозиум, посвященный Ф. Достоевскому. <i>А. Со- ловьев</i> — Русская музыка до начала XX века . . . . .	218
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ: *Р. Плетнев* — Н. Арсеньев «Дары и встречи жизненного пути». *Б. Константиновский* — В. Чалидзе «Права человека и Сов. Союз». *И. Одоевцева* — П. Муравьев «Время и день». *Р. Гуль* — А. Седых «Звездочеты с Босфора». *Ю. Иваск* — А. Крученых «Избранное». *Т. Фесенко* — В. Богдан «Студенты первой пятилетки». *Н. Андреев* — Окрыляющая книга (второй сборник Зерновых). *В. Крейденков* — Л. Ржевский «Три темы по Достоевскому». *Б. Прянишников* — Р. Гуль «Дзержинский». *В. Рудинский* — Д. Панин «Записки Сологодина». *Б. Прянишников* — Ю. Сречинский «Как мы покорялись». *Р. Плетнев* — С. Белов «Книгоиздатели Сабашниковы». *Б. Иванов* — М. Левитов. Корниловский Ударный полк. *Б. Прянишников* — Д. Левицкий «А. Аверченко». *В. Рудинский* — В. Ант «Песни Космоса и Земли». *Р. Плетнев* — Д. Гришин «Речь Достоевского о Пушкине». *Т. Фесенко* — О. Жигалова «Шалая Кассандра».

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА . . . . . 226

---

PRINTED BY WALDON PRESS, INC.  
216 West 18 Street, New York, N.Y. 10011

# МЕСТЬ

Через каждые двести метров заходил в подъезды греться. Мороз был трескучий, и легкий брезентовый плащ не только не грел, а, казалось, наоборот охлаждал. Надевал его Сергей лишь для приличия — все-таки видимость верхней одежды. Наконец, добежал до дому. Есть хотелось так, что голова кружилась. Он стал обшаривать углы своей комнатухи в надежде найти где-нибудь затерявшуюся монету, хоть копеек двадцать (иногда случалось находить), заглянул под кровать — нет ничего. Как жаль, можно было бы по крайней мере, купить стакан томатного сока. В магазине напротив. Или лучше в кафе-автомате, потому что в магазине стаканы граненые, а в кафе-автомате гладкие тонкостенные, они чуть больше граненых. Заглянул в ящик письменного стола — нет, тоже ничего. Искать больше было негде: комнатка крохотная, четыре квадратных метра, без окна, бывшая кладовка в старой петербургской квартире, превращенной ныне в коммуналку. Но и за эту кладовку он отдавал хозяйке всю свою студенческую стипендию.

В углу лежала груда новых, пахнущих типографской краской книг. В ближайшие дни нужно доставить их все адресатам, чтоб в конце месяца получить свою копеечную зарплату книгоноши в магазине подписных изданий. Но сейчас у него не было сил выйти снова на мороз. «Может быть, завтра мороз поубавится, тогда отнесу их», — подумал Сергей, с сомнением глядя на эту гору книг. Надежды на то, что мороз ослабеет было мало, он наоборот с каждым днем все крепчал. «Пожалуй, все же можно сейчас отнести пару книг по самым близким адресатам». Он вынул две книги из кучи, взял квитанции и пошел на улицу. Едва вышел из подъезда, перехватило дух,

грудь под плащем сжало ломящим кости обручем холода, свитер был слишком слабой защитой. Все-таки добежал до первого адресата без остановки. В подъезде остановился дух перевести. Прижался к теплой батарее в углу, ждал пока утихнет дрожь — оочевеншее тело, отогреваясь, судорожно вздрагивало. Рассеянно пролистал книгу, которую должен был сейчас вручить — пятый том сочинений Роллана. Директор магазина даже здесь ухитрился найти скабрзную фразу. Он обладал феноменальной способностью: бегло проглядывая вновь поступившие книги, находить в них сальности. Он со вкусом читал эти места вслух, вгоняя в краску продавщиц. Насладившись произведенным эффектом, он неизменно произносил одно и то же:

— Писатели, едренать! Классики! За что денежки получают? Заплати мне такие деньги, я тебе тоже чего хошь напишу. Еще похлеще, чем они.

И отбросив книгу с презрением, он шел в свой кабинет заниматься делом куда более важным, чем писание книг — гешефтом: я вам дефицитную подписочку, а вы мне текинский ковер...

Сергей позвонил в квартиру на втором этаже. Дверь открыл уже знакомый ему полковник в отставке, плешивый мужчина с отвислым животом и отвислыми мокрыми губами.

— Здравствуйте, я вам принес пятый том по подписке.

— Ааа, — сказал полковник, разглядывая малиновый переплет, — опять красненького мне принес. Роллан — красный, Манн — красный, Лесков — красный, Герцен — красный. Весь шкаф красный. Подписал бы ты меня на что-нибудь зелененькое.

— Подпишитесь на академические «памятники». Они зеленые, — сказал Сергей, усмехнувшись. Подписчики, никогда не читающие покупаемых книг и рассматривающие их просто как часть обстановки, были не редкостью, и он им давно перестал удивляться.

— Зеленые, говоришь? Обязательно подпишусь, — сказал полковник, суя Сергею в руку полтинник.

Сергей смущенно отказался. Брать чаевые казалось ему позором, это сразу низводило его в разряд лакеев. А полтинничек этот, ох, как пригодился бы!

— Не хочешь? Ну, как знаешь, — сказал полковник и захлопнул дверь.

Второй адрес был совсем близко. Это был дом работников искусств. Сергей знал, что здесь жили Мравинский, Черкасов и прочие киты. В просторном светлом подъезде погрелся у батареи. Позвонил. Дверь открыла красивая девушка в домашнем халатике. Взяла книгу, раскрыла, стала просматривать оглавление. Халатик распахнулся, обнажив стройные ноги. Запахнула его спокойным, ленивым жестом, без смущения. Сергей не был для нее мужчиной. А он вспыхнул, и уже спустившись вниз, вспомнил, что забыл получить деньги. Поднялся снова, протянул руку, чтоб позвонить, и увидел, что сжимает в кулаке деньги, которые, оказывается, получил, сам не заметив как.

Побежал обратно домой. Как некстати этот мороз. Как раз сейчас, на-днях, должно все решиться. А тут из дома не выйдешь. Но все же на почтамт сходить надо. Два раза в день ходил он на почтамт узнать, не пришло ли ему письмо до востребования. По его расчетам должно уже прийти. Дома лег на кровать, не раздеваясь, и еще сверху укрылся одеялом. Голодное тело не держало тепла.

Стемнело. Почтамт через час закроеся. Пора идти. Пришлось сделать над собой усилие, чтоб встать. Голова гудела, познабливало. Все-таки простудился. Что бы еще такое надеть на себя? Открыл чемодан, перебрал свои неказистые вещи, ничего не находил. Решил надеть еще одну пару теплого белья.

Продвигался снова скачками, от подъезда к подъезду. Пока переходил широкую Исаакиевскую площадь, промерз до костей. Добежав, наконец, до ближайшего подъезда, долго оттаивал. До почтамта оставалось два шага. Прошел к окошечку до востребования «от Н до Я» и протянул паспорт. Следил внимательно, как служительница просматривала пачку писем. Вдруг она вынула одно и положила перед Сергеем. Он схва-

тил его с нетерпением, отошел в сторонку, стал вскрывать дрожащими пальцами.

— Молодой человек, возьмите свой паспорт! Забыли? — окликнула его служительница.

Сергей вернулся за паспортом, потом сел за стол в конце зала и стал читать.

«Дорогой Сергей, наконец-то мне удалось узнать то, чего вы так давно добиваетесь. Сообщаю вам полные данные этого человека. Он скорее всего вышел уже на пенсию, но живет, наверно, по-прежнему в Ленинграде. Я очень долго колебалась, прежде чем решиться сообщить вам его имя, мне так страшно за вас. Ради Бога, будьте осторожны и благоразумны. Чего вы можете добиться? Какой справедливости? Какого возмездия? Сила на их стороне, и вся власть у них. И своего человека они никогда не выдадут. Ведь так, если все станут добиваться возмездия, миллионы людей, что с ними со всеми будет? У кого из них совесть чиста, и на чьих руках крови нет? Нет, никогда они не позволят нам, пострадавшим, не то что справедливости потребовать, а просто правду сказать громко, во всеуслышание. Выпустили тебя из лагеря, полуживой реабилитировали, и на том будь благодарна. Лидочка, мать ваша, все-таки счастлива, что до лагеря не дошла. Для нее все быстро кончилось. С ее красотой и с ее гордостью она бы в лагере все равно не выжила. Простите меня, что так говорю, но ей же Богу, раз раньше умерла, значит меньше мучилась. Она, наверно, и сама понимала, что в лагере ей не выжить, оттого и вами забеременела, Сережа, Бог ее прости. Непонятно это как-то все вышло. Темно. Наверно, чтоб в больницу пойти и лагерь отдалить от себя хоть немного, да еще, наверно, чтоб уйти от мучителя этого своего, от истязателя-следователя. Я вам сейчас его полные данные приведу, узнала их, наконец, от нашей сокамерницы Маши Радионовой, золотая память у нее, все помнит досконально, не то что я, старая дура, выжившая из ума. Только и помню, как Лидочка ваша приходила с допросов его заплаканная, «дворянским отродьем» он ее называл и «сукой офицерской». Потом она плакать перестала, возвращалась утром с допроса молча и молча в угол забива-

лась, к стенке отворачивалась, и ни слова от нее за весь день нельзя было добиться. Бедная девочка! Ну, да я это вам все уже раньше рассказывала. Простите, Сережа, что письмо такое бестолковое. Ну вот вам его данные: Семен Захарович Крышкин, лет ему сейчас, должно быть, примерно 65, уроженец он Рязанской области, кажется, Михайловского района, потому что в Михайлове карьеру свою начинал раскулачивателем (и это Маша запомнила, просто удивляюсь). Ну вот и все. Еще раз, Сережа, умоляю: будьте осторожны! Желаю всего наилучшего. Ваша Нина Петровна».

Сергей медленно сложил письмо и спрятал в карман. Остался сидеть за столом, задумавшись.

— Закрываем, молодой человек! — окликнула его уборщица.

Он вышел. Шел медленно, как бы и не чувствуя холода. Дома лег спать, не раздеваясь. Долго ворочался, прежде чем заснуть.

Узнать адрес Крышкина в центральной горсправке было делом недолгим. Сразу же пошел по этому адресу, на разведку. Добротный, комфортабельный дом на Литейном. Осторожно и постепенно выведал у двух девочек, игравших в мяч во дворе, что живет он в квартире № 35 один. Как удачно все складывается. Поднялся по лестнице, посмотрел расположение дверей. На его двери старый медный звонок-вертушка и надпись старомодная выбита по кругу: «прошу повернуть». Он такого повесить не мог. Явно до него кем-то повешен, старыми хозяевами, питерскими интеллигентами, им же самим, возможно, отсюда выселенными, арестованными, уничтоженными.

Как на зло была пятница. Придется отложить все до понедельника. В субботу и воскресенье соседи скорее всего дома. В будний день больше шансов застичь его одного. Хотя стены здесь старые, добротные, от соседей ничего не должно быть слышно. Но все же лучше перестраховаться.

Два дня жил в лихорадочном нетерпении. Пытался методично, шаг за шагом мысленно проследить всю предстоящую операцию, но мысли все время перескакивали на другое, путались.

В понедельник проснулся рано. Слишком рано, чтоб идти к нему. В волнении ходил по комнате. Снова и снова проверял, удобно ли, легко ли выхватывается из-под плаща финский нож, заранее им запасенный. Вынимал из кармана фото матери, долго разглядывал, потом опять прятал в карман. Это фото, сохраненное бабушкой, единственное что осталось от матери после конфискации имущества. На фото молодая миловидная девушка, слегка наклонила голову, волна светлых волос упала на плечо, смотрит из-под нависшей пряди с лукавой улыбкой. Эта лукавая улыбка всякий раз ранила Сергея жуткой несовместимостью с тем, что было потом. От этой улыбки он становился болен, а неотступная сладостная мысль о мести иссушала его и обессиливала, как лихорадка.

«Бедная Нина Петровна, видела бы она этот нож! Какая же она наивная. Она всерьез думает, что я пойду правды искать к этим толстомордым правителям».

Сергей взглянул на часы, было все еще рано. Позавтракал куском колбасы с хлебом. Колбасу эту дала ему соседка, тетя Ксения. Денег не одолжила, но колбасы дала. Станным казалось Сергею в такой момент заниматься прозаическим поеданием колбасы, но от голода он совсем обессилел за эти дни, а силы ему сейчас были очень нужны.

Было все еще рано, но ждать не было больше терпения, Сергей оделся и вышел из дому.

Когда подошел к его дому на Литейном, зашел сначала в соседний подъезд согреться. К счастью, никто его здесь не увидел, никто не проходил мимо. Потом медленно поднялся по лестнице, сберегая силы, остановился перед квартирой № 35. Снова прочел на звонке «прошу повернуть» и повернул. В тишине звонко раздался звонок, слишком звонко, как показалось Сергею, по всему дому разнеслось. Долго никто не открывал. Сергей напряженно прислушивался. Еще раз позвонил. За дверью раздалось шарканье, и недовольный мужской голос спросил:

— Кто там?

— Семен Захарович, откройте пожалуйста, — сказал Сергей, стараясь выговорить это ласково.

Дверь приоткрылась. На пороге стоял заспанный человек в синей пижаме. Лицо измято, под глазами мешки, на плешивом черепе спутанный клок волос торчком.

— Вам чего?

— По делу я, Семен Захарович, от старых друзей, — успокаивающе сказал Сергей и с улыбкой стал протискиваться в дверь. Крышкин нехотя посторонился, пропустив Сергея внутрь.

— Что за дело? — хрипло спросил он, видимо, еще плохо соображая со сна.

— Вот эту девочку помните? — спросил Сергей, протягивая ему фото матери. И пока тот разглядывал, тихо, без стука, закрыл за собой входную дверь.

— Кто такая?

— Нравится?

— Ничего киса.

— Неужели не помните?

— Кто такая?

— Подследственная ваша, Лидия Остоцкая. А я сын ее. Крышкин посмотрел подозрительно и настороженно.

— Тебе чего надо, парень?

— Неужели не ясно?

— Вот что, мне сейчас с тобой говорить некогда. Как-нибудь в другой раз... — Крышкин решительно двинулся к входной двери, намереваясь выпроводить Сергея. Но Сергей загородил дверь спиной.

— Нет уж, другого раза не предвидится.

Крышкин несколько мгновений смотрел на Сергея в упор, насупившись. Потом решительно повернулся и пошел в комнату. Сергей следом за ним. Крышкин подошел к телефону, стал набирать номер. Сергей ударом сшиб телефон на пол.

— Ты чего добиваешься, ети твою мать?! — злобно вскричал Крышкин.

Сергей молча разглядывал его. Значит, вот этот бесцветный человечешка и есть палач. Лицо заурядного пошляка, обывателя. Встретишь его на улице и подумаешь — счетовод

или завскладом. И пройдешь мимо безо всякого любопытства, а он, оказывается, вон что такое.

— Ну-ка, дай еще раз взглянуть на карточку, — попросил Крышкин. Сергей показал, не выпуская из рук, Крышкин, щурясь, всматривался. Потом сказал устало:

— Вспомнил. Ну и чего ты теперь хочешь?

— И как в ледяной карцер ее раздетой сажал, тоже вспомнил?

— Чего тебе надо, парень?

— Отмщения.

Сергей не спеша достал нож. Крышкин отступил на шаг. Сергей двинулся на него, но Крышкин с неожиданной проворностью отскочил за стол. Сергей наступал, Крышкин уходил — так сделали два круга вокруг стола. Это становилось нелепым. Сергей остановился. Он посмотрел в лицо Крышкину. Никакой ненависти он к нему не испытывал, а одну лишь неприязнь. Страстная и абстрактная мечта о мести, иссушавшая его столько времени, при встрече с этим невзрачным человечком почему-то исчезла.

— Нельзя тебе этого, парень, — сказал Крышкин, осклабясь. — Никак нельзя.

— Почему?

— Потому что от меня забеременела она. И не силком взял, сама дала, чтоб в больничку лечь. Выходит, я тебе отец.

Сергей смотрел ошеломленно.

— Не может быть, — прошептал он одними губами.

И вдруг в глазах у него потемнело от страшного удара. Крышкин, воспользовавшись замешательством Сергея, схватил со стола тяжелое мраморное пресс-папье и наотмашь ударил Сергея по голове.

Когда Сергей очнулся, над ним стояли, склонившись, двое в штатском и милиционер.

— Ну вот, очухался, — сказал Крышкин с усмешкой. — Уведите сыночка.

*Юрий Мальцев*

## СУПРУЖЕСКОЕ СОГЛАСИЕ

Проснувшись утром раньше обычного, Нина Ивановна открыла глаза и увидела ненавистное лицо своего мужа, Петра Семеновича Цапкина. Он спал на своей кровати, отделенной от кровати Нины Ивановны лишь узеньким проходом и тумбочкой. Встать Нине Ивановне не хотелось, было еще слишком рано, и чтобы не видеть эту противную ей мужнину физиономию, она отвернулась к стене и прикрыла глаза, подремывая. Можно было бы, конечно, поставить кровати в разных комнатах, но тогда в квартире из трех комнат получилось бы две спальни, монолитный стиль гарнитуров, добытых в сертифицированном магазине и составлявших гордость Нины Ивановны, был бы нарушен. Нет, Нина Ивановна предпочитала лучше терпеть неудобство общей спальни, чем разрушить гармонию своих двух гарнитуров: кабинетного и столового.

Вскоре проснулся и Петр Семенович, угрюмо взглянул на притворяющуюся спящей женой, на ее бледное, костлявое плечо, выглядывавшее из-под одеяла. Вид ее тощего бледного тела вызывал у Петра Семеновича тошноту. Одно время он даже думал, что стал уже импотентом, но месяц, проведенный им в доме отдыха в Гаграх и забавы с подвернувшейся ему там местной маникюршей, вернули ему уверенность в себе. И тем большим презрением преисполнился он к своей супруге. Петр Семенович встал и, громко отхаркивая мокроту, пошел в уборную. Нина Ивановна, приоткрыв глаза, проводила его взглядом, с презрением взглянула на его брюшко, разделенное вдавившейся в него резинкой трусов на две колышущиеся дряблые полусферы, на его короткие ноги с жирными дряблыми ляжками, и едва за ним закрылась дверь, стала одеваться.

Завтракали молча. Долго насыщались, смакуя вкусные и дефицитные (а оттого что дефицитные, еще более вкусные) яства, приобретенные в валютном гастрономе на Большой Грузинской: колбасу «Сервилат», черную икру, печенье с апельсиновым джемом. Только хлеб был из ближайшей булочной.

Кончили завтракать. Нина Ивановна стала складывать недоеденное в холодильник.

— Колбаса кончилась, надо съездить купить, — сказала она сердито.

— Возьми, да съезди, — злобно ответил Петр Семенович.

— Я что ль поеду?

— А кто ж, я? В такую грязь машину гонять, — Петр Семенович кивнул на окно, за которым моросил начавшийся еще вчера унылый дождь. Машину свою «Лада» (экспортный вариант «Жигулей») и Петр Семенович, и Нина Ивановна берегли как вещь дорогую, дефицитную, малейшая царапина на ее лакированной поверхности воспринималась ими болезненней, чем порез на собственной коже.

— Такси вызови, — резко бросила Нина Ивановна.

— Ничего, на метро проедешь, не развалишься, — огрызнулся Петр Семенович. Но, встретив грозный взгляд Нины Ивановны, все ж решил вызвать. Придвинул к себе телефон, набрал номер. Занято. Положил трубку, не снимая руки, выжидал.

— Ты совсем, я вижу, обленилась, — проворчал Петр Семенович, — с каких пор рубашку японскую постирать никак не соберешься.

— Я тебе не прачка, — огрызнулась Нина Ивановна.

— Стерва! — яростно, но едва слышно, прошипел Петр Семенович. Но Нина Ивановна услышала.

— А ну, полегче!

Петр Семенович метнул на нее злобный взгляд, но ничего не сказал. Не раз уже подумывал Петр Семенович, бросить бы ее, эту стерву, развестись и взять себе молоденькую. С такими деньгами и с его положением за него любая пойдет. Да нельзя. Во-первых, сразу пятно в характеристику. Закроют визу, и прощайте загранпоездочки. А так они вдвоем с Ниной Ивановной, как уже давно проверенный и надежный дуэт, гастролируют — он торгпредом, она секретаршей посольства. Зарплата у обоих в валюте: хочешь натурой все вези из-за границы, хочешь, сертификатами отоваривайся здесь, в Москве.

Во-вторых, квартиру кооперативную как делить? Вместе вносили взносы с двух зарплат. И машину тоже вдвоем покупали. Нет, никак нельзя разводиться. А не прочь была бы и сама Нина Ивановна. Он это знал. Тяготилась она еще больше него этой совместной жизнью, мечтала пожить независимо.

Петр Семенович снова набрал номер. Опять занято. Едва опустил трубку, как раздался звонок.

— Слушаю, — сказал Петр Семенович. До недавнего еще времени он говорил всегда «алло», но заметил потом, что это дурной тон, западническое обезьянничанье и «низкопоклонство». Никто из начальства у него в Министерстве не говорит «алло», все — «слушаю». Деловито, по-русски. Намотал себе это на ус и Петр Семенович.

— А-а, это вы, Геннадий Андреевич, очень рад вас слышать, — расплылся в улыбке Петр Семенович, хотя это и было излишней тратой мускульной энергии: не мог же видеть Геннадий Андреевич этой улыбки. — Сегодня? Да, конечно, свободен... Вечерком... Конечно. Я в министерстве до шести, а потом дома. Милости просим. И Нина Ивановна будет дома... Есть... Договорились. Добре.

Петр Семенович положил трубку.

— Сегодня вечером зайдет Геннадий Андреевич, — сказал он жене. — Обеспечь стол приличный. Там у нас, кажется, «Наполеона» бутылочка еще есть? Придется открыть. Говорит, по делу. Может, чего наклевывается.

Нина Ивановна посерьезнела. Сказала задумчиво:

— Он в Первом Европейском, в МИД'е? Там самые хорошие страны, в Первом Европейском. Если захочет, он все может. Только зазря он, конечно, хлопотать не станет. Ему чего-то дать надо.

— За нами не заржавеет, — уверенно сказал Петр Семенович и стал собираться в министерство.

Вечером, задолго до прихода Геннадия Андреевича, Нина Ивановна накрыла на стол. Достала чешский хрусталь, французский обеденный сервиз. Ради такого случая даже тележку на резиновых колесиках выкатила, поставила на нее напитки,

фрукты, из Германии ее перли, эту тележку, такую громоздкую, но так ни разу ею еще и не пользовались.

В условленный час пришел Геннадий Андреевич, деловитый, энергичный, шумный.

— В Италии не бывали еще? — деловито осведомился он еще в передней, снимая пальто. — Есть возможность прокатиться на два годика.

Петр Семенович и Нина Ивановна радостно заулыбались.

За столом разговор был целенаправленный, в стороны не отвлекались, обсуждали детали устройства Петра Семеновича в советское торгпредство в Италии на место возвращающегося через три месяца их общего знакомого, Каблукова. Нине Ивановне, разумеется, тоже место подыщется.

Проводили Геннадия Андреевича домой за полночь. Укладывались спать довольные, сосредоточенные, каждый на своих приятных мыслях.

— В Италии, говорят, посуда дешевая, — неожиданно прервала молчание Нина Ивановна, уже лежа в постели и задумчиво глядя в потолок. Обращалась она, впрочем, более как бы в пространство, нежели к Петру Семеновичу. — Венецианское стекло.

— Да, говорят, — миролюбиво подтвердил Петр Семенович, сидя на своей кровати в трусах и снимая носки. — И верхняя одежда тоже. Мужской пошив у них особенно хорош. Даже из Франции приезжают туда костюмы покупать. Надо будет мне сразу купить себе легкий костюм. Светлый. У них цвета бывают замечательные.

Он лег, укрылся одеялом и тоже задумчиво стал смотреть в потолок.

— Да, летний костюм тебе не помешает, — сказала Нина Ивановна почти дружелюбно.

В спальне царила давно уже не виданная здесь атмосфера мира и согласия.

*Юрий Мальцев*



Я жонглер-скоморох, я циркач,  
Я подбрасываю палевый мяч,

Я приплясываю весело вскачь,  
Я подбрасываю розовый мяч.

Я ловлю их и бросаю опять,  
Как пошли они взлетать и петлять,

И уже их стало в воздухе пять!

Но им жизни захотелось иной,  
Стал один из них огромной луной,

Ни за что не опускается вниз,  
Между веток удивленно повис.

И другие разлетелись мячи,  
Не дозваться их — кричи — не кричи,

Не мячи уже, а в виде ином:  
Тот драконом стал, а этот окном.

Хоть один бы мне какой-нибудь мяч,  
А из публики кричат: «Не портачь!»

Дескать, хватит дурака-то валять,  
Начудил — и поворачивай вспять!

Дескать, прорва есть других циркачей,  
И работают они половчей!

Ухвачу я что ни есть под рукой —  
Иль тарелки, или обруч какой,

Но работу я не брошу мою —  
Представление я снова даю.



Не была моя жизнь неудачей,  
Хоть не шел я по красным коврам,  
А шагал, как шарманщик бродячий,  
По чужим незнакомым дворам.

Только — что бы со мной ни случилось,  
А над жизнью моей кочевой  
Серафима стоит шестикрылость,  
А не дача и сад под Москвой.

Как доходит до славы — мы слабы.  
Часто слава бывает бедой.  
Да, конечно, не худо бы славы,  
Да не хочется славы худой.

Полетать мне по свету осколком,  
Нагуляться мне по миру всласть  
Перед тем как на русскую полку  
Мне когда-нибудь звездно упасть.



Не надо слов о смерти роковых,  
Не надо и улыбочек кривых,  
И пошлостей, как пятаки потертых.  
Мы — тоненькая пленочка живых  
Над темным неизбывным морем мертвых.

Хоть я и обособленно живу, —  
Я все же демократ по существу,  
И сознаю: я — только единица,  
А мертвых — большинство, и к большинству  
Необходимо присоединиться.

*Иван Елагин*

# СТАНЬ ЗА ЧЕРТУ

А К Т В Т О Р О Й\*

## КАРТИНА ТРЕТЬЯ

*Крыльцо дома. Напротив угол другого. Первые сумерки. Шум близкого моря. Клавдия сидит на крыльце, только что оставив вязанье.*

*ОТ АВТОРА (на фоне моря):*

*Сидя сейчас на крыльце, Клавдия силилась уяснить для себя, что с нею? Неужели то, что она почти тридцать лет лепила в одиночку, дало трещину? Когда? Где? Она вопросительно вслушивалась в тревожные шорохи моря и ей начинало казаться, что оно, разрушая берег, подбирается под самое ее существование.*

*Из открытых окон соседнего дома раздается рев запущенной на всю катушку, радиолы:*

*Так ликуя мне жить*

*В трубных звуках весеннего гимна.*

*Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь,*

*Что это взаимно.*

**МИХЕЙ:** *(выглядывая осторожно из-за косяка двери).*  
Что это?

**КЛАВДИЯ:** *(усмехается).* Братенек твой изголяется. Спи...

**МИХЕЙ:** На свет бы мне, я бы его мигом в чувство привел.

**КЛАВДИЯ:** *(тревожно).* Иди, говорю! Не ровен час...

*Михей скрывается в доме. Из соседнего дома показывается пьяный Прохор в одной исподней.*

**ПРОХОР:** *(с топором в руке).* Слыхала? Импортный! И еще два про запас... И «Темп»!.. Одних ковров болгарских пять!.. И в загатнике шевелится! И не в хибаре вроде твоей обитаю — в доме о пяти стенках!.. Вот так люди живут, по тюрмам не шляются!.. Стерва!

\* Акт первый — см. кн. 116-я «Нов. Журн.»

КЛАВДИЯ: Ну и живи с «Темпом». От него тебе, видать, теплее.

ПРОХОР: Нос воротить? Гусь свинье не товарищ?.. Не в ту сторону смотрела вовремя. Перешел мне братенек дорогу, а ты и позарилась: король! Вот и обсасывала всю жизнь девятый кол без соли. Где он теперь, король твой? А я и взаправду кум королю — трудовой народ. Мы всех эдаких, как Михейка твой, к ногтю...

*Он зло поднимает кол из-под порога своего дома и спешит вглубь двора. Но дорогу ему заступает жена его, Настасья.*

НАСТАСЬЯ: Сапоги бы хоть одел, Проша, простынешь... И что она далась тебе, эта сараюшка... Ползет и пускай ее...

ПРОХОР: *(отмахивается от нее, грозит в сторону моря)*... Твоего бога мать, жизни нет! Заела век, прорва, за что?.. А ты отойди, падла *(оборачивается, замахивается на жену)*. Не ной под руку, халява! Убью, морда!

НАСТАСЬЯ: Да ведь застраховано все, Прохор Савельич! Не терзай ты себя, Бога ради, не изводись. Не пропадет наша копейка, за все сполна вернем...

ПРОХОР: *(озверяясь)*. Положил я с прибором на твою страховку! Моя земля! И добро мое! И сарай мой! Налоги плачу? Плачу. Пусть дамбу ставят, сукины дети! Куда мои кровные идут? На культурную мероприятию? Не желаю! У меня этой самой культуренции своей — полна хата. Братишкам заводы ставим: «Хинди-руси, бхай, бхай»? А мне начхать за Насера! Пускай сам себя кабелирует, а мне от евоного света ни жарко, ни холодно! Паразиты! Всю кровь выпили!

НАСТАСЬЯ: *(прикрывает ему дорогу к морю)*. Опомнись, Проша!.. Кормилец!..

ПРОХОР: *(еще больше распаяясь)*. Уйди, курва! Не дам! Мое добро! Никому не дам!.. Что, раз она вода, так на нее и управы нет! Не да-ам!..

НАСТАСЬЯ: Ратуйте, люди добрые!

ПРОХОР: Уйди, говорю!

НАСТАСЬЯ: Проша!

ПРОХОР: Убью-ю!

*Появляется модно одетая Анна. Ее появление вызывает в Прохоре еще большую злость. Он сплевывает в сердцах и скрывается в сторону моря.*

АННА: (*в сторону исчезнувшего Прохора*). Что это он?

КЛАВДИЯ: (*усмехается*). Сараяшка его под берег сползает. Для него убыток...

АННА: Здравствуйте... Я не знала. Там открыто... Я и вошла...

КЛАВДИЯ: А вошла, так и садись... И... здравствуй.

АННА: Я — Анна! Может, Андрей говорил вам?

КЛАВДИЯ: Нет, не говорил. Только я и без него знаю... Ну так что скажешь?

АННА: Собственно, сказать мне вам нечего. Просто захотелось посмотреть на вас: какая вы? И, может быть, потом — поговорить.

КЛАВДИЯ: Это значит, коли понравлюсь?

АННА: Слово не совсем точное, но по смыслу вроде того.

КЛАВДИЯ: Ну и как?

АННА: Я еще не разглядела.

КЛАВДИЯ: Однако, женщина, ты видно, с характером.

АННА: Скорее, как это говорят, с норовом.

КЛАВДИЯ: (*усмехается*). С норовом? А с одним мужиком справиться не можешь?

АННА: А зачем?

КЛАВДИЯ: Не любишь?

АННА: Люблю, только я не укротительница и мне прирученный лев ни к чему: я сама с зубами и за себя постоять сумею. Закурить у вас можно?

КЛАВДИЯ: Кури, коли охота, только к чему это бабе? Облегченья никакого, одна муть в голове.

АННА: Пробовали?

КЛАВДИЯ: Пробовала. Все я, девонька, пробовала. И курила, и пила, и каялась, и сызнова грешила. Самую себя в грехе не утопишь, растравишь только пуще... Давно не был?

АННА: Вторую неделю. Я знаю, он у вас был.

КЛАВДИЯ: А я и не скрываю.

АННА: Вспоминал?

КЛАВДИЯ: Нет.

АННА: (*курит, ходит по комнате*). Ну, конечно, не до меня, мировая скорбь сдает.

КЛАВДИЯ: Что у вас с ним?

АННА: А я и сама не разберусь. Если это любовь, то не-

людская какаля-то. Как врозь, так хоть в петлю, а сойдемся, словно кошка с собакой.

КЛАВДИЯ: В отца. Тоже все гадает, все прикидывает вдруг не та, вдруг лучше пропущу. Поищет, пойдет, потом посмотрит — нету лучше? — и вернется с повинной, вернется. Это ты уж мне поверь.

АННА: Да сколько же мне ждать его! Да и стоит ли? После всех-то?

КЛАВДИЯ: Я себя, голубушка, не спрашивала: стоит ли? Сразу с первого взгляда знала: стоит! Одного ожидания этого самого стоит. Королевичей много по свету ходит, а Бова у бабы один. Обласканный ли, обруганный, целый ли, битый, все равно — один... А коли ты еще о том спрашиваешь, скажу, хоть и сын он мне, не стоит.

АННА: Не так вы меня поняли. Для него стоит ли? Вот в чем вопрос, как говорят. Для себя-то я давно решила... Что ж мне скрывать от вас, много их у меня «королевичей» было... Пожила, можно сказать... Только Бовы не было... А если уж и Андрей не Бова, тогда мне и жить незачем...

КЛАВДИЯ: (*в полузабытьи*). Господи! Когда повстречала я в первый раз Михея и все думы мои, все сомнения разные девические думы пошли. Так ясно, так легко на душе стало, словно и жить-то я раньше не жила, дышать-то не дышала. Видела до того, к примеру, дерево, думала дерево и есть, только оно вдруг для меня листиком всяким, былинкой, затрепетало. И лицо любое, какое ни возьми — сособиной. А как он вел меня слободой, так, словно, не шла я — плыла. А под венцом стояла, чудилось — вот-вот песнею в воздух изойду. И ничего черного не помню. Не хочу помнить и все тут!

АННА: Легко же вам жить на свете.

КЛАВДИЯ: Тебе мою жизнь: не снесла бы. А мне и вправду легко было. Коли на сердце праздники помнятся, тогда любая тяжесть легкая.

АННА: (*пронзительно*). А если и не случилось у меня праздников-то? Одни будни?

*Показывается Андрей. Он устойчиво и глухо пьян.*

АНДРЕЙ: Привет, мать! (*Заметив Анну*). Чуткое сердце мое подсказывало мне, что вы здесь, мадам... По какому такому случаю, позвольте вас спросить?

КЛАВДИЯ: Я позвала. И потом ты к матери пришел, а не в кабак, кепкуними... И сядь.

АНДРЕЙ: (*садится*). Это что, заговор обреченных? Следствие по делу Карамазова? Раскольников и другие?

КЛАВДИЯ: Больше у нас и говорить не об чем! Чаевничать вот с Аннушкой собирались. Я сейчас.

*Клавдия уходит.*

АННА: Мать твоя сказала неправду: я пришла сама.

АНДРЕЙ: Разозлить хочешь? Так вот: мне все равно. Плевать, то есть. Понятно?

АННА: Не накручивай себя понапрасну, Андрей, я ведь не навязываться пришла. Давай по-людски.

АНДРЕЙ: (*вскакивает*), Хватит! «По-людски»! А я не хочу, слышишь не хочу! Все, кому не лень, учат: «живи по-человечески», «делай, как все», «равняйся на соседа». А что это значит: «как все»? Почему я должен: «как все»? Что это за образец такой, что за форма? С бабой живешь — в загс иди, пить хочешь — дома пей, у соседа двое штанов и ты не отставай!.. Праздник пей, будни молчи. А может, мне и пьется только по будним дням, а от одного вида дуры в фате меня с души воротит. Тогда что? Не желаю иметь специально праздничных порток и говорить о них в теплом домашнем кругу! Первая встречная пропитая рожа мне во сто крат милее и дороже любого, самого близкого родственника.

*Входит Клавдия.*

КЛАВДИЯ: И матери тоже?

АНДРЕЙ: Нет, мать, полемиста из тебя не выйдет: пользуешься запрещенными приемами. И потом, переводить любую абстракцию в личную плоскость!

АННА: Сам ты бьешь наотмашь, не глядя куда.

АНДРЕЙ: Простите, не заметил.

АННА: Бьешь и проходишь мимо. Некогда тебе, Андрей, замечать ударенных, ты собой занят. Собой, своею выдуманной бедой, своею болью. А все это оттого, что не можешь ты найти в себе мужество смириться с собственной ординарностью. Ты, милый, типичный провинциальный химерист в ухудшенном современном переиздании. На самоубийство тебя не хватит, а жить «как все» гонор не позволяет, так что выход один, причем самый безболезненный — кабак.

АНДРЕЙ: Ты хочешь, чтобы я спорил, негодовал, доказы-

вал? Творческая, так сказать провокация. Только я не подопытный кролик: не клюну!

*Неслышной тенью у крыльца обозначается Ильинична.*

ИЛЬИНИЧНА: А я и смотрю, быдто...

КЛАВДИЯ: Садись у... гляделка...

АНДРЕЙ: Ты, карга, всегда вовремя. Не иначе как с по-  
тусторонними силами связь имеешь.

ИЛЬИНИЧНА: Господь с тобой, Андреюшко, какая связь, мне летось на седьмой десяток перевалило. *(Пристально рассматривает Анну)*. Это у вас, молодых, одно на уме...

КЛАВДИЯ: Это Аннушка, невестка моя новая... Люби и жалуй.

АНДРЕЙ: Без меня — меня женишь, мать.

ИЛЬИНИЧНА: Пора бы уж, Андреюшко. До коих пор пивные считать. Встань на постой, детишек разведи... У такой-то девки, они здоровы да справны будут... А я в крестные напрошусь.

АНДРЕЙ: *(встает, потягивается, зевая)*. Не хватает мне только ведьмы в свояченицах. Сосну я у тебя, мать, по старой памяти под образами великомучеников. *(Идет к двери)*. Покедова!. *(Клавдия порывается ему наперерез, но тот уже распахивает дверь)*. Тьма тараканья. *(Нащупывает выключатель, щелкает)*. Лампочки, что ли, лишней жалеешь, мать?

КЛАВДИЯ: *(обеспокоенно опускается)*. Перегорела... Шел бы ты во времянку... Что в эдакую-то жару в доме преть.

АНДРЕЙ: Пожалуй. *(Прикрывает дверь, идет и по дороге сталкивается лицом к лицу с входящим Алексеем Ивановичем и Пашей)*. Оркестр, туш!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: *(проходя мимо него)*. Клоун!  
*(Всем на ходу)*. Зрасте.

ПАША: *(сухо, всем)*. Зрасте.

*Поднимается на крыльцо.*

КЛАВДИЯ: А ужинать?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ *(на ходу)*: Мы уже... в чайной...

ПАША: Спасибо, мама.

*Скрываются в своей комнате.*

АНДРЕЙ: Демонстрация, мать. В знак протеста. Не хватает только транспаранта... «Работы! Хлеба!» По всем правилам разыгрывает. А впрочем, ну вас всех к дьяволу!

*Уходит.*

**ИЛЬИНИЧНА:** Какая только вас всех понче муха укусила, ума не приложу.

**АННА:** (*встает*). Вот и поговорили. Не вовремя я... Впрочем, я всегда не вовремя. (*Роется в сумке, достает деньги*). Проснется, отдайте, пусть выпьет. Все равно утром по городу унижаться пойдет.

**КЛАВДИЯ:** Погоди, девонька. (*Ильиничне*). Поди-ка, постели Андрею, а то он спяну и так ляжет.

**ИЛЬИНИЧНА:** (*идет к выходу*). Почитай сорок лет окно в окно без секретов жили...

*Уходит.*

**КЛАВДИЯ:** Не с пустым интересом пришла ты ко мне, Анна. Такие, вроде тебя, по-пустому не любопытствуют. Не таись.

**АННА:** (*глядя в пространство*). Хотелось посмотреть, какова бабка у моего первенца будет.

**КЛАВДИЯ:** (*вдруг теряет всю свою суровую осанку, обмякает и делает шаг к Анне*). Неужто вправду сподобилась я... милая ты моя... Анна... Аннушка...

*Рожденный мгновением прорыв бросает женщин друг к другу. И вот уже, обнявшись, посреди комнаты, они плачут, плачут по-бабьи, навзрыд, облегченно и очищающе.*

**ОТ АВТОРА:**

*Слова по ту сторону двери вот уже второй день заставляли его заново и заново переживать все, что он жадно хотел вычеркнуть из своей жизни и забыть. И в этой их неотвратимости таилась для него какое-то обязательное и жестокое предопределение. Миновать которое ему было не дано. И у всех в комнате за дверью не теплилось к нему ни жалости, ни снисхождения... Тогда почему же каждое случайно оброненное худое слово и всякий случайный, вгорячах сделанный шаг, так больно и горько аукнется ему сейчас, когда он впервые наверное в жизни почувствовал было себя свободным от прошлых грехов.*

**ЕГО ВТОРОЙ СОН**

*Лес ранней осени сорок первого года. Слышится далекая канонада. Из лесу к землянке выходит Михай с раненым товарищем на плечах. Осторожно опускает его на траву. Из землянки показывается давно небритый мужик.*

МИХЕЙ: Ты кто?

МУЖИК: Не видишь — человек.

МИХЕЙ: Вижу. А какой?

МУЖИК: Сам по себе.

МИХЕЙ: А что сидишь тут?

МУЖИК: А то и сижу, что сам по себе. Пусть колготят. Поколготят, поколготят, перестанут. А я посижу. Я божий человек: мне мало надо.

РАНЕННЫЙ: (*бредит*)... Ты мне, тетя, ледку бы с погреба на опохмелку... Куда бы, как хорошо!.. И рассол — он тоже помогает... А жена? Какая жена? И нету у меня никакой жены вовсе... Куда она мне... Сам с воды на хлебушек... И молодой опять же...

МУЖИК: Шли бы вы от греха своей дорогой. Здесь сторожка... Здесь раз и нету.

МИХЕЙ: Я-то, мотя, пойду, а этого тебе на память оставлю, не обессудь.

МУЖИК: Да ты, что, мил-человек, имей Бога! Куды ж он мне, самому бы протянуть.

МИХЕЙ: А это уж твоя забота, мотя. Ты же человек божий. Да и помрет он скоро, думаю, так что всей и работы, что схоронить.

МУЖИК: И ни-ни! Я, говорю — сам по себе...

РАНЕННЫЙ: (*бредит*)... Не ходи, не ходи, застукают... Там кругом — немцы. Бери левее, браток... Еще левее...

МИХЕЙ: И вот что, мотя, одолжи мне свой пиджачок и тряпочки поносить: кончится эта заварушка, наведывайся — отдам.

МУЖИК: (*шарахается от него*). Да ты что, малый, имей совесть.

МИХЕЙ: Хотел у тебя занять, да тоже, вроде, нету. Давай, давай, сбрасывай... Или по-хорошему попросить?

МУЖИК: Да что же это, Господи? Сидит себе человек, никому не мешает, а ему грозят: скидавай. А по какому такому праву?

МИХЕЙ: А по праву вот этот (*показывает ему кулак*), видишь. Дам раз и пиши Господу.

МУЖИК: Бога на тебе нету.

МИХЕЙ: А ну, падаль!..

МУЖИК: (*начинает раздеваться*). Порты-то оставишь?

МИХЕЙ: И порты... И лапти тоже снимай...

МУЖИК: Поимей совесть... Снег близко — смерзну...

МИХЕЙ: Мое бери... Новое...

МУЖИК: *(уже в одном исподнем шарахается от него)*. Куда я с твоим-то, сообразил? Встретит немец — враз кончит... Забирай окаянный... Христопродавец! И етого тожесть тащи... И на том спасибо.

МИХЕЙ: Говори, говори. Давно ведь молчуном сидишь... Да и мне одеваться веселей... Я с детства балагуров люблю... Ну, вот и порядок... Покедова, мотя, душевный ты человек...

МУЖИК: *(бросается за ним)*. Век Богу молить буду, за-бери, оттащи куда не то... Не губи душу! Родимай-ай! *(возвращается, подходит к раненому)*. Эй!.. Эй!..

РАНЕННЫЙ: *(бредит)*... Эх, мать, была бы у тебя дочь, я бы ей письма писал... Когда есть куда писать, война легче... Я ведь еще и молодой совсем...

МУЖИК: *(поднимается над ним и, плача навзрыд)*. И куды я с им, Господи.

*Канонада.*

ОТ АВТОРА:

*И об этом тоже не забывай, Михей Савельич, не забывай!*

#### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

ОТ АВТОРА:

*Когда там, под Ельней, «мессеры» разогнали их колонну по ближним перелескам, и Михей, после тягостных блужданий березняками и осинниками Смоленщины, с обессиленным Плющом на спине, наконец, сложил товарища в случайной лесной времянке и ушел один, он едва ли думал о том, что тот выживет. Потому и прихватил с собой, казалось, ненужные уже задыхавшемуся Плющу, пожитки и документы, которыми потом и пользовался долгое время.*

*И откуда было знать Михею, как гоняли все-таки выжившего Плюща за чужие грехи по этапам и следственным комиссиям, пока доказывалась в конце концов, полная непричастность его к тому, давно и безуспешно разыскиваемому Плющу, которым жил все эти годы Михей. Не сладок, совсем не сладок был хлеб, каким по милости Михея, столько времени давился брошенный им под Ельней друг.*

*Но разве Михей мог предполагать, что все обернется именно так? А жизнь, тем временем, наступала его снова.*

*Горница. Следующий день. Клавдия, сидя у окна с вязанием, тихо напевает.*

*Из соседней комнаты показывается голова Михея.*

МИХЕЙ: *(оглядывается)*. Одна?

КЛАВДИЯ: Заходи.

МИХЕЙ: *(осторожно заходит, садится против нее)*. Один сын, выходит, и есть у меня, Кланя?

КЛАВДИЯ: Семен всем теперь сын, Михей. Божий он человек, ему всех жалеть надобно.

МИХЕЙ: А я-то ждал...

КЛАВДИЯ: А что ты ждал, Михей? С музыкой, с хлебом-солью встретят, в красный угол усадят.

МИХЕЙ: *(начинает закипать)*. Да что же это за время такое: ни крови, ни родства не признают! Бога потеряли!

КЛАВДИЯ: Под старость-то и о Боге вспомнил. А уж, как аукнется, так и откликнется. Брось в кого камень, когда-нибудь все одно в тебя же и попадет.

МИХЕЙ: И ты туда же? Потому их и собрали тут, чтоб все слышал, чтоб корчился, чтоб локти кусал, чтоб слезы твои за дверью у тебя отплакал своими собственными.

КЛАВДИЯ: Твоя правда: нарочно я их тут — в доме собрала, а зачем — скажу. Затем, чтоб понял ты, наконец, какой пыткой я без тебя пытана, каким огнем калена, какими слезами истекала, понял бы и уж ни в кои-то веки не заставил меня больше через то же самое пройти и остался бы со мною до гробовой доски, как опора и надежда моя.

МИХЕЙ: *(тянется к ней, гладит по плечам и голове)*. Кланя, Клавушка. Шел я к тебе, потому как знал: не оттолкнешь, примешь. Всю жизнь свою крадь несбыточных искал, а крадя моя из несбыточных самая несбыточная под носом жила, бита мною и мучена была. *(Продолжает оглаживать ее)*. Снова я тебя нашел, на всю жизнь нашел...

КЛАВДИЯ: Горький ты мой, долгий. Да я во сто крат пройду за все твое, и за темное, и за светлое.

МИХЕЙ: Кланя, Кланя... Все бы только и повторял.

КЛАВДИЯ: Вот и повторяй, а я слушать буду.

МИХЕЙ: Кланя-я-я...

КЛАВДИЯ: Долгий-и-й...

МИХЕЙ: Защити-и-и...

КЛАВДИЯ: Укрою-ю-ю...

МИХЕЙ: Спасибо, Кланя, я.я...

*Шаги на дворе. Стук двери в сенях.*

КЛАВДИЯ: К себе иди... Скорее, Михеюшка...

*Михей только успеваает скрыться за дверью, как входит*

*Паша.*

ПАША: *(мимоходом)*. Добрый вечер, мама. *(Поднимается было к себе)*.

КЛАВДИЯ: Вечер добрый. Что ж без мужа?

ПАША: Задержался у себя, сейчас подойдет.

КЛАВДИЯ: А что ж спешить-то, посидела бы с матерью. Рассказала бы новости свои.

ПАША: А какие у меня могут быть новости. С десяти до пяти отбарабанишь, вот и все новости.

КЛАВДИЯ: Ну просто так посидела бы, посумерничала со мной.

ПАША: *(подходит, садится против матери на краешек стула)*. Да, мама?

КЛАВДИЯ: Да я просто так хочу с тобой посидеть. Старую я, а старым всегда в одиночку скучно. И чего ты от меня все сторонисься.

ПАША: Вы все сами знаете, мама. Леша говорит...

КЛАВДИЯ: Что ты все «Леша» да «Леша», у тебя небось и своя голова на плечах имеется. Вот и скажи мне что-нибудь от себя.

ПАША: А я уж и сказала, нечего мне, мама, добавить к этому.

КЛАВДИЯ: Давай с тобой по душам, не как мать с дочкой, а как баба с бабой, а?

ПАША: Если вам хочется...

КЛАВДИЯ: *(снова возникает музыкальная тема ее молодости)*. Еще и как хочется-то! Вот ты все об отце плохое знаешь, а ведь у нас с ним и хорошо было. И сколько! Ты мне побои его вспомнила, а того не знаешь *(выходит почти на проscениум и продолжает уже в пространство, в зал)*, как он, когда впервой схватило, поднял меня на руки, и, как потом, все так же на босу ногу, всю ночь под окном стоял, а лишь закричала ты, навзрыд слезами зашелся и все к стеклу лепился: увидеть тебя хотел... Еле домой утащили. И день тот, и слезы те его мне за все побои во сто крат награда.

ПАША: Мамочка, ведь я не против, только Леша! Леша как же? Муж ведь он мне!

КЛАВДИЯ: ...А как рубахи свои праздничные на пеленки рвал? А как сапоги свои свадебные загонял тебе на крестины? А как ногами от любой былиночки тебя собой укрывал, когда ты уже на ладан дышала, и последнее из дома тащил не на водку — на лекарства тебе, на фрукты-ягоды разные? (*с горечью*). Ведомо ли тебе, Паша-Пашенька?..

ПАША: (*растерянно и жалко*). Мама... Мамочка.

КЛАВДИЯ: Да, была я его рабой, работою и осталась. Только раба рабе рознь. Бить — бил, пить — пил. Зато на людях высоко мою честь держал, словно не он вовсе, а я головой в доме была. Потому, как любил... Бывало, идем по городу, народ расступается: пара!

ПАША: Мама, так я на все согласна, поговорите вы только с Лешей!

КЛАВДИЯ: (*не слушая ее*). И за это я Михею своему благодарная. А на тебя, не обессудь, мне — матери твоей — смотреть совестно. Перед людьми — срам. Словно тень около него, словно и нет тебя вовсе, словно ты и не человек уже, а шлея при муже.

ПАША: За что вы меня, мама?

КЛАВДИЯ: А вот за это самое. Моя кровь, а будто разбавленная. Взбунтуйся хоть раз! Посуду перебей что ли. Или ночевать не приходи.

ПАША: Что только вы говорите, мама!

КЛАВДИЯ: А то и вправду — любовника заведи. Или напейся до бесчувствия!

ПАША: Слушать вас и то страшно. Мама!

КЛАВДИЯ: Вот то-то и оно, что все тебе страшно. Такой останешься, будешь жить как в сказке: чем дальше, тем страшней.

ПАША: Уйдет он от меня, куда я денусь?

КЛАВДИЯ: А куда я с вами с тремя делась? Всем была: и швея, и жнец, и на дуде игрец, а выжила, да не одна — с вами вместе. И отец знал, что выживу, не пропаду, потому и ушел с легким сердцем. Верил: не сокрушится его законная... А твой нащупал в тебе слабинку, вот и пользуется в свое удовольствие. Вот ты и подымись сердцем, скажи ему свое слово.

ПАША: Люблю я его, мама. Тем и живу, что он жив!

КЛАВДИЯ: Но за отца-то не зазорно слово перед мужем молвить. Отец ведь — не дядя с улицы!

ПАША: Хоть убейте меня, мама, но без Лешки не могу.

КЛАВДИЯ: Пелагея!

ПАША: Не могу-у-у!

КЛАВДИЯ: Одумайся!

ПАША: Мама-а-а! Роденькая-я-я! Не могу-у!

*За окном шаги. Стук двери в сенях.*

КЛАВДИЯ: Иди уж. И говорить с тобой... Только не обес-судь, с благоверным твоим мы сегодня побеседуем. Не взопрел бы...

*Паша поспешно поднимается к себе наверх, скрывается в комнате. Входит Алексей Иванович, на ходу кивает Клавдии и направляется было к себе.*

КЛАВДИЯ: Постой-ка, зятек, разговорец у меня к тебе.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: (*останавливается*). Да, Клавдия Степановна, я вас слушаю.

КЛАВДИЯ: Но не стоя же ты говорить со мной будешь. Я же ведь не начальство тебе, садись рядком, тогда и поговорим ладком.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: Хорошо, Клавдия Степановна. Только некогда мне рассаживаться-то. Работу вот домой взял. В склочное тут одно дело надо вникнуть.

КЛАВДИЯ: А я не задержу, зятек, не задержу, садись.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: (*садится так же, как и Паша давеча — на краешек стула прямо против нее*). Только прошу вас, Клавдия Степановна, покороче, ей-Богу, — дело.

КЛАВДИЯ: Вот, зятек, хочу я в последний раз спросить, как с отцом будем? Может, передумал?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: Нет, мы с Пашей не передумали, Клавдия Степановна.

КЛАВДИЯ: Ты уж за себя говори, у Пелагеи своя голова на плечах.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: Вы, конечно, женщина, жена, и вам, Клавдия Степановна, я понимаю, жалко. Но войдите и в мое положение, я-то здесь при чем? У меня пост, положение, виды. Согласись я, и все — насмарку. Поймите же, наконец, что мои неприятности, это и Пашины неприятности. Иметь тестя с такой анкеткой! Заманчивая перспектива, нечего сказать! Я честный человек и...

**КЛАВДИЯ:** Вот мне и хотелось с тобой нынче, как с честным человеком.

**АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ:** Пожалуйста!

*Она идет к рамке с семейными фотографиями, достает из-за нее обтянутую резинкой пачку писем. Вытягивает из пачки несколько штук, просматривая при этом каждое на свет. Потом кладет отобранное на стол перед зятем.*

**КЛАВДИЯ:** Узнаешь адресок, милый?

**АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ:** Не понимаю... Почему вдруг я должен его узнавать?

**КЛАВДИЯ:** А по почерку, зятек, по почерку.

*Весь последующий разговор их просходит в присутствии Паши, которая, незамечаемая ими, вышла из комнаты и стоит наверху.*

**АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ:** *(вдруг становясь жалким и растерянным).* Кажется... Но откуда они у вас, Клавдия Степановна? *(Совсем жалко).* Ведь они Паше адресованы...

**КЛАВДИЯ:** Мне-то они — письма эти — ни к чему, бери. А берегла я их и стерегла ради покоя Пелагеиного. Счастье, думала, ее сберегу. Только мало ты ей дал счастья этого самого. Последнее, что было, отнял. Бери, бери... Нести их начальству твоему мне без надобности, не пачкаюсь кляузой — не приучена, а дочь свою все равно я потеряла. Выпил ты ее всю — до капельки. Так что «честный человек», бери, пользуйся...

**АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ:** *(хватая письма).* Клавдия Степановна!.. Клавдия Степановна... Да я... *(Бросается перед ней на колени, ловит ее руки).* Все будет, как надо... Все переиначу... И отец пусть едет... И Пашу я на руках носить буду... Клавдия Степановна!.. Мама!..

**КЛАВДИЯ:** *(отталкивает его).* Поди от меня с клятвами своими. Ради того ли отдала я тебе позор твой, чтоб у колен своих увидеть? Чести много! Только теперь я уже не за детей, за себя боюсь и — насмерть. Если дети зову моему не откликнулись, значит, я одна осталась, а одна-то я вчетверо сильнее. И не тебе хилявому меня свалить. Иди, себе...

**АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ:** Так ведь я тоже в понятии! Ведь это я все ради Паши, мама, ее ради! Конечно, пусть едет, проживем как-нибудь, а там видно будет... Пусть век в семье родной доживает... Да разве я...

**КЛАВДИЯ:** Иди!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: Мама!

КЛАВДИЯ: Я б в воду бросилась, коли б хоть одного такого родила... Иди с глаз!

*Стоящая наверху Паша на глазах преобразается. И куда только девалась ее сутулая угловатость! Перед нами постепенно изваяется женщина с волей и характером.*

ПАША: (грозя и властно). Нет, мама, есть у вас еще дочь — Пелагея.

*Алексей Иванович с письмами в вытянутой руке поднимается по лестнице. И снова, словно из-под земли, на пороге вырастает Ильинична.*

ИЛЬНИЧНА: Батюшки-светы! А я смотрю, быдто...

## А К Т Т Р Е Т И Й

### КАРТИНА ПЯТАЯ

ОТ АВТОРА:

*Теперь, говоря с детьми, Клавдия видела, чувствовала, знала: ничего они не забудут и не простят. И не потому, что действительно столько лет держали на отца сердце. Нет! Просто тронула их слабые души какая-то порча, что разведая людскую суть ожесточает их тягостным, и для них самих необъяснимым ожесточением. Дети ее лишь смирились, укрощенные собственными слабостями, но не сдались, и сломить их упорствующую память Клавдия так и не смогла.*

*Обстановка та же. И вновь солнечное утро высвечивает комнату, сообщая ей сияющую праздничность. Никого. Но вот входная дверь открывается и сюда вскальзывает небольшой плотный человек. Это — Плющ. Он лыс и подвижен. Белло осматривается. Потом, прямо по часовой стрелке начинает круг по комнате, с любопытством осматривая каждый предмет. У фотографий он останавливается, не замечая стоящей за печью Клавдии.*

ПЛЮЩ: Хорош! Прямо Аника-воин! (идет дальше, доходит до двери, берется за ручку). Богато живешь, Савельич.

*Входит Клавдия. Плющ моментально оборачивается.*

КЛАВДИЯ: Здравствуй, добрый человек, зачем пожаловал?

ПЛЮЩ: Я — Плющ... Плющ, который Михея ищет. Помни-те? Вы мне писали, не отпирайтесь, как говорила классика...

КЛАВДИЯ: (*обессиленно опускается на стул*). Вы!.. Так что же, раздевайтесь... Может, чаю с дороги?

ПЛЮЩ: Давно не пью, не тот напиток.

КЛАВДИЯ: Сейчас соберу.

ПЛЮЩ: Благодарствую, под закуску и поговорим.

КЛАВДИЯ: (*собирая на стол*). По правде дала я вам телеграмму, а новостей у меня для вас мало, почти нет.

ПЛЮЩ: А я не за новостями. Я на вас посмотреть, какая вы. По письмам судя, женщина вы особенная. Даже за стилем вашим, не совсем, извините, литературным — личность видится. А об истории злосчастной этой я, признаться, подзабыл. Вернее, не подзабыл, такое не забывается, а притупилось как-то, заглохло. Только вот телеграмма ваша как бы прорвала во мне прошлое, и закровоточило вот тут.

КЛАВДИЯ: (*наливает ему*). Выпейте вот.

ПЛЮЩ: Благодарствую. (*Пьет*). А вы что же?

КЛАВДИЯ: Не до того мне нынче, сами понимаете.

ПЛЮЩ: Понимаю.

КЛАВДИЯ: Одна у меня для вас новость: письмо прислал — просится.

ПЛЮЩ: (*темнеет*). Так... Так, Михай Савельич, голос, значит, подал... Так...

КЛАВДИЯ: Так что же, что посоветуете?

ПЛЮЩ: Не мне вам советовать, не вам слушать... Я сам не знаю, как мне к этому отнестись... Ведь здесь не посторонний человек, здесь с кровью связано... Здесь думать и думать надо, а главное прощать уметь... Вы — женщины — освоили эту тяжкую науку... Для нас она сложнее. Даже не знаю, Клавдия Степановна, что вам и сказать...

КЛАВДИЯ: (*униженно*). Ведь вы вот сами говорите, что давно это было... Значит, старый он, больной. Может, уж сторицей за все заплатил, отстрадал втрое! Куда уж ему теперь? Жизни-то не лишат, страдать только заставят...

ПЛЮЩ: (*словно про себя*). В глаза бы мне только тебе посмотреть, Михай, посмотреть бы мне только тебе в глаза...

КЛАВДИЯ: Слово одно скажите, облегчите душу!

ПЛЮЩ: Слово скажу, облегчу, но простить, простить его, вы уж извините, никогда не смогу.

КЛАВДИЯ: (*искательно*). Ну так, как же все-таки, родной вы наш человек? Что же вы нам скажете?

ПЛЮЩ: А ничего, пожалуй.

КЛАВДИЯ: Не будет нам покоя без вашего слова.

ПЛЮЩ: Послушайте, Клавдия Степановна, хоть и получил я от вас два-три письма, а вижу, вообще, впервые в жизни, видите вы мне вся как на ладони. Ведь, скажите по правде, что, кроме горя, принес вам Михей, чем и когда отплатил за всю беду, которую оставил он в вашем доме?

КЛАВДИЯ: *(просто и отрешенно)*. За это, дорогой человек, плата особая, ей цены нет.

ПЛЮЩ: *(покорно)*. Тогда сдаюсь.

КЛАВДИЯ: *(низко кланяется ему)*. Такой камень вы с меня сняли, такой камень, что и сказать, нет никакой возможности.

ПЛЮЩ: А теперь, уважаемая, дайте-ка мне стакан вместо этого, извините меня великодушно, наперстка.

*Клавдия подает ему стакан, наливает до краев.*

КЛАВДИЯ: *(начинает суетиться вокруг стола)*. Пейте на здоровье, от чистого сердца говорю.

ПЛЮЩ: *(пьет)*. Еще, уважаемая. Сердце горит. *(Пьет)*.  
Еще.

*Входит Андрей.*

АНДРЕЙ: *(смеясь, с порога)*. Хватит. *(Матери)*. Сеньку в городе встретил. С попом нашим здешним ходит, за евангелие философствует. Говорит, звала.

КЛАВДИЯ: Звала. *(Гостю)*. Это первенец мой — Андрей. *(Сыну)*. Садись.

АНДРЕЙ: *(садится, подмигивает гостю)*. Я не в том смысле, что хватит, а что хватит «не хватит»... Тяпнем на брудершафт, старик.

ПЛЮЩ: *(принимая игру)*. Ты меня уже и так на «ты». Давай без тостов, по-таежному. Так сказать, для вальяжности.

АНДРЕЙ: Пошли, старик. *(Пьет)*. А ты крепок.

ПЛЮЩ: *(философски)*. Выучка.

КЛАВДИЯ: Не гони, Андрей, давай о деле.

АНДРЕЙ: О каком? А, ты все о том же... Я уже сказал, мать. Не надо брать меня измором. Я — не блокадник.

ПЛЮЩ: Слушай родную мать внимательно.

АНДРЕЙ: Это что — из таежных заповедей, что ли?

ПЛЮЩ: Нет, из моих лично. Даже в порядке шефской помощи.

АНДРЕЙ: Ты мне нравишься, все больше, старик... Ты меня убедил (*Матери*). Так что же ты все-таки хочешь от меня, мать?

КЛАВДИЯ: Ты сам знаешь, чего я хочу от тебя.

АНДРЕЙ: (*заметно трезвея, тихо*). Слышать о нем не могу. От одного имени его меня трясет. Пашка правду говорит: не он бы, не втянулся бы я в это проклятое зелье. И бил тоже, пацана пьяного бил. А о тебе и говорить нечего. У вас, баб...

ПЛЮЩ: (*поправляет*). Женщин...

АНДРЕЙ: (*покорно*). У вас, женщин, всегда так: на глазах — убила бы, с глаз долой — в голос. Непонятный вы народ — бабы.

ПЛЮЩ: (*кратко*). Женщины.

АНДРЕЙ: Будь по-твоему, сынок, женщины.

ПЛЮЩ: Этого и нельзя понять, это почувствовать надо, милый. У меня, извини, к твоему отцу счет ой-ой-ой какой, страшный, должен тебе сказать счет, а вот взглянул я на нее, только взглянул, по правде, даже не слушал после, но почему-то сразу почувствовал: не смогу, не выдержу, сдамся.

АНДРЕЙ: И сдался?

ПЛЮЩ: Сдался.

КЛАВДИЯ: Человек вы мой хороший, сердце-то у вас какое — не охватить.

ПЛЮЩ: (*усмешливо*). Тоже одна такая поделилась.

АНДРЕЙ: (*насмешливо*). Женщина?

ПЛЮЩ: (*кратко*). Баба.

АНДРЕЙ: (*вскакивает*). Но я-то, я не желаю сдаваться! И считайте, что нет у меня сердца. Для него — нет!

ПЛЮЩ: (*встает*). А это мы с тобой, милый, выясним. Пойдем-ка мы с тобой посидим за столиком на два, как говорится, куверта и, будь по-твоему, без баб.

АНДРЕЙ: (*грубо*). Без женщин.

ПЛЮЩ: (*покорно*). Без женщин.

*Они идут к выходу и у самых дверей наталкиваются на Ильиничну.*

АНДРЕЙ: Лезешь, носорог, на водопой?

ИЛЬИНИЧНА: Оглашенный! (*К Клавдии*). Здравствуй, кума. У тебя сызнова гость. А я и смотрю, быдто...

КЛАВДИЯ: (*грубо*). Что надо, говори, а то некогда мне с тобой пустые разговоры разговаривать.

ИЛЬИНИЧНА: Аль не рада?

КЛАВДИЯ: Ты мне, родня что-ли?

ИЛЬИНИЧНА: Родня не родня, а как бы сродственники.

КЛАВДИЯ: *(тревожно)*. На тебе и впрямь лица нет.

ИЛЬИНИЧНА: *(тяжело опускается на стул)*. Конец мой пришел.

КЛАВДИЯ: И к чему это ты, Марья, песенку свою затынула? День пройдет — все, как рукой снимет.

ИЛЬИНИЧНА: Уже не снимет, подружка, никак не снимет... Слышишь, море-окиян нам песенку поет... Тихую такую песенку... А само все ближе, все ближе... Эдаким манером и душу людскую ржа точит... Тихо-тихонечко точит... То одного сточит, другого... А мы смотрим: не меня, не меня — соседа... А у самих уже на раз дохнуть и осталось... Истекаем ржой в тоску, как берег в море... А в Бога верим не полной душой, а от страха... Потому и не принимает он наших молитв, а только жа-лет часом.

КЛАВДИЯ: Не блажи, Марья.

ИЛЬИНИЧНА: Вот она и вся жизнь, Клавдюха... Будто и не жила... будто миг один и прошло всего... Чудно. *(Одышка мучала ее и поэтому речь давалась ей с трудом)*. Ползу нынче к тебе, а кругом птахи поют, солнышко, море, как подсиненное, так бы и подхватила с детшками взапуски. Только что пуды мои не позволяют... Чует сердце — помру скоро...

КЛАВДИЯ: С похмелья и не такое мерещится.

ИЛЬИНИЧНА: Нет, Клавдюха, не оттого я... Захотела бы, выпила... Пенсию вчера принесли... Да не хочу... Не идет. *(Ее лицо светится тихой и больной лаской)*. Думала и не вставать уж. Да вспомнила про тебя, встала... Все я в тебя, как в приданный сундук, уложила... Все думы свои молодые... Память хорошую всю... И легко мне и помирать будет, коли ты жива останешься... Помру, ты и за себя, и за меня поживешь... Михея увидишь. Тоже мне радость... Ты уж прости меня, Клавдюха, разговорилась я напоследок... Не доведется больше... Не приду я, не поднимусь уже... Вот и потерпи, самой так-то придется...

КЛАВДИЯ: Марьюшка, да ты и взаправду не в себе! Не пушу я тебя никуда... У меня и отлежишься. Не пугай ты меня за Бога ради. А я и слушаю, и слушаю, доктора тебе надо, вот что.

ИЛЬИНИЧНА: Сядь, Клавдюха, сядь, кума, авось не жа-

лобиться, я к тебе заявила... Сама знаешь, не плакалась Марья на веку своем никому и плакаться не станет... А до судного дня отлежусь еще за Быстрой... Там места хватит... Вот и давай без мельтешения, по душе, посидим...

КЛАВДИЯ: Не рви ты мне сердце, Марьюшка!

ИЛЬИНИЧНА: Все там будем, Клавдюха, чего кричать... Помнишь, как застал нас с тобою дождик на Казанскую на покосах?.. Еще рассказала тогда про все наше с Михейкой... Увидела я, плачешь, поняла: втюрилась девка в моего кудрявого... Век молчала, хоть теперь скажу... Сама я его тебе отдала в белы рученьки — знала, не будет ему со мной доли... Не по евонному плечу срублена... Сама и навела: живи, мол, девонька, радуйся... Да только, виновата, не много он радости принес тебе... Уж лучше б со мной эдак-то, я — хоть того стоила... Глядела я на тебя, сердце кровью обливалось... А кто в ответе? Я... Потому и пошла к тебе урыльники выносить... Голопузых твоих цацкать... Только тебе и невдомек сообразить тогда, что раба я у тебя добровольная... Да и когда тебе соображать-то было... День и ночь, как белка... Не в попрек я тебе, а чтоб знала: отработала Ильична тяжести твоей часть.

КЛАВДИЯ: Прости меня, Марьюшка.

ИЛЬИНИЧНА: Все грешны, Клавдюха... Все под Богом ходим... Ношу вдвоем терпели. Так ведь и радость у нас на двоих была... И вот у меня к тебе какое слово имеется... Уж не обес-судь...

КЛАВДИЯ: Что ты, Марья? Мне ли...

ИЛЬИНИЧНА: (*в сторону Михеевой двери*). Коли приедет, кланяйся, скажи, поминала, мол, без злой памяти... Не мне судить его... Да и есть ли кому... Не он виноват, а кто, один Господь знает... Нету на нас ни на ком никакой вины! А чья вина, с того еще спросится, ой еще каким спросом спросится... Кланяйся ему с добром... Пойду.

КЛАВДИЯ: Провожу, Марьюшка! Да и посижу с тобой. Совсем ты у меня больная.

ИЛЬИНИЧНА: Незачем, кума, сама пойду. Пускай слободские и раз не порадуются, что Марью слабосильной видели... Нет, болезные, не утешу... Без слезы концы отдам, без голоса. Прощай, Клавка.

*Уходит.*

КЛАВДИЯ: *(подходит к двери)*. Пусти Михеюшко...  
Затемнение.

ОТ АВТОРА:

*Михей без обессиливающего его негодования не мог представить себе, как придут они, и вот здесь, за этой самой дверью станут судить его — Михея Коноплева — родного отца. И хотя чуял он, волчьим чутьем своим чуял, что неспроста Клавдия собирает их именно здесь, в родном доме — хочет за столько лет боли свое взять! — ей прощал, им — нет. Откуда было им знать, какое зябкое, зыбкое время он пережил. И какую прожил жизнь. И с каким последним грехом он вернулся сюда. И еще один сон прервал его мысль.*

*Сон третий и последний*

*Чум, в который пурга загнала трех путников. Михея, грузина Бондо и проводника-чукчу. Неверный свет костерка отбрасывает по стенам причудливые блики.*

МИХЕЙ: *(грузину)*. Как?

БОНДО: Лучше, шени джириме, совсем лучше.

МИХЕЙ: Жгет?

БОНДО: Совсем горячо...

МИХЕЙ: Три, три сильнее, отойдут... Должны отойти...

БОНДО: Отойдут, совсем мало осталось.

МИХЕЙ: Не сможешь идти, собаки вытянут.

БОНДО: Сам пойду, вот увидишь.

МИХЕЙ: Уже рядом. В один переход проскочим.

ЧУКЧА: Три упряжка не берет.

МИХЕЙ: Я пойду на лыжах *(недобро усмехается)*. Двоих они возьмут.

ЧУКЧА: Два тоже не берет. Шибко тяжелый наст.

МИХЕЙ: Тогда... *(Михей осекся на полуслове: снежинки в кольце дымового отверстия уже не порхали, опадая вниз, а кружились еле заметной каруселью. У него захватило дух: началось! Он отдернул полог и сразу же почувствовал на лице зябкое дыхание сквозной тундры: ночь заполнялась нардом). Засупонивайся! Значит, говоришь, не возьмет троих? И двоих тоже не возьмет? (В ответ на вопрошающий взгляд Михея тот лишь отрицательно качает головой)*. Тогда иди, впрягай...

*Чукча, не спуская с него злобных глаз, подается к выходу.*

МИХЕЙ: *(останавливает его)*. Стой! Стой, брат! Погодь маленько... *(Бондо)*. Ну, как?

БОНДО: Проклятье! Момадзагло! Не лезет, чорт!

МИХЕЙ: Давай, помогу.

БОНДО: Не надо, я сам...

МИХЕЙ: Смотри...

БОНДО: Как будто все. *(Пытается встать, но едва ступни его касаются пола, он вскрикивает, и, неловко подвернув под себя локоть, валится навзничь, стонет)*. Шени деза...

МИХЕЙ: *(смотрит в упор на чукчу)*. Трех собаки не потянут. Так что ли? *(Ладонь его обхватывает двустволку)*. Собаки потянут двоих. *(Взводит курок)*. Дойдем с Божьей помощью... Отвернись...

ЧУКЧА: Двоих собаки тоже не тянет.

МИХЕЙ: Я пойду на лыжах... Отвернись, говорю! *(Тот не шелохнется)*. Тогда молись.

*Раздается выстрел. Чукча заваливается на бок.*

БОНДО: Зачем?

МИХЕЙ: Ты слышал, собаки не вытянут трех. *(В упор глядит на грузина)*. И двоих тоже.

БОНДО: *(в сторону чукчи, бояливо)*. Он догонит нас...

МИХЕЙ: Он уже никого не догонит...

БОНДО: Догонит, везде догонит... На краю света догонит...

МИХЕЙ: Не будь пижоном, одним зверем меньше, зато душа на месте — не продаст. Здесь его ни одна ищейка не найдет.

БОНДО: Что он мог? Ничего не мог.

МИХЕЙ: Ему, брат, тундра, что тебе зеленый базар в Кутаиси, не успеешь версты сделать, как дозоры след возьмут. Ну, теперь, дай Бог, ветра...

БОНДО: Ты сказал: двоих тоже не потянут.

МИХЕЙ: Слушай, тебе придется остаться. Сам видишь, не тянут двоих... Останемся, обоим конец... А тут пустяк и осталось. Прикидываю, мы уже на той стороне... Один я в полсуток обернусь... Свободно продержись... Закопаться только надо... Не паникуй, Боря, не паникуй.

БОНДО: Не бросай, Миша... Не бросай... Будь человеком!

МИХЕЙ: Пойми, не уйдем мы вдвоем... И что на мне креста что ли нету, вернусь я... От самых приисков вместе, а здесь у жилья под носом брошу, да и доля твоя с тобой... Чего боишься, вернусь...

БОНДО: Сам говоришь, на той уже стороне... Отсидимся... Ветер стихнет и мы двинем нела-нела... Не бросай, Миша!

МИХЕЙ: Чудачок, сказал вполсуток обернись и вытащу. Пурга, сам знаешь, может неделю мести, пережди попробуй. Я и ружье тебе оставляю, и часы... Через полсуток смело пали, слушать буду. Ты здесь за милую душу, брат, высидишь, хоть неделю... Главное, не паникуй... Ружье под руку клади... Не паникуй... Я — одной ногой здесь...

БОНДО: Не бросай, Миша... Не бросай... Будь человеком!

МИХЕЙ: Держи остол «на попа», не давай завалиться. В случае чего зажигай... И главное пали... Найду! Будь спок... Лежи, брат. *(Начинает выгонять собак)*. Тагам! Тагам!

*И дикий, почти нечеловеческий стон сопровождает его уход.*

#### ОТ АВТОРА:

*Оттуда, с чужого берега тянуло чужим брикетным дымком. И высокие чужие окна маячили над берегом, — отсвечиваясь в темноте белесым чужим огнем. Давний, забытый было, страх медленно, но неотвратимо обволакивал его душу, вызывая в памяти до крика отчетливые видения: деда Илью, одинокую женщину у мертвого причала Каспия, брошенного под Смоленском Плюща. Долгое, навзлет пронизанное горькими сквозняками прошлое его вдруг показалось Михею в сравнении с неизвестностью впереди, ухоженным и обжитым. И уже не думая о том, что предстояло ему еще пройти, чтобы, отыскав по пути занесенного снегом Бондо, вернуться туда, откуда ему удалось с таким трудом вырваться, он повернул обратно. И об этом, Михей Савельевич, и об этом — тоже!*

#### КАРТИНА ШЕСТАЯ

*Горенка Михея. Открывается дверь. На пороге — Семен.*

СЕМЕН: Здравствуйте, папаня.

МИХЕЙ: Здравствуй, сынок... Сема... Узнал?

СЕМЕН: Уезжаю я... Вот мама мне и сказала... Мне только и сказала.

МИХЕЙ: Спасибо, Сема, хоть ты не брезгуешь.

СЕМЕН: Что вы, папаня! Как можно? Зачем вы такое думаете?

МИХЕЙ: Так я же слышу, сынок, все слышу! С утра до

вечера душу грызут. А за что, за что, скажи ты, божий человек?

СЕМЕН: Трудно в неверии зло забыть.

МИХЕЙ: Ты забыл!

СЕМЕН: Не забыл, папаня, а не помню.

МИХЕЙ: А они помнят? Почему? Разве не зло — помнить. Да и кто ж его знает, где оно — зло, а где добро, Сема?

СЕМЕН: Зло, папаня, всегда возвращается к тому, кто его соделал, или к роду, племени его. В любом колене, но возвращается. В этот раз оно вернулось к вам же. Это — закон.

МИХЕЙ: Чем? Кем писан?

СЕМЕН: Божий. Богом.

МИХЕЙ: Все на злобе стоит, все на злобе замешано. Без нее расслабится человек, разомлеет, стечет в землю... Богом, говоришь! А ты влезь в мою шкуру, по-другому завоюешь. Что я сам себе жизнь выбирал? Тогда за что я свои муки принял? Ты мне скажи, божий ты человек, за что?

СЕМЕН: Нам дана жизнь, папаня, а распорядиться ею мы сами вольны и по совести. Для себя жить еще не заслуга перед Господом.

МИХЕЙ: А я и для вас доли искал!

СЕМЕН: Но ведь не нашли, а последнюю отняли. И совесть вас гложет, вот вы и злобитесь. И чем больше терзаться будете, тем тяжелее будет. Это все ваше к вам возвращается.

МИХЕЙ: Так что мне руки на себя наложить, что ли? Выродок! Ползи с глаз моих. *(Михей задыхается)*. Мало таких, вроде тебя, я на веку своем передавил. Гнида церковная. Не будет вам этого! Не дождетесь. Десять раз по стольку еще пройду, а жить буду. Ишь, что удумал, душа толоконная? Ползи или не отвечаю за себя!

*Семен смотрел на отца и в отрешенном взгляде его беспощадно увиделась Михею собственная участь. И он не выдержал, вскочил и метнулся в сторону сына.*

СЕМЕН: Зря вы, папаня...

МИХЕЙ: Падаль!

СЕМЕН: Живите, как знаете...

МИХЕЙ: Раньше меня сдохнешь!

СЕМЕН: Живите, коли сможете...

МИХЕЙ: Уходи, змей!

*Уже не помня себя, хватает табуретку и она с грохотом разлетается о закрытую за собой Семеном дверь.*

## ОТ АВТОРА:

*И вот он услышал тишину, гиблую для него тишину. Начинался суд, открытый суд. И в нем уже не было ни звериной злобы, ни животной силы, чтобы этому сопротивляться. Теперь он твердо знал, что смертно любя его, Клавдия постепенно, по камушку складывала все эти дни, для него могильник. Она не хотела видеть его таким. Глубина его падения уже не могла соперничать с самоотвержением ее любви. Он мог уйти туда, где в метре от него за окном, лежала еще хранящая медвежьи углы для таких, как он, огромная страна. Но уже на всем белом свете не было приюта, вовсе не плоти его, а его души. Потому что она истлела. Истлела навсегда.*

## КАРТИНА СЕДЬМАЯ

*Обстановка та же. Вечер. Все в сборе. Часы бьют десять раз.*

КЛАВДИЯ: *(поднимаясь из-за стола)*. Вот... Что за человек отец ваш, рассказала я вам, а чего запамятовала — люди подскажут. Только сколько б вам кто не наговорил чего, все об нем знаю только я, только я одна и никто больше моего знать не может, а значит, и осудить. Коли тепла вам он своего недодал, я за него с вами расплатилась втрое, коли по вине его в жизни у вас не все получилось, вину я с ним вдвоем делю, коли хлеба он вам недодал, я за него каждому из вас нашу с ним общую половину отдала. А за грехи с него мир спросит. Только поверьте сердцу моему материнскому, что придет час, и все вы со спокойным сердцем скажете про него всякому: это мой отец... А коли нет, Михай Коноплев обузой никогда никому не был... Вот... Обо всем, вроде переговорено. Но только пусть уж теперь каждый за себя скажет, чтоб потом неповадно плакаться было: мол, не хотел. Скажи, Паша.

ПАША: И говорить нечего: примем.

КЛАВДИЯ: А ты, Алексей Иванович?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ: *(робко)*. Я, как Паша. Сейчас не таких на поруки берут. Кампания! Вот наднях в газетах печатали: двадцать лет в подвале просидел, а вышел и — ничего. Или вот еще...

КЛАВДИЯ: Понятно. Тебя, Семен, только для порядку спрашиваю.

СЕМЕН: Во всем промысел божий.

КЛАВДИЯ: Тебе, Андрей говорить.

АНДРЕЙ: Хоть посмотрим, что он там представляет из себя — отец наш, а то как бы миф.

КЛАВДИЯ: От тебя, Анна, тоже ответ требуется, коли его законной становишься.

АННА: (*курит*). Естественно, надо принять.

КЛАВДИЯ: (*к Ильиничне*) У тебя не спрашиваю — знаю. А теперь гостю, по особому праву.

ПЛЮЩ: Трудно мне, милые, на совете семейном вашем что-либо говорить. Для вас он при любых обстоятельствах, близкий человек, для меня — враг. Враг на всю жизнь. Я не могу ни понять его, ни принять. И на том стою. Но думаю, для него большего суда нет, как ходить среди людей, которые его знают, знают, кто он и что он такое. Да и я все-таки возьму свое: посмотрю в глаза его вражды и еще как посмотрю. Поэтому я тоже — «за».

КЛАВДИЯ: Слово сказано, ваш суд, вам и отвечать.

*Она поворачивается к двери в смежную комнату. Делает шаг, другой, третий. Там за дверью раздается выстрел. Клавдия замирает и поворачивается лицом к своим и ко всему залу.*

ГОЛОС: (*в полной тишине*). Кто же знал, что он здесь живет?

КЛАВДИЯ: Жил.

*Раздается звон далеких колоколов. Звук их с каждым мновением наливается болью. Гул близкого прибора сливается со все нарастающим колокольным звоном.*

К о н е ц

Владимир Максимов

## СТИХИ 1921 ГОДА\*



Я сплю и мне снится  
Романский собор  
И тихо струится  
Ночной разговор.  
И небо так хмуро,  
Ни звезд, ни огня...  
— Лаура, Лаура,  
Взгляни на меня,  
Согрей поцелуем,  
В объятьях сожми.  
Давай потанцуем  
И станем детьми.  
— Нет, Вальтер. Нет, милый,  
Мы лучше уснем  
И ляжем в могилу,  
Обнявшись, вдвоем.  
— Лаура, Лаура!..  
И звонкое пли,  
И крылья амура  
В крови и пыли.  
Амур мертвой птицей  
На грудь мне упал,  
И вот мне уж снится  
Блистательный бал.  
И я просыпаюсь  
От страха, в слезах,  
И плачу, и каюсь  
В грядущих грехах.

---

\* Эти стихи Ирины Одоевцевой не вошли в ее известный сборник «Двор чудес» и не были нигде напечатаны. РЕД.



Летят на юг соловьи  
Дорогой певучей и дальней.  
Улыбаются губы твои  
А сердце мое печально.

Откуда печаль моя  
И горестное томление?  
Ведь мне улыбка твоя  
Как соловьиное пение.



С луны так сладостно и верно веет  
Великое предчувствие любви.  
Но верить радости печаль не смеет  
— Печальных, Господи, благослови!...

В сиянии лунном пролетает птица,  
Благоуханно дышит резеда.  
Любовь до гроба может только сниться.  
Я с ним не встречусь — никогда.

И все напрасно здесь, на этом свете,  
Когданибудь найдет он мой портрет,  
— Кто это? — спросит он. Ему ответят,  
Что я была и что меня уж нет.

Задумается он и тихо скажет:  
— Вот эту женщину я б мог любить...  
Я знаю это будет. Знаю даже,  
Что будет он по мне всю жизнь грустить  
И никогда другую не полюбит.

*Ирина Одоевцева*

# ПРОТЕЗЫ

Лагерный изолятор был старый, старый. Казалось, толкни деревянную стенку карцера и стена упадет, рассыплется изолятор, раскатятся бревна. Но изолятор не падал и семь одиночных карцеров верно служили. Конечно, любое слово сказанное громко, слышали бы соседи. Но те, кто сидели в карцере, боялись наказания. Дежурный надзиратель ставил на камере мелом крест — и камера лишалась горячей пищи. Ставил два креста — лишалась и хлеба. Это был карцер по лагерным преступлениям; всех, подозреваемых в чем-то более опасном — увозили в управление.

Сейчас впервые внезапно были арестованы все начальники лагерных учреждений из заключенных — все заведующие. Клеилось какое-то крупное дело, готовился какой-то лагерный процесс. По чьей-то команде.

И вот все мы, шестеро, стояли в тесном коридоре изолятора, окруженные конвоирами, чувствуя и понимая только одно: что нас опять зацепили зубья той же машины, что и несколько лет назад, что причину мы узнаем лишь завтра, не раньше.

Всех раздевали до белья и заводили каждого в отдельный карцер. Кладовщик записывал принятые на хранение вещи, заталкивал в мешки, привязывал бирки, писал. Следователь — я знал его фамилию, — Песнякевич, — управлял «операцией».

Первый был на костылях. Он сел на скамейку возле фонаря, положил костыли на пол и стал раздеваться. Стальной корсет обнажился.

— Снимать?

— Конечно.

Человек стал развязывать веревки корсета и следователь Песнякевич нагнулся помочь.

— Уличаешь, старый приятель? — по-блатному сказал человек, вкладывая в слово «уличаешь» блатной, не оскорбительный смысл.

— Узнаю, Плева.

Человек в корсете был Плева, заведующий портновской мастерской лагеря. Это было важное место с двадцатью мастерами, работавшими на заказ и на вольный заказ по разрешению начальства.

Голый человек свернулся на скамейке. Стальной корсет лежал на полу — шла запись в протоколе отобранных вещей.

— Как записывать эту штуку? — спросил кладовщик изолятора у Плева, толкая носком сапога корсет.

— Стальной протез — корсет, — ответил голый человек.

Следователь Песнякевич отошел в сторону и я спросил у Плева.

— Ты, правда, знал этого легаша по воле?

— А как же, — сказал Плева жестко. — Его мать в Минске бордель держала, а я туда ходил. — Еще при Николае Кровавом.

Из глубины коридора вышел Песнякевич и четыре конвоира. Конвоиры взяли Плева за ноги и под руки внесли в карцер. Замок щелкнул.

Следующим был заведующий конбазой Караваев. Бывший буденовец, в гражданскую он потерял руку. Караваев постучал железом протеза о стол дежурного.

— Вы, суки.

— Снимай свое железо. Сдавай руку.

Караваев взмахнул отвязанным протезом, но на конноармейца навалились конвоиры и втокнули его в карцер. Донесся витиеватый мат.

— Слушай ты, Ручкин, — заговорил заведующий изолятором, — за шум — лишаем горячей пищи.

— Иди ты со своей горячей пищей.

Заведующий изолятором вынул из кармана кусок мела и поставил на карцере Караваева крест.

— Ну, кто же распишется, что сдал руку?

— Да никто не распишется. Поставь какую-нибудь птичку, — скомандовал Песнякевич.

Была очередь врача, доктора нашего Житкова. Глухой

старик, он сдал ушной слуховой рожок. Следующим был полковник Панин, заведующий столярной мастерской. У полковника оторвало ногу снарядом где-то в Восточной Пруссии на германской. Столяр он был превосходный и рассказывал мне, что у дворян часто детей обучали какому-нибудь ручному ремеслу. Старик Панин отстегнул протез и ускакал на одной ноге в свой карцер.

Нас оставалось двое — Шор, Гриша Шор, старший бригадир, и я.

— Смотри, как ловко идет, — сказал Гриша, им овладела нервная веселость ареста, — тот ногу, этот руку, а я вот сдам — глаз. — И Гриша ловко вынул свой правый фарфоровый глаз и показал мне его на ладони.

— Да разве у тебя искусственный глаз? — удивленно сказал я. — Никогда не замечал.

— Плохо замечаешь. Да и глаз хорошо подобрался, удачно.

Пока записывали Гришин глаз, заведующий изолятором развеселился и хихикал неудержимо.

— Тот, значит, — руку, тот ногу, тот ухо — тот спину, а этот — глаз. Все части тела соберем. А ты, что, — он внимательно оглядел меня голого.

— Ты что сдашь? Душу сдашь?

— Нет, — сказал я. — Душу я не сдам.

*В. Шаламов*

## ПРОКУРАТОР ИУДЕИ

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход «Ким» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградусными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем на пароходе были привезены не гости, а истинные хозяева этой земли — заключенные.

Все начальство города прибыло, явилось в порт. Все

бывшие в городе грузовики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «Ким». Солдаты, кадровые войска окружили мол и выгрузка началась.

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Магадану порожняком подчиняясь зову селектора.

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище складывая в братские могилы, не привязывая бирок, а составив только акт о необходимости «эксгумации» в будущем.

Наиболее тяжело-больных, но еще живых — развозили по больницам для заключенных в Магадане, Оле, Армани, Дукче.

Больных в состоянии средней тяжести болезни везли в Центральную больницу для заключенных — на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с 23 километра. Приди бы пароход «Ким» на год раньше — ехать за 500 километров не пришлось бы.

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии с фронта, был потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умерших в пути. Хирург понимал, что это «легкие», транспортабельные, те, что полегче, а самых тяжелых оставляли на месте.

Хирург повторял слова генерала Риджуэя которые где-то сразу после войны удалось ему прочитать: «Фронтвой опыт солдата не может подготовить человека к зрелищу смерти в лагерях».

Кубанцев терял хладнокровие. Не знал что приказать, с чего начать. Колыма обрушила на фронтового хирурга слишком большой груз. Но надо было что-то делать. Санитары снимали больных с машин, несли на носилках в хирургическое отделение. В хирургическом отделении носилки стояли по всем коридорам тесно. Запахи мы запоминаем, как стихи, как человеческие лица. Запах этого первого лагерного гноя навсегда остался во вкусовой памяти Кубанцева. Всю жизнь он вспоминал потом этот запах. Казалось бы гной пахнет везде одина-

ково и смерть везде одинакова. Так нет. Всю жизнь Кубанцеву казалось, что это пахнут раны тех первых его больных на Колыме. Кубанцев курил, курил и чувствовал, что теряет выдержку, не знает, что приказать санитарам, фельдшерам, врачам.

— Алексей Алексеевич, — услышал Кубанцев голос рядом. Это был Браудэ, хирург из заключенных, бывший заведующий этим же самым отделением, только что смещенный с должности приказом высшего начальства лишь потому, что Браудэ был бывшим заключенным, да еще с немецкой фамилией.

— Разрешите мне командовать. Я все это знаю. Я здесь десять лет.

Взволнованный Кубанцев уступил место командиру и работа завертелась. Три хирурга начали операции одновременно — фельдшера вымыли руки, как ассистенты. Другие фельдшера делали уколы, наливали сердечникам лекарства.

— Ампутации, только ампутации, — бормотал Браудэ. Он любил хирургию, страдал, по его собственным словам, если в его жизни выдавался день без единой операции, без единого разреза.

— Сейчас скучать не придется — радовался Браудэ. — А Кубанцев, хоть парень и неплохой, а растерялся. Фронтовой хирург! У них там все инструкции, схемы, приказы, а вот вам живая жизнь, Колыма!

Но Браудэ был не злой человек. Снятый без всякого повода со своей должности он не возненавидел своего преемника, не делал ему гадости. Напротив, Браудэ видел растерянность Кубанцева, чувствовал его глубокую благодарность. Как никак у человека семья, жена, сын-школьник. Офицеры получают паек, высокая ставка, длинный рубль. А что у Браудэ? — Десять лет срока за плечами, очень сомнительное будущее. Браудэ был из Саратова, ученик знаменитого Краузе и сам обещал очень много. Но тридцать седьмой год вдребезги разбил всю судьбу Браудэ. Так Кубанцеву ли он будет мстить за свои неудачи?...

И Браудэ командовал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая

себя и хоть в минуты раздумья часто ненавидел эту свою презренную забывчивость — переделаться не мог.

Сегодня решил: уйду из больницы. Уеду на материк.

Скоро и сказке конец, а мы еще не знаем начала.

Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту «Нагаево» вошел пароход «Ким» с человеческим грузом — тремя тысячами заключенных. В пути заключенные подняли бунт и начальство приняло решение залить все трюмы водой. Все это было сделано при сорокаградусном морозе. Что такое отморожение III-IV степеней, как говорил Браудэ — или обморожение, как выражался Кубанцев — Кубанцеву дано было знать в первый день его Колымской службы ради выслуги лет.

Все это надо было забыть и Кубанцев, дисциплинированный и волевой человек, так и сделал. Заставил себя забыть.

Через семнадцать лет Кубанцев вспоминал имя отчество каждого фельдшера из заключенных, каждую медсестру, вспоминал кто с кем из заключенных «жил», имея в виду лагерные романы. Вспоминал чин каждого начальника из тех, что поподлее. Одного только не вспомнил Кубанцев — парохода «Ким» с тремя тысячами отмороженных заключенных.

У Анатоля Франса есть рассказ «Прокуратор Иудеи». Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа.

*В. Шаламов*

## СЕНТЯБРЬСКИЕ СТИХИ

### 1

Ты возвращаешься мне птицей  
Влетевшей в скучное окно,  
Но никогда мне не приснится  
Чему присниться не дано.  
Все то, что пело в каждом часе  
В неповторимости минут,  
В двойном несчастье или счастье  
Как эти ветви тут растут.  
Все что звучало и сияло  
Среди терпенья и труда,  
Что некогда казалось малым  
Как эта талая вода,  
И что теперь цветет молчаньем  
И одиночеством моим,  
Полусознанием, полусознанием  
Мы непонятное храним  
Так бережно и осторожно  
Касаясь тайны бытия,  
Что невозможное возможно:  
Ты жив, а неживая я.

### 2

Пустое кресло у стола  
И память бьется о потере,  
Как птица в клетке из стекла  
В освобождение не верит.  
Пустое кресло, дом пустой  
И улица совсем пустая,  
И мир, как будто бы простой  
Вдруг растворился и растаял  
И все ненужное гнетет  
Все нужное ненужным стало  
А память все поет, поет  
Но не печально, а устало.

*Зинаида Шаховская, 1974*



Круглый пруд с ладошку глубиной,  
Теплый ил на дне да жабий камень,  
Но и небо, то, что надо мной,  
Мчится в нем, сияя облаками.

Облаков валяющийся размах  
Проклубил и стаял невозвратно.  
И на лягушиных головах  
Мокро блещут солнечные пятна.

Небом подсиненная вода,  
Солнцем шелестящая осока...  
Словно бы от неба до пруда,  
Как листу от ветки недалеко.

## ПОЛДЕНЬ

Медово зелен спелый виноград  
На деревянном остове беседки.  
На грузных гроздьях капельки горят,  
К ним осы льнут, настойчивы и едки.

Так пьян и нежен летний аромат,  
Так сонно-сухи солнечные ветки,  
Что первых строк ликующий отряд  
Летит в пылу лирической разведки —

И вот запнулся в жаркой тишине  
И тайным эхом плещется во мне.  
Неспешный день так ясен и отраден,  
Что говорят не строфы, не слова,  
Но вырезная крупная листва  
И запах перегретых виноградин.

*Лидия Алексеева*

## ИВАН ПЕТРОВИЧ

Иван Петрович не мог оторвать глаз от иллюминатора. В наступившей темноте там, внизу, совсем сказочно светлилась мельчайшая электрическая россыпь, от Филадельфии до самого Бостона. Местами она сгущалась — это были местности более густо заселенные. Места эти соединялись многочисленными нервами, сотканными из микроскопических светлячков — в один ряд.

В Бостоне была посадка новых пассажиров. Часам к десяти она закончилась и аэроплан, поднявшись в воздух, повернул вправо от берега и сразу стал набирать высоту. Огни города уплывали в направлении обратном развороту «джета». Внизу стало совсем темно. Кое-где можно было еще различить огневые точки — это были редкие пароходы, идущие по своим курсам. Старший стюард вежливо попросил пассажиров опустить пластмассовые шторки на иллюминаторах — и в недрах турбинного самолета началась собственная, отрешенная на время от остального мира, жизнь: кто усаживался поудобнее, кто переобувался в «казенные» тапочки, кто рассматривал меню или иную туристическую литературу, предусмотрительно разложенную в задние «карманы» передних сидений.

Ивана Петровича немного рассмешило, что старший стюард уже несколько раз менял роль: то он выступал в роли полицейского, проверяющего пассажиров при посадке, то, надев другого вида фуражку, приобрел вид не-то капитана, не-то лоцмана, то, наконец, сняв фуражку и надев ресторанный китель, предстал старшим стюардом, что, вероятно, и было его прямым назначением.

Летел Иван Петрович в кабине первого класса. Аэроплан принадлежал немецкой авиационной линии Люфт-Ганза. Обычно бережливый, даже до скаредности, Иван Петрович решил раз

в жизни пошикарничать. У него бывали, очень редко, такие «срывы». Во всяком случае он заранее обещал себе отыгаться на бесплатной еде и напитках. Уже на пути из Филадельфии в Бостон милая стюардесса предлагала разные напитки, начиная с минеральных вод и кончая ликёрами. Но к сожалению, Иван Петрович еще на филадельфийском аэродроме бесплатно выпил в фойе первого класса довольно много холодного, вкусного датского пива, и теперь, летя, не рискнул «ударить во все тяжкие», а лишь скромно заказал стаканчик рислинга. Тартинки, поданные услужливой стюардессой, живописные на вид, на вкус оказались вялыми и не удовлетворили Ивана Петровича.

Ужин подавали долго, со всякими шиканами, но пассажиры, по большей части, ели и пили без особого энтузиазма. Но вот ужинная суматоха постепенно кончилась, пассажиры прикрыли ноги поданными пледами, запрокинули назад спинки сидений, и приготавились спать.

Но Иван Петрович долго не мог заснуть. Время от времени он приподнимал шторку и смотрел на мир Божий: сначала не было ничего видно, кроме откуда то освещенного крыла «джета» с двумя сигарообразными цилиндрами. Аэроплан как-будто висел в серо-черной мути, слегка вибрируя своим мощным корпусом. Иван Петрович задремывал, затем просыпался, снова выглядывал. Внизу чернота как-будто посерела, затем, в следующий раз когда он выглянул, серость сменилась белостью, шла сплошная пелена облаков. Впечатления лёта не обрета-лось, аэроплан все висел, подрагивая. Когда на востоке стало светать медленно сменяющимися, прозрачными, доселе не виданными легкими оттенками, океан внизу сменился необозримой снежной равниной, слегка очерченной едва замечаемой округлостью горизонта. Но вот, аэроплан снизил свой лёт и снежная равнина показалась морем всклубленной мыльной пены. Вероятно Иван Петрович заснул крепче, так как, когда он в следующий раз приподнял шторку, ему в лицо ослепительно ударил свет солнца... Неожиданно наступило утро.

Стали просыпаться пассажиры. Капитан бодрым голосом,

через громкоговоритель, пожелал им доброго утра, и дал очередную сводку: местоположение самолета, высота полета, температура... В Европе надо ожидать непогоды. Когда подали завтрак, Иван Петрович с отменным удовольствием выпил несколько чашек ароматного крепкого кофе с вкусными круасанами, и снова обернулся к окну. Ему показалось, что самолет скользит между двумя небесами: сверху чистое, голубое, внизу — облачное, с синими проталинами. Это проглядывал, здесь и там, Атлантический океан. Капитан предупредил, что скоро будут пролетать над Бельгией. Самолет накренился вперед и нижнее небо стало приближаться, но это было уже не небо, а гигантская штабная карта: отчеркиваясь от темно-голубой поверхности океана белеющей кромкой бок-о-бок стоящих вдоль берега микроскопических судов, растянулось бельгийское побережье. В прозрачной пепельной дымке замелькали аккуратненькие лоскутки полей, группочки домиков, протянулись светлые нити дорог с медленно движущимися в обоих направлениях, микроскопическими автомобилями... и самолет, скользя над прорывом в облаках, набрал высоту и снова заскользил над бело-ватным морем. Перед посадкой во Франкфурте пришлось довольно долго лететь в кромешной серости и не один пассажир, вероятно, благодарил Бога за то, что человеческий гений изобрел радарные приборы.

После получасовой выгрузной суматохи Иван Петрович очутился в просторных кулуарах огромного франкфуртского аэродрома, оглянулся, сел на скамейку и глубоко вздохнул. Нога его ступила вновь на европейскую землю, которую он покинул ровно четверть века тому назад...



Иван Петрович, учитель истории, был преподавателем в десятилетке еще в тридцатых годах, до второй мировой войны. Родом из дворян, он смог скрыть в анкетах этот злополучный факт, так как уже его отец перешел в класс интеллигенции и был участником революционного движения. По складу ума и по внешности Иван Петрович не был пролетарием. Только

благодаря своему характеру он сумел как-то скрывать свое благородное происхождение и интеллигентский облик. Он научился быть незаметным. Те, кто знал его только с внешней стороны, считали его «ничтожным», «нолевым», безвредным человеком. Иван Петрович старался поменьше попадаться на глаза начальству, не мешал и своим коллегам. И эта неприметность, вероятно, спасала его в годы ягодовщины, ежовщины, бериевщины...

В благоприятных условиях жизни он мог бы, несомненно, развиваться, подняться над средним уровнем, однако советская действительность заставила его, наоборот, уйти в себя, съежиться, сосредотачивать всю энергию на том, как прожить, как пропитаться, как одеться и сохранить службу. Не требуя многого, он цепко держался за жизнь...

Во время войны его ранило осколком немецкой мины и он не смог отступить со своей частью, откатывавшейся вместе со всей армией с белорусского фронта. Это его не огорчило, в нем не было и следа советского патриотизма. Примостившись на дне мелкого окопа он пролежал до тех пор, пока окоп не начали занимать немцы. Увидев приближавшихся солдат, он закричал: «Хильфэ, хильфэ, их шпрехэ дойч». Некоторое знание немецкого языка спасло его, он был в этом уверен. В каком-то лазарете его вылечили и затем определили переводчиком в большой лагерь военнопленных, где он и прожил до конца войны в сносных условиях, угодливо исполняя несложные приказы своего начальства. Ему удалось где-то раздобыть самоучитель английского языка и в свободное время он, украдкой, изучал английский, смутно надеясь, что это пригодится. Надежды оправдались. Когда война кончилась, Иван Петрович поступил на работу к американцам и позже, через нужные знакомства, в качестве перемещенного лица получил визу и уехал за океан.

Приехав в США, Иван Петрович вскоре получил работу дворника на одной из фабрик. Миролюбивый характер и знание языковгодились. Ему со временем стали поручать подобные консигнаций с наличием отпускаемых деталей. А когда он,

запасшись руководствами по корреспонденции и техническими словарями, освоил технологическую номенклатуру, то занял место одного из клерков в конторе, где его полюбили за исправную работу. И когда кто-нибудь из сотрудников грубоватодобродушно хлопал его по плечу и спрашивал: «Уэлл, Иван, хау ду ю ляйк Амэрика», он, внутренне слегка коробясь от такой фамильярности, изображал на лице широкую улыбку и отвечал: «Ит из ол райт, ит из ол райт, но комплейнс!».

И у него в действительности не было причин жаловаться на судьбу. С самого начала он почувствовал себя как-то прочно и спокойно. Никто никогда не проверял его бумаг, не нужно было прописываться или заполнять анкеты, приносить справки. Своими деньгами он мог распоряжаться по своей воле, никто не думал «предлагать» ему насильно подписываться на государственные займы. И хотя он зарабатывал, сперва в качестве дворника, а затем «беловоротничкового» конторского клерка, не так уж много, тем не менее этого было достаточно, чтобы обзавестись скромной квартирой, купить сперва радиоаппарат, а затем и телевизор, подписаться на русскую газету, покупать книги и даже понемногу откладывать. Жил он довольно уединенно, почти ни у кого не бывал, а если ему иногда и становилось скучно, то утешал себя тем, что от скуки, ведь никто еще не умер. Главное — чтобы жизнь была спокойной.

Была ли скупость Ивана Петровича врожденной или благоприобретенной — кто мог сказать? Одно было ясно, что подсоветская жизнь научила его исключительной бережливости, чтобы не сказать даже — скарденности. Зачем тратить лишнюю копейку, если без этого можно обойтись? Однако, чтобы не стать скрягой, Иван Петрович задавал себе время от времени экономические экзерсии: он разрешал себе купить что-нибудь не обязательно необходимое. Но, решившись на трату лишней копейки, он уж выколачивал из нее, будьте уверены, стопроцентный товарный эквивалент! Сперва он долго думал, что ему купить, затем раздумывал, стоит-ли, всё-таки покупать, затем, ответив положительно, он долго присматривался к витринам соответственных магазинов, сравнивал цены и ка-

чества и лишь после такой длительной экономической рекогносцировки принимал окончательное решение.

С этой скуповатостью у Ивана Петровича была связана некая психическая странность, появившаяся уже в Америке. С того времени, как Иван Петрович стал обрастать сравнительным благополучием, в особенности же откладывать на текущий счет, в уме этого одинокого и молчаливого человека совершалась почти постоянная работа по учету его благосостояния. Если что-либо и отвлекало его от этой навязчивой идеи, то ненадолго. Это было, вероятно, последствием психической травмы, которая образовалась в более ранние годы.

Графически это представлялось следующим образом. Перед мысленным взором Ивана Петровича вырастал порядочных размеров градусник, причем на шкале, с правой стороны, вместо показателей температуры, отмечены были «балансы» или «сальдо» (он именно любил эти термины) на его текущем счету. Особенностью этого градусника было то, что в нем имелись два столбика ртути: второй показывал, с левой стороны, «индекс намберс» его общего благополучия, т.е. капитала и купленных вещей. С левой стороны не было цифр а столбик ртути показывал лишь общий уровень интуитивно постигаемой ценности всего состояния. Правый уровень поднимался регулярными месячными скачками, хотя скачки не всегда были одинаковы. Левый же вырастал как-то незаметно, сам по себе. Если со счета снимались деньги на покупку какой-нибудь вещи, понижение денежного показателя компенсировалось соответственным ростом общего показателя. Если же приобретенная вещь, напр. костюм, выходила в расход, то этот факт сразу регистрировался общим показателем, причем появлялась красная горизонтальная черточка — до тех пор, пока уровень этот не достигал прежней высоты.

Сперва все эти вообразительные эксперименты были видом интеллектуальной игры, но со временем перешли в навык, в некоторое полуманиакальное состояние. Нельзя сказать, что это было для него неприятным явлением. Иван Петрович не только не видел ничего предосудительного в такой забаве, но

наоборот — любил это занятие. Как любитель цветов с удовольствием наблюдает рост посаженного растения, так и он с удовольствием наблюдал, как его показатели трудолюбиво карабкаются в гору, показывая рост жизненного стандарта и потенциальной покупательной мощи. Он был как-бы Скупым Рыцарем, интеллектуального, так сказать, порядка.

Не было у него и зависти к богатству других людей. Ивану Петровичу было чуждо чувство плюшкинской скупости, он не тасил всего, что могло попасть под руку. Когда он выбрасывал пришедшую в негодность вещь, он не жалел этой вещи, а только неприятно ощущал снижение своего материального потенциала. Будучи вполне современным, и даже в меру культурным, человеком, он не нуждался в физическом обладании материального богатства, вполне удовлетворяясь сознанием своей, пусть маленькой, но столь реальной финансовой мощи.

Иногда, в свободное время, Иван Петрович любил пройтись по улицам торгового квартала и полюбоваться тем, что выставлено в витринах. Он спокойно рассматривал произведения искусства, дорогие одежду и обувь, прекрасные цветы или же аппетитно расставленные «деликатессен», чувствуя себя как-бы сообладателем всех этих богатств. Не так уж было ему важно, где стоит, вот, например, эта изящная ваза, давно уж облюбованная Иваном Петровичем. Он может любоваться ее формой и тонким рисунком, зная, что захоти он купить ее, он это сможет сделать в любую минуту. Но здесь она, пожалуй, более уместна, в числе других изящных вещей, чем в его квартире. Сознание, что он именно не желает ее купить, а не то, что не может, это сознание наполняло его спокойным удовлетворением. Довольно тонкий эстетический вкус и чувство потенциального сообладательства культурными и хозяйственными ценностями своего квартала и даже целого города умеряло расчетливость и даже скупость Ивана Петровича.

Был у него в этом отношении и другой «предохранительный клапан». Сознывая, что он идет по узкой грани между бережливостью и скопидомством, и не желая попасть вполне под власть беса стяжательства, Иван Петрович считал нужным,

время от времени, «дать по рогам искушающей его бестии», т.е. преднамеренно истратить некоторую сумму на покупку того, без чего можно было бы и обойтись. Он называл это профилактическим деньгопускательством, но не стихийным, а волеуправляемым. Здесь он, конечно, несколько лукавил сам перед собой. Ибо он не ходил, скажем, на скачки, и не занимался благотворительностью. Верный самому себе он пришел к благоразумному выводу, что если уж тратить деньги, то лучше тратить на себя.

Обладая кулинарным вкусом, унаследованным им по всей вероятности от далеких предков-помещиков, Иван Петрович любил, как он сам выражался, «культурно выпить и интеллигентно покушать». «Ништ квантитэт, зондэрн квалитэт», любил он повторять при выборе вин и закусок, что значило, на отечественном языке, что он был подвержен страсти не чревоугодия, а гортанобесия. Но, не будучи аскетом, Иван Петрович нисколько этим не смущался, скорее наоборот, в глубине сердца с некоторым налетом гордости считал себя «гурманом».

Побывав в разных американских ресторанах он пришел к выводу что в дешевых кормят плохо, а в хороших — хотя кормят и вкуснее, но сдирают лишнее. Кроме того его раздражал общепринятый обычай давать на чай: он никак не мог найти этому оправдания. И он нашел выход — гениально простой и удобный: он стал сам себе готовить. Со свойственной ему методичностью, Иван Петрович приступил к этому делу обдуманно — он купил поваренную книгу и вскоре она стала его излюбленной лектурой. Открыв в себе практический поварской талант, он несказанно обрадовался. Во-первых, он стал есть вкуснее, и во-вторых — стоило это намного дешевле. Эта новая затея отвлекала его несколько от его финансовых забот: он любил долго просматривать рецепты, предвкушая в абстрактном плане то удовольствие, которое он получит на следующий день от выбранного яства. В этом приятном предожидании он засыпал. А по дороге со службы домой он тщательно выбирал нужные продукты, и уже с нетерпением спешил, чтобы заняться «священнодействием».

Вот таким образом, самодовлеюще, прожил Иван Петрович целых двадцать лет в Америке: ни от кого, кроме работодателя, он не зависел, ни в ком не нуждался, ни о ком не пекся.

В один из припадков к-самому-себе-великодушия, Иван Петрович решил взять отпуск и съездить в Европу. Он долго не решался назначить срок отъезда, но помог случай. Один из «боссов» (вернее его жена) выиграл на телевизионной программе приз: билет первого класса аэропланом в Европу и обратно. Семейные обстоятельства помешали ему использовать этот приз и он предложил его своим сотрудникам, со скидкой. Это решило дело. Иван Петрович убил двух зайцев: выиграл на цене билета и снискал лишний раз расположение «босса».



Туристический маршрут был составлен Иваном Петровичем заранее. Он состоял из следующих пунктов: Вормс, Ульм, Аугсбург, Мюнхен, Вюрцбург и Гейдельберг. Еще будучи студентом, Иван Петрович интересовался историей реформации и теперь он воспользовался случаем осмотреть колыбель, где зародилась реакция против папизма, сыгравшая впоследствии столь решительную роль в истории западной культуры. По пути захотелось посетить и университетские города этой части Германии.

Иван Петрович деловито осматривал кафедральные соборы и музеи, по мере возможности без гидов, по путеводителю. Впечатление было внушительное. Ему казалось просто невероятным, что несколько десятков лет тому назад злая сила, овладевшая безумцем, поставила под угрозу полного уничтожения эту цветущую и культурную страну. По ассоциации вспомнились военные разрушения на своей, давно покинутой родине...

Запомнились и некоторые бытовые особенности этой страны: отсутствие носильщиков на франкфуртском аэродроме (забастовка?), густое и стремительное движение автомобилей на узких улицах и в лабиринтных переулках, паркирование на некоторых тротуарах (наполовину), перины вместо одеял в

гостиницах, приветливость продавцов, благоразумная экономность. Несколько озадачило Ивана Петровича, что в ресторанах не подают к еде хлеба или булочек, если вы их не заказали особо. Цены, в общем, показались неожиданно высокими. Это был результат девальвации доллара. Удивило Иван Петровича, что такие, напр. продукты, как кофе или яйца — дороже почти в три раза, чем в США. Зато дешевле были спиртные напитки, первосортного — как правило — качества.

В стране шло «буйное строительство»: везде что-то строили, проводили, инсталлировали. Безработицы не было. Чем глубже продвигался Иван Петрович в Баварию, тем интереснее и самобытнее становилась фольклорная культура. Баварские деревушки казались игрушечными. Захотелось сделать непредвиденный крюк — поездом из Мюнхена в Инсбрук. Иван Петрович не пожалел денег на это.

И все бы было хорошо, если б разнообразные туристические впечатления не омрачились новой психической странностью, которую Иван Петрович заметил сразу же после приезда в Германию, и которая, как-будто, прогрессировала. Собственно говоря это была не новая странность, а лишь новое проявление всегда присущей ему болезненной расчетливости. Как под напором сильной водяной струи гаснет вспыхнувшее пламя, так оживленность и приятная заинтересованность окружающим подавлялись и стирались в сознании Ивана Петровича все время всплывающей из подсознания мыслью, что он, собственно говоря, все время тратит деньги... Не помогали доводы разсудка, что ему причитается жалованье и за отпуск, что тратить деньги приходится всегда и везде, что текущие издержки не смогут нанести такой уж страшный ущерб его текущему счету в банке...

Но стоило ему прилечь и полузадремать, как появлялось странное видение: ярко освещенные огромные монеты пролетали перед его глазами, быстро удаляясь в темноту... Иной раз он видел банкноты, срываемые вихрем, как сухие листья в осеннее ненастье, и исчезающие, вертясь, в темном провале...

Другим наваждением, изматывающим мозг Ивана Петрови-

ча, была его неспособность переключиться с долларовой валютной системы на марочную. Его мозг, как счетная машина в супермаркете, механически регистрировал цены в марках и пфенигах, но сразу же перерабатывал их в привычные денежные категории, выбрасывая в сознание их долларовый и центовый эквивалент. Этот процесс совершался не только тогда, когда Ивану Петровичу нужно было платить по счетам, а так, вообще... Если он останавливался перед витриной, то взгляд его прежде всего схватывал цены товаров, а мозг моментально переводил их на доллары. Затем Ивану Петровичу стало иногда казаться, что он слышит в голове тот характерный шум счетных электрических аппаратов, производящих подсчет и затем со звоном выбрасывающих итоги... Хррр-хррр-хррр-бум! Хррр-хррр-хррр-бум! Дзинь! Иван Петрович испуганно следил за быстрым процессом болезни, стал принимать снотворные пилюли и твердо решил посоветоваться с психиатром по возвращении в США.

Бывали дни, когда ему становилось легче. Он заметил, что две вещи могли его отвлечь, на время, от назойливых явлений: вид достопримечательностей и вкусная еда с легкой выпивкой. Баварская кухня, после пресной американской безвкусицы, показалась ему настоящим гастрономическим откровением. Ну, и напитки, конечно...

Особенно легким показался Ивану Петровичу последний его день в Гейдельберге. Погода была хорошая, поездка благополучно подошла к концу, следовало это отпраздновать. Иван Петрович пешком прошелся, мимо полуразрушенного замка, на вершину горы, называемую Королевским Седалищем (Кэнигштуль). Оттуда открывался очаровательный вид на город, узкий здесь еще Рейн и на загородные полевые дали. Полюбовавшись пейзажем, Иван Петрович прошел в ресторанный зал, занял уютный столик и начал внимательно изучать меню. Подошедшей молоденькой официанточке в живописном национальном баварском костюме он велел подать себе рислинг (в Баварии подают вино в маленьких, изящных графинчиках), заказал отварную форель с молодой картофелью и зеленым

салатом («нур айн вэниг цитроненсафт, эль унд салц, биттэ!») и стал прохладиться, в ожидании заказанного блюда, светло-золотистым вином, наслаждаясь его свежестью и легкой, характерной кислинкой. Иван Петрович любил провозглашать перед едой, чаще всего про себя, перефразированную им же самим известную поговорку: «Л'аппети вьен ан бюван!». Он успел осушить небольшой графинчик, когда была подана рыба, и поэтому заказал еще один графинчик, на этот раз Кайзерштуллера, сухого, но несколько более крепкого, цвета светлорозоватого янтаря. Неодобрительно заметив, что к форели подали топленое масло без мелко-нарубленного желтка, Иван Петрович всецело погрузился в смакование тонко приготовленного блюда. В меру насытившись, он заказал добавочно чашку черного кофе, порцию Шварцвэльдэркирштортэ, привлекшего его внимание пышностью названия и оказавшегося изумительно вкусным, и рюмочку любимого шартрэз. Но такового в буфете не оказалось и Ивану Петровичу пришлось удовольствоваться бенедиктином.

Для полного комфорта оставалось закурить хорошую сигару, но этого Иван Петрович не сделал, так как уже давно бросил курить — из экономии. Вышел он из ресторана в благодушном настроении, наслаждаясь «благорастворением воздуха и изобилем плодов земных». И вдруг, по психологическому закону контраста, благодушное настроение как рукой сняло, в груди стало тоскливо, все как бы потускнело, как будто солнце зашло за черную, зловещую тучу. Наступил очередной припадок ипохондрии. Не радовала уже ни съеденное ни выпитое: напротив, в груди почувствовалась какая-то неприятная изжога. А под черепной коробкой застучал мозговой арифмометр...

В угнетенном состоянии Иван Петрович направился в свою гостиницу. Погруженный в свои думы, он, как лунатик, машинально, переходил улицы и площади... вот он проскочил перед носом проезжавшего слева автомобиля... шофер нажал клаксон и резкий звук заставил Ивана Петровича вздрогнуть и на мгновение остановиться, затем он ринулся вперед и услышал дикий

скрежет тормозов бешенно мчавшейся машины справа и, не успев даже повернуть голову, почувствовал сильный удар, его качнуло, он услышал хруст в правом колене и, теряя сознание, упал на мостовую...



Очнулся Иван Петрович ночью и не мог понять, где он. Все тело ныло от боли, особенно голова и правая нога, от бедра до ступни, не острой, а тягучей болью, как будто кто-то медленно наворачивал нервы ноги на валик, стягивая их постепенно. Он попробовал повернуться набок, и не смог. Непослушными пальцами нащупал вокруг правой ноги холодную гладкость гипса. Вероятно он был не один в комнате, так как здесь и там слышались придушенные голоса, побряхтывание, кто-то монотонно стонал. Слышно было, как кто-то шел, постукивая каблуками (по коридору, вероятно), затем дверь открылась и вошедшая особа заговорила громко, женским голосом с характерным баварским произношением. Ей отвечали, тоже громко. Иван Петрович удивился такой безцеремонности в ночное время. Затем он вздрогнул, поднял руку к лицу и ощутил бинтовую повязку, тесно покрывающую верхнюю часть лица. Как электрический ток пролетела мысль, что он ослеп. Тело вдруг покрылось испариной. Сдавленным голосом он вскрикнул: «Фройляйн, фройляйн, вас ист лёс мит мир?». В ответ быстрый сопранный говорок залопотал что-то... «Биттэ, ниht зо шнэль, их кан зи каум фэрштээн», — прервал ее Иван Петрович. Сестра милосердия спохватилась и начала ему медленно объяснять, что его привезла вчера скорая помощь, что у него вывихнуто колено и общая контузия, что разбившимися очками ему поранило глаза, что ему уже сделана операция и что ему теперь надо терпеливо лежать и выздоравливать и что есть надежда сохранить ему зрение, но точно сказать теперь нельзя, а лишь после трех недель, приблизительно, когда ему снимут повязку, и что за госпиталь и операцию придется платить ему самому, так как полицией установлена его вина, а не шофера.

Выслушав все это, что он частично понял (а отчасти до-

гадался о содержании), Иван Петрович упал духом. Как ему быть, что делать, какие будут последствия? А что, если он потеряет зрение? О, Господи, только не это! Он стал уже представлять себя слепым в разных житейских ситуациях, грустных, унижительных, неутешных...



Происшедшая катастрофа имела для Ивана Петровича не только физические последствия. В его душе, или уме, появилась какая-то глубокая трещина. Была ли это шизофрения? Или особенные обстоятельства, в которых он очутился, так повлияли на него? Он чувствовал себя сугубо одиноким, в чужой стране, среди чужих людей в общей больничной палате, не с кем было поделиться тревожными мыслями, некому было пожаловаться. При почти полном физическом бездействии, напряженно работал мозг. С утратой зрения (временной или постоянной — он не знал) как-бы порвались нити, связывавшие Ивана Петровича с внешним миром. У него не было той обостренности остальных четырех чувств, какой обладают слепые от рождения или долгой практикой приобретают ослепшие. Его мысленный взор был обращен внутрь себя и в такой интравертированной перспективе он видел себя как постороннего человека, как объективированного индивида, если можно так выразиться. Он следил за своими мыслями и воспоминаниями, как будто бы они были им же самим проецированы на внешний экран его же собственного я.

Как монах перебирает четки, так Иван Петрович перебирал теперь мысленно свою жизнь: поступки, мысли, намерения, и видел их не только такими, какими они были, но и какими могли бы быть. И чем больше Иван Петрович думал, тем строже становился к себе самому. К своему стыду он не мог вспомнить ничего из своей жизни хорошего, когда бы он поступил ради кого-нибудь или для кого-нибудь. Рассудок начал было его утешать, что, зато, он не делал и ничего плохого, по крайней мере сознательно. Но утешение это почему-то уже не убеждало его. «Не человек я, а так ...человеческая монада!» —

подумал Иван Петрович. «Или пошлый братье-карамазовский черт!» — с внезапно вспыхнувшей злостью пробормотал он вслух. «Битэ?» — спросил его сосед. Но Иван Петрович ничего не ответил, снова уйдя в свои думы.

Больше всего болела нога, но не острой болью, а ноющей. Если он менял положение тела, на минуту приходило облегчение, становилось даже приятно, но вот незаметно, постепенно начинала нарастать эта ноющая боль, и не в колене, а в бедре, то опускалась ниже, то начинала ныть ляжка и ступня, все сильнее и сильнее, пока боль не становилась невыносимой. Тогда Иван Петрович менял положение. «Вероятно где-то в ноге образовалось ущемление нерва?» думал он. Приняв на ночь снотворные таблетки, Иван Петрович засыпал на несколько часов, но действие наркоза проходило и он просыпался, и снова думал и думал. В душе его было пусто, тоскливо, опустошенно, как на пожарище.

В меру того, как он выздоравливал, прекратившиеся было после катастрофы навязчивые видения показателей материального благополучия, хоть и сильно потускневшие, но стали появляться. Правда, они уже не тревожили его, как раньше, и не возбуждали желания наверстать упущенное. Это было, вероятно, от сознания, что он был на волосок от смерти, и, что умри он, деньги на счету пропали бы без пользы (он, как и многие одинокие люди все не мог собраться сделать завещание — да и кому было завещать?)

Как-то ночью (Иван Петрович угадывал, что это была ночь по затихшей жизни в палате) ему было особенно тяжело. Время тянулось бесконечно, в душе уныние... уныние... уныние... не даждь ми... дух же целомудрия... смирение ...любовь, даруй мне, рабу Твоему... с трудом вызывались из какого-то забытья слова где-то когда-то слышанные, кем-то произнесенные, и вдруг ...что-то подступило к горлу и Иван Петрович не выдержал: уткнувшись в подушку и натянув одеяло поверх головы, дал волю душившимся его слезам, разрыдался...

*Е. Валентинов*

## К ТЕБЕ

Городским бы осенним раем  
До тебя дойти прямиком,  
Краем облака, краем, краем  
Помахать тебе как платком!

От толпы, от спешки и давки  
Пробираться в простор, в покой  
По подсушенной низкой травке  
Вечереющей, городской.

Лабиринтом дворигов тощих,  
Незастроенных пустырей —  
Как тропами в блаженных рощах —  
Выше, выше, скорей, скорей...

Краем облака, рваным краем  
Помахать тебе, знак подать —  
И пройти предвечерним раем  
В нашу встречу, в сон, в благодать.

## МОИМ ДЕТЯМ

Евангельской простоте,  
Евангельскому веселью  
Раскрыты недели те,  
И двери раскрыты в келью.

И сдвинут как камень Пост,  
Виниться нельзя и не в чем,  
И с краешка крыши дрозд  
Орудует горлом певчим.

Кругом обступает меня,  
По дому вихрем летая,  
Ребятчья, щенятчья возня,  
Ликующая, святая!

Вбегают в пасхальный свет  
Смеясь и ласково вздоря,  
Как будто и не было лет  
Немого железного горя,

Как будто зеленый венец  
Апрелем для них уготован,  
Как будто не завтра конец —  
Как будто...

И падает слово.

*Ольга Анстей*

## МЕТНЕР И ЕГО КВИНТЕТ

*Недавно в Монреале скончался Константин Евгеньевич Климов, последние 16 лет бывший профессором Музыкальной Школы Лавальского Университета в Квебеке. Педагог-энтузиаст, проф. К. Климов кроме своей прямой педагогической деятельности писал статьи о русской музыке и русских композиторах. Он лично знал и очень уважал Н. К. Метнера. После кончины композитора К. Е. Климов написал для английского сборника «Памяти Метнера», вышедшего в Лондоне в 1955 г., статью под названием «Метнер и его квинтет». Мы печатаем оригинальный русский текст этой статьи. РЕД.*

Квинтет для струнных и фортепиано — последнее крупное произведение Метнера. Оно еще ждет своего издания, а пока существует лишь в виде рукописной партитуры и кроме того записано на пластинках с самим автором в партии рояля. С этой записи сделан, сколько мне известно, один пробный оттиск, прослушать который посчастливилось лишь немногим. Это произведение венчает творческий путь композитора, являясь как-бы «кодой» его жизни и уже этим одним привлекает к себе совсем особое внимание.

Думается, однако, что уяснение, или даже рассмотрение этого произведения в отрыве от всего, что было создано Метнером на его творческом пути и вне связи с его художественной личностью было бы неверно, да и просто невозможно. Чтобы понять, как Метнер пришел в конце своего пути к квинтету, вернее — что его к нему привело, необходимо увидеть пройденный им путь в целом и разобраться хотя-бы в общих чертах в тех духовных силах, которые всегда лежали в основе его творческой природы.

И вот, взглядываясь в стезю жизни Николая Карловича Метнера, видишь до какой степени духовная его природа властно обусловила и определила внешний путь его жизни, исключив из него все, что не имело духовного содержания.

Содержанием его жизни было и оставалось до конца служение высоким идеалам искусства, служение, в котором выявились все черты его личности: верность, стойкость и самозабвенная преданность священным основам жизни. Стрелка его духовного компаса с удивительной устойчивостью указывала главное направление и не знала ни уклонений, ни колебаний.

В этом обнаруживается сходство Метнера с другой замечательной личностью из недавней истории русской музыки — с Сергеем Ивановичем Танеевым, бывшим некоторое время учителем Метнера. Оба они, учитель и ученик, прошли свой жизненный путь с поразительной последовательностью и на необычно высоком моральном уровне.

Жизненный же путь Метнера был всегда путем служения искусству, и на этом пути сила его духа позволила ему удерживать незыблемыми все завоеванные его великими предшественниками священные вершины музыки. Если мы примем во внимание, что он жил в эпоху катастрофических сдвигов и потрясений всех основ культуры, в том числе и основ искусства музыки, эпоху, оставляющую после себя гораздо больше развалин, чем творческих свершений, то несокрушимое духовное «стояние» Н. К. Метнера среди разрушительных бурь современности приобретает героический смысл.

И, конечно, правы те, кто поражались и поражаются существованию в наш «передовой» век музыки Метнера, как правы были бы те, кого поразили бы сохранившийся чудом памятник искусства в опустошенной землетрясением местности. Только такое удивление было бы беспредметным, ничего не сознающим, т.е. лишенным чувства духовной очевидности.

В духовной стойкости Метнера есть многое от религиозного подвижничества, внутренний закон которого выражен словами-напутствием: «Будь мудрым и мужественным служителем Истины (и Прекрасного, добавим мы), хотя бы ты имел против себя целый мир». Всю свою жизнь оставался Метнер этим мудрым и мужественным служителем Прекрасного в Истине и Истины в Прекрасном.

Его духовная стойкость не имела ничего общего со схоластикой догматизма и закостенелости, и если он не сдал за всю свою жизнь ни одной позиции в угоду моде и удержал все священные основы искусства, то возможно это было толь-

ко потому, что сильна была его вера и любовь к идеалам, субстанция которых не знает тления, так как она вечна.

Средства своего искусства Метнер совершенствовал всю свою жизнь, создав палитру изумительного мастерства красок, и при том всегда по метнеровски неповторимых как в гармонии, так и в мелосе и ритме. Отрицать эту неповторимость его мастерства можно или по незнанию, или же по недобросовестности. Нельзя лишь забывать, что все эти музыкальные средства выросли и развивались у Метнера органически, из неумолимой художественной необходимости и под суровым контролем его художественной совести.

Наш век особой совестью и вообще, и в искусстве в частности, не отличается, — для достижения целей все средства стали хороши, — и потому русская музыкальная школа, расцветшая перед революцией, могла гордиться такими именами, как Глазунов, Рахманинов и Метнер, искренняя совесть которых вела их не теми путями, на которые устремились представители новейших течений. После смерти Глазунова и Рахманинова Метнер оставался единственным представителем той музыки, нить которой тянулась через века от великих ее создателей. На Метнере эта нить пока что оборвалась.

В чем же заключалась основная сущность «символа веры» Метнера и какова была «равнодействующая» того большого исторического искусства, к которому без всякого сомнения Метнер принадлежал и которая (равнодействующая) перестала быть таковой в наше время?

Не нужно, конечно, доказывать тот факт, что гений Бетховена был тем поворотным пунктом истории, когда музыка обратилась к человеку и стала на путь гуманного служения человеческой культуре. Вопросы бытия, судьбы, Божественного Промысла, любви, радости и т.д. вошли в состав ее проблематики и этим подняли ее художественное значение и сыграли в конечном итоге такую огромную роль в общем развитии культуры 19-го века. Кто знаком с современными теориями в искусстве, тому ведомы антигуманные, противочеловечные их тенденции, конечными целями которых является создание некоего стерильного искусства для людей с потушенным огнем души.

Метнер, в силу своей художественной и нравственной при-

роды, никогда не мог принять и согласиться с этим направлением в искусстве, горячо его отвергал как нехудожественное и «злое», и в своей книге «Муза и мода» формулировал свои взгляды на искусство музыки, на творческий художественный процесс и на задачи художника в этом процессе, черпая свою силу веры в великом музыкальном наследии прошлого.

Для Метнера путь наибольшего сопротивления является единственно возможным для достижения конечной и высшей цели художественного творчества, — единства и согласования разнообразия. Достигнуть этого можно только лишь путем ответственного художественного отбора перед лицом художественной совести. Как духовные, предметные содержания искусства, так и средства их воплощения обретаются в творческом созерцании, а не изобретаются. Пустому изобретательству тут нет места. Вот почему Метнер так тревожился за судьбы своего искусства, когда видел, что высочайшие смыслы музыки, обретенные творческим созерцанием великих создателей ее, подменяются в наше время изобретением всяких «пиротехнических», как он выражался, ее средств.

Путем несправедливым, уводящим от художественности, является путь наименьшего сопротивления, на котором высшие цели искусства даже и не ставятся. Художник, избравший такой путь, с неизбежностью обращается к нехудожественному, — к изобретательству всякой «небывальщины»: небывалого звукосочетания, пугающей своим звуковым безобразием темы, и т.д., вплоть до «небывалых» названий, вроде «пьес в форме груши» и т.п., и тем самым перестает быть художником. К такому искусству Метнер не мог быть равнодушным, так как ощущал его как кошунство.

С проникновенностью истинного художника-мыслителя он различал в искусстве «зло» и «добро», причем он определял «зло», как «самодовлеющую, не тяготеющую к простоте сложность, а также такую ложную простоту, которая исключает главную проблему не только искусства, но и всей человеческой жизни, т.е. проблему согласования». «Добро» же есть «сложность, разрешающаяся в простоту, равно как и простота, заключающая в себе потенцию сложности». (Из книги Метнера «Муза и мода»).

Думается, что из сказанного уже может быть ясно, как мыслил Метнер об основах своего искусства и о задачах ху-

дожника. Совершенно очевидно, что художник, так понимающий задачи музыки и ставящий себе такие проблемы, должен быть на предельной высоте предметного созерцания, а для воплощения этих содержаний должен иметь то мастерство оформления, которое достигается лишь на вершинах искусства.

Предметное видение Метнера глубоко и всеобъемлюще, — от нежной поэзии «засохшего цветка», ивы, клонящей свои ветви над ручьем, до титанического взлета к трагическим обстоятельствам мира и религиозных озарений.

Как символично для всей жизни Метнера, что одной из первых его композиций была композиция на текст «Ангела» Лермонтова. С идеей этого удивительного стихотворения Метнер никогда не расставался и она его сопровождала вплоть до последнего произведения. Душа его не забыла «звуков небес», и скучные песни земли никогда не заменяли ему тех песен, которые напел ему Ангел Божий.

А в первой своей сонате (ор. 5, *f moll*) он уже поставил те проблемы, которые стали руководящими на протяжении всей его жизни, — трагичность бытия и помыслы о Боге, которого он созерцал лучезарным Духом, пребывающим в великом и непостижимом покое. Этому покою Божественного Духа Метнер противопоставлял «мышиную беготню» дел человеческих на земле.

Тема трагического играла очень большую роль в предметной медитации Метнера. Ей он посвятил целый ряд своих произведений, как «Трагические фрагменты», оп. 7, «Трагическая соната», оп. 39, а также таких, в названии которых нет слова «трагическое», но которое тем не менее явствует из самой музыки, исполненной острых коллизий, как упомянутая уже соната оп. 5, 1-ый фортепианный концерт, оп. 33, большая соната (ор. 25, *e moll*) с *motto*, из Тютчева. — «О чем ты воешь, ветр ночной», «Грозовая соната» и некоторые песни на соответственные тексты, как «Бессонница» Тютчева и др. Посвящая так много произведений этой теме, Метнер в то же время ясно сознавал всю нерасположенность современного человечества к размышлению над трагичностью бытия: «люди не выносят сегодня даже намек на трагичность», — говорил он.

Не перечить всех музыкальных медитаций Метнера, да

статья эта и не ставит себе такой задачи, но невозможно не упомянуть о теме сказки, к которой он столько раз возвращался. Нельзя было бы назвать более точно и кратко эту область его творческой фантазии, как «поэтическое», охватывая этим словом то многое и бесконечно разнообразное по музыкальному содержанию, что заключено в его сказках, лирических фрагментах, романтических эскизах, в обеих импровизациях и также в сонатах — соната-сказка оп. 25, соната-баллада оп. 27, соната-воспоминание оп. 38, и во многом другом. Балладной поэзии посвящен, наконец, его богатейший 3-й фортепианный концерт.

В этой атмосфере духовной сосредоточенности на главных вопросах искусства и бытия жило и развивалось около полу-столетия творчество Метнера. Величие художественных задач вытекало из глубины его предметного видения. Различные озарения требовали различной формовки материи, исключительного богатства музыкальных элементов — мелодии, гармонии, ритма. Игра же тембрами никогда не выходила у Метнера, как и у Баха и у Бетховена из своего подчиненно второстепенного значения. Да ему, бесконечно богатому и темами, и гармониями, и ритмами, никакой нужды не было помышлять о замещении этих подлинных смыслов музыки гипертрофией самого материального ее элемента — тембровзвучностями. Произвольная или произвольная предметная пустота современной музыки создала себе из тембровой звучности настоящего фетиша, т.е. сделала из самодовлеющей звучности тему музыки, как это определяет сам Метнер. Слушая предметно пустую музыку современности, не удивляешься и музыкальному ее опустошению, что сказалось прежде всего в постепенном умирании и под конец почти в полном исчезновении из нее центральной фигуры музыки — музыкальной темы.

То античеловечное, о чем упоминалось выше и что сказалось почти на всех видах искусства, проявилось в музыке прежде всего на темах ее, в особенности же на мелодической форме тем. Их просто не стало. Но прежде чем такие темы исчезли, они сначала стали видоизменяться в сторону нарочитого безобразия и пугающей звуковой бессмыслицы. Вместе с вырождением темы в ее мелодическом облике вырождались и самые музыкальные смыслы. Тут помогла и теория о принципиальной бессмысленности музыки, о полной ее неспособно-

сти что-либо изображать и отражать. Все так называемые смыслы музыки приписывались раз навсегда безответственной личной фантазии отдельных людей, никак ни для кого не обязательной.

У Метнера музыкальная тема была и осталась главным действующим лицом в произведении. Она обреталась им в глубочайшем творческом созерцании через вдохновенное вслушивание в ее сущность и ткань. «Недослушанных» тем музыка Метнера не знает вовсе. Все они выявлены до конца, предельно закончены и скульптурно вылеплены. Законченность эта не пассивно-статического, а ярко-динамического характера. Все без исключения темы Метнера способны к действиям и к «поступкам», по выражению проф. И. А. Ильина. Они и совершают эти «поступки», т.е. готовы к взаимосочетанию, к развитию и росту как в целом, так и в отдельных своих отрезках; они могут до бесконечности видоизменяться тонально, ритмически, гармонически и полифонически, т.е. менять свое обличье, выявляя и выделяя все новые и новые музыкальные содержания из первоначальной формы.

В этой области тематической разработки мастерство Метнера может считаться общепризнанным. Ярким примером такого вдохновенного мастерства может служить I-ый фортепианный концерт, ор. 33, c-moll, хотя и более ранние произведения, как первая соната, оп. 5 и следующие крупные формы, обнаруживают те же черты метнеровского дарования: скульптурную выявленность тем и огромную волю к их художественной обработке, или к их «обновлению», как он сам говорил.

Все сказанное о темах музыки Метнера отнюдь не означает, что музыка его не знает широких мелодических форм, просто пропетых во всей их первозданной непосредственности. Уже один факт существования более ста песен для голоса, «инструмента» наиболее непосредственного и созданного лишь для мелодических форм, говорит с достаточной убедительностью об этом. Но и инструментальная музыка в формах его «сказок» и др. насыщена мелодическим содержанием. Развитая форма сонаты по самому существу своему требует тем, способных к динамическому действию и обработке, но и здесь мы встречаем темы-мелодии широкого дыхания в целом ряде сонат, в концертах, — как например 2-ая тема первой части 2-го ф.п. концерта, все темы 3-го концерта и т.д.

Таков в самых общих чертах облик Метнера художника-мыслителя. Будучи чрезвычайно современным композитором, в истинном значении этого слова, он не пошел за модной современностью по глубоким идеологическим и музыкальным основаниям. Музыка его говорит на совершенном языке о том, что бесконечно дорого всем, кому дорога самая сущность нашей культуры. А потому он не порывает с теми «смыслами» музыки, которые были обретыены его предшественниками. Его искусство попрежнему служит человечеству ко благу его, к очищению и умудрению, не проповедуя и не морализируя, а лишь — образами Прекрасного и Истинного, которые открылись его вещей душе в созерцании мира и его Творца.

И вот, в конце своего пути художественного служения. Метнер пришел к тому произведению, которое является одновременно венцом его творческих свершений и в то же время его последней песней Тому, о Ком в любви своей целомудренно помышляла всю жизнь его душа. Как первый музыкальный вздох его был напоен религиозным содержанием, так и в последнем он отдал все силы своего духа молитве скорбно-покаянной и осанне, радостно упоенной.

Это свое произведение Метнер «вынашивал», хороня в сердце долго, — почти всю жизнь, прежде чем решил его записать.

Первая моя «встреча» с квинтетом и в то же время — последняя художественная встреча с Метнером произошла в волнующей обстановке у постели умиравшего в то время друга Метнера, ныне тоже покойного, Альфреда Лалибертэ. Единственный пробный экземпляр звуковой записи находился у него, следили мы за музыкой по черновой партитуре, писанной рукой Метнера.

Как описать чувства, которые всколыхнулись при этом первом слушании квинтета? Их не забыть никогда, но описать их до крайности трудно, почти невозможно. И все же самым сильным чувством было: такой музыки еще не бывало! Таких гимнов люди еще не пели на земле! Так близко они еще не чувствовали Того, Кто произнес тогда величайшую проповедь, когда либо слышанную на земле!

Священные образы витают над этим произведением. В атмосферу необыкновенного, что должно произойти, и вместе

с тем священного вводят уже первые мягкие звуки вступления. Они постепенно крепнут, переходя в неторопливо размеренное шествие, ритмичное и одновременно взволнованное.

В этом приглушенно взволнованном шествии чувствуется приближение того, самого главного, к чему все движется. Изредка слышны точно отдаленные грозовые шумы, движение несколько раз останавливается как-бы в восторженном удивлении, подготавливая появление главной темы. И вот она появляется, исполненная глубочайшего чувства, спокойно-вдохновенная, царственная. И снова возвращается тема шествия, ведущая к концу первой части. Вся она, эта часть, написана необычайно сжато и концентрированно с чисто «рембрандтовским» мощным лучом света, брошенным на главное.

2-я часть — покаянная молитва на слова из 24-го псалма Давида: 11) «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». 16) «Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». 18) «Призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои». 20) «Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю».

Все эти слова подписаны рукой Метнера под темами этой части. Здесь встают иные образы, тихие и скорбные, так удивительно напоминающие покаянные настроения незабвенных дней Великого поста в России.

Самое близкое родство главной темы второй части с православными напевами, — хотя она вся метнеровское создание, — услышит всякое русское сердце. Так взывать к Богу, в таких скорбных звуках, может взывать тоже б. м. только русская душа.

3-ья часть — Осанна! Построение этой части самое сложное из всех частей квинтета, здесь сплетаются или мимолетно возвращаются главные темы всех частей. Сама осанна прерывается появлением этих тем 1-ой и 2-ой частей, пока не утверждается окончательно.

Заключение — это ликующая радость человеческих сердец, несущаяся к небу.

«Каждая тема музыки имеет свою судьбу», — говорил неоднократно Метнер. Главная тема всей жизни самого Метнера тоже имела свою судьбу, и это она привела его к заключительному апофеозу, из нее пропел Метнер свою последнюю

хвалу Господу и звуки этой музыки отмечены неземной красотой. Могло ли быть иначе? Думается, что самый вопрос немислим для тех, для кого жизнь не есть цепь пустых случайностей, а в величайшей последовательности развивающаяся любовь Творца к людям. Об этой любви Творца говорит нам удивительная, героически прекрасная жизнь Николая Карловича Метнера.

*Константин Климов*

## СИРЕНЬ

Лиловый шторм, лиловый дождь сирени  
Обваливался в глиняный кувшин.  
Сирень стояла в кувшине по пояс,  
И было так: шли облака, и поезд  
Бежал по рельсам. Паровозный дым  
Казался сизым облаком тугим,  
Он бился вдоль полотен и вершил  
Свое движенье май неукротимый,  
Железный май сиреновой плотиной  
Казалось, на заборы нависал.  
Провинция? Поездка? Курск? Вокзал?  
Сиреневая гроздь неустрашима,  
Она плывет, наполнив города,  
Скуластым бликом на лице кувшина  
Она цветет, бессмертием горда.  
Сирень нова. Цветет без повторений,  
Цепляется за нити проводов,  
И снова так: весна, аврал сирени,  
Овраг сирени в кувшине с водой.  
И в комнатах, как май, неукротима,  
Цветет навек, цветет врагам на страх,  
Смотри: она полнеба охватила  
У памяти на солнечных холстах.  
Что этой дикой горечи острее?!

## ФЕЙ ВАН СКИВЕР, ГОРНЫЙ ДУХ

...И Фей Ван Скивер шарил по стволам,  
Громами бил  
Застенчивую зелень,  
И пировал на каменных столах,  
И влагу пил,  
И выл в ущельях зверем.  
О Фей Ван Скивер, допотопный дух,  
Каменотес,  
                    бродяга и лесничий,  
Зеленый и всклокоченный, как дуб,  
Седой от слез  
И чуткий к трели птичьей.  
Зеленый миф, растущий на глазах  
Титан земли, в короне пихт и хвои,  
Ты молодеешь в радужных слезах,  
Поешь в ущельях и потоки гонишь.  
Ты радугу, сырую, как арбуз,  
Привариваешь к каменным медузам  
И водопада синеватый груз  
Обваливаешь в допотопный кузов.

*Олег Ильинский*

# А ВСЕ-ТАКИ ВСТРЕЧА ДОСТОЕВСКОГО С ГОГОЛЕМ БЫЛА

Возражение проф. Н. Первушина Ю. Маргулиесу относительно встречи Достоевского с Гоголем, к сожалению, осталось без ответа из-за смерти автора положительной версии. Очень интересная статья «Встреча Достоевского и Гоголя» Ю. Маргулиеса появилась в альманахе «Воздушные пути» № 3 за 1963 г. Вскоре после появления статьи Н. Первушина в декабрьском номере (105) «Нового журнала» за 1971 г. Юрий Маргулиес ушел в лучший мир. Скрупулезный и тонкий анализ текста «Села Степанчикова» в сопоставлении с мемуарными данными привел Маргулиеса к мысли, что встреча Достоевского с Гоголем состоялась в начале осени 1848 г. на обеде у А. А. Комарова в Петербурге. Заключение Маргулиеса прозвучало новым словом в современном достоевковедении и имеют большое значение для выяснения многих творческих вопросов в литературном наследстве Достоевского. Они проливают свет на взаимоотношения двух великих писателей и по-новому ставят вопросы о гоголевских традициях и романтизме в творчестве Достоевского.

В частной переписке я уже указывал автору статьи «Встречался ли Достоевский с Гоголем?» на допущенную им ошибку привлечения в качестве советника для А. Комарова покойного уже к тому времени В. Г. Белинского, который умер за несколько месяцев (28 мая 1848 г.) до этой встречи. За этим последовала поправка в «Новом журнале», разъяснявшая, что имелись ввиду «друзья Белинского». Теперь возражения Н. Первушину я начну с главного, по его мнению, соображения, которое считается им «прямым доказательством» того, что встречи Достоевского с Гоголем на ужине у Комарова не было и, таким образом, якобы отпадает сама собой всякая попытка усмотреть в образе Фомы Опискина изображение самого Гоголя. Таким аргументом проф. Первушин считает заявление

вдовы писателя, Анны Григорьевны Достоевской в «Библиографическом указателе сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского» (1906 г.) о том, что Достоевский познакомился с Гончаровым только в 1861 г. Источник ссылки, казалось бы, убедительный. Но вот та же А. Г. Достоевская позже, когда писала свои известные «Воспоминания» о Достоевском в 1911-1916 гг., уже не повторила этой версии. Повидимому, у нее не было основательных данных или стенографических записей о подобном высказывании самого Федора Михайловича, а на свою память она могла с большей достоверностью сослаться только за время совместной жизни, т.е. за период с 1866 г. Больше того, факты литературной жизни Гончарова и Достоевского говорят о невозможности того, чтобы они не познакомились до 1861 г.

Известно, что после окончания словесного отделения Московского Университета в 1834 г., после кратковременной службы секретарем симбирского губернатора, Н. А. Гончаров в мае 1835 г. приезжает в Петербург и подает прошение об определении на службу в Департамент внешней торговли Министерства финансов. Летом 1835 г. старший сослуживец Гончарова, В. А. Солоницын вводит Гончарова в дом Н. А. и Евг. П. Майковых. Тот факт, что Гончаров в Московском университете слушал лекции выдающихся профессоров — М. Каченовского, Н. Надеждина, С. Шевырева, И. Давыдова, М. Погодина, С. Ивашковского, И. Снегирева и др., — поднял высоко его престиж в глазах Майковых. Они всегда почитали питомцев Московского университета, где учился и занимавшийся воспитанием детей Майковых их друг, Владимир Андреевич Солоницын. Импонировало Майковым и отличное знание Гончаровым иностранных языков. Майковы пригласили Гончарова преподавать их сыновьям — Аполлону и Валерьяну — русскую литературу, эстетику и латинский язык. Гончаров способствовал эстетическому развитию Аполлона и Валерьяна Майковых и бесспорно очень повлиял на их литературные вкусы. Почти ежедневно Гончаров посещает литературный кружок Майковых и здесь познакомился со многими литераторами: В. Бенедиктовым, И. Панаевым, С. Дудышкиным, А. Заблоцким-Десятовским, А. Старчевским, М. и Е. Языковыми, Ю. Ефремовой и Е. Толстой. Кружок часто посещали И. Тургенев, Д. Григорович, Н. Некрасов, Я. Полонский, семья архитектора

А. Штакеншнейдера и, конечно, с 1846 г. Федор Михайлович Достоевский. Были вхожи в кружок Майковых и П. Анненков, К. Кавелин, А. Комаров, И. Маслов, В. Боткин, А. Герцен, Н. Огарев и многие другие литераторы. Было бы по меньшей мере странным и мало вероятным, чтобы Гончаров, посещавший почти каждый день Майковых, участвовавший во всех литературных собраниях, помещавший в рукописном журнале кружка «Подснежник» свои произведения и читавший там же отрывки из своего романа «Обыкновенная история», не познакомился с Достоевским.

В начале 1846 г. Некрасов берет рукопись первой части гончаровской «Обыкновенной истории» и передает ее В. Г. Белинскому. В марте того же года состоялось знакомство Гончарова со знаменитым критиком, в середине апреля несколько вечеров сряду Гончаров читает в кружке Белинского первую часть «Обыкновенной истории». И. Панаев писал о впечатлении, произведенном чтением Гончарова на Белинского: «Белинский все с более и более возрастающим участием и любопытством слушал чтение Гончарова и по временам привскакивал на своем стуле, с сверкающими глазами в тех местах, которые ему особенно понравились... Белинский был в восторге от нового таланта, выступавшего так блистательно...».

И. А. Гончаров становится членом кружка Белинского, куда входили, Ф. М. Достоевский, П. Анненков, К. Кавелин, И. Панаев, А. Комаров, М. Языков, И. Маслов, Н. Некрасов, И. Тургенев, Д. Григорович, посещали В. Боткин, А. Герцен, Н. Огарев и другие. Гончаров сам потом вспоминал, что он часто посещал Белинского и каждый раз при встрече с Белинским последний «осыпал меня горячими похвалами». Вскоре «Обыкновенная история» появилась в «Современнике» № 3, 47 г. А ведь это было и время наибольшего упоения славой и признания таланта Достоевского как самим Белинским, так и его окружением. Об этом Ф. М. Достоевский писал брату Михаилу в письме от 1 апреля 1846 г.: «Слава моя достигла до апогея. В 2 месяца обо мне, по моему счету, было говорено около 35 раз в различных изданиях. В иных хвала до небес... Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатавшийся нигде. Их ужасно хвалят. Первенство остается за мною покамест и на-

деюсь что навсегда. Вообще никогда так не закипала литература как теперь. Это к лучшему».

Ободренные успехом и признанием Белинского и его кружка, молодые Ф. Достоевский и И. Гончаров с головой бросились в водоворот литературной жизни. Обоим заказывают произведения для задуманного альманаха Белинского, «Левиафан», а позже для сборника Некрасова «Иллюстрированный альманах». Для Гончарова это был «медовый месяц» литературного успеха, а у Достоевского хотя уже и омраченный критикой «Двойника» но все же еще некончившийся дуэт с Белинским, который начался после ошеломляющего успеха «Бедных людей». Оба они — Гончаров и Достоевский были в это время завсегдатями кружка Белинского и *не могли* не встретиться и не познакомиться там, особенно при наличии взаимного интереса одного к другому как писателей, претендующих на первенство. Оба они были полны неограниченного самолюбия и честолюбия. Ф. Достоевский сам об этом пишет в вышеупомянутом письме брату Михаилу. А о Гончарове И. Панаев писал И. Тургеневу: «И. А. Гончаров сияет, читая свои корректуры, и дрожит от восторга, стараясь в то же время прикинуться равнодушным».

Встречаясь в кружке Белинского (кстати, могли они еще встретиться и в кружке Бекетовых) и в доме Майковых, Гончаров и Достоевский, однако, не сошлись характерами и воззрениями. Они были совершенно разными людьми. Сдержанный и рассудительный Гончаров, не в пример пламенному И. Тургеневу, обходил возникшие в кружке Белинского недоразумения с Достоевским, в подсмеивании над молодым писателем не участвовал, действий Некрасова и Тургенева не разделял. Ф. Достоевский не имел основания как-либо сетовать на него. Как художника Гончарова Достоевский всегда ставил высоко. Анна Григорьевна высказалась об этом в своих «Воспоминаниях»: «В знаменитом романисте Гончарове Федор Михайлович не только ценил его большой ум..., но высоко ставил его талант, искренне любил его и называл своим любимейшим писателем». (А. Г. Достоевская. Воспоминания. М., 1971, 401). О личности же Гончарова Достоевский был другого мнения. Ему не нравились черты немецкой акуратности и бесстрашие Гончарова, его сдержанность в литературных и социально-общественных спорах, навыки почтительного чиновника, вы-

работанные годами чиновничьей службы. В письме к А. Е. Врангелю из Семипалатинска от 9 ноября 1856 г. Достоевский вспоминал внешность Гончарова и дал такое описание ее: «Так вы познакомились с Гончаровым? Как он вам понравился? Джентльмен из «Соединенного Общества», где он членом, с душою чиновника, без идей, и с глазами вареной рыбы, которого Бог, будто на смех, одарил блестящим талантом». (Ф. Достоевский. Письма, т. I, стр. 199).

Таким запомнился Гончаров Достоевскому. Но помнил Достоевского и Гончаров. Едва Ф. Достоевский возвратился из Сибири в июле 1859 г. и определился на жительство в Твери, как А. Н. Плещеев извещает его письмом от 4 августа, что Некрасов и Панаев проявляют большое участие в судьбе Достоевского и выражают согласие послать ему денег в качестве гонорара за будущее произведение, не связывая его какими либо сроками. И тут же Плещеев сообщает, что и «...Гончаров осведомлялся о вас также. Он цензор и преподает наследнику русскую словесность». (Л. Гроссман. Жизнь и труды Достоевского, Академия, М.-Л., 1935, стр. 92).

Трудно приписать человеку, вхожему в царскую семью и занимающему пост цензора, такой интерес к незнакомому человеку, вчерашнему политическому ссыльному. Скорее поручение Гончарова, переданное Плещеевым, осведомляющее Достоевского о памяти о нем, свидетельствует о их давнем знакомстве и об искренней радости по поводу возвращения из забвения того, с кем он делил радости литературных успехов молодых лет.

Дальнейшим подтверждением того, что Гончаров и Достоевский были знакомы и до 1861 г. может явиться и тот широко известный факт, что оба они участвовали в любительском спектакле «Ревизор» Гоголя в пользу Литературного фонда, состоявшемся в зале Руадзе 14 апреля 1860 г. Известно, что Ф. М. Достоевский исполнял роль почтмейстера, а Гончаров вместе с И. Тургеневым, А. Краевским, А. Дружининым, Д. Григоровичем, Н. Некрасовым, А. Майковым, Ф. Кони и В. Курочкиным выступил в роли одного из купцов. По воспоминаниям Е. Ф. Юнге, исполняющие роли купцов «вышли на сцену в виде купцов с головами сахара и кулками».

В связи с Гончаровым и Достоевским следует отметить, что Л. Гроссман, сославшийся на заявление А. Г. Достоевской

относительно 1861 г., как года предполагаемого знакомства двух писателей, в своей книге 1935 г. «Жизнь и труды Достоевского» на стр. 107, в дальнейшем никогда не повторял этого. А такие знатоки творчества Достоевского, как А. Долинин, никогда и не соблазнялись гипотезой 1861 г. Последний, в комментариях к письмам Ф. Достоевского, еще в 1928 г. в первом томе допускал, что Федор Михайлович мог познакомиться впервые в семье Майковых либо в кружке Белинского, т.е. в начале второй половины сороковых годов. Ни одному исследователю литературных отношений сороковых годов 19 века не приходило в голову отодвинуть знакомство Гончарова и Достоевского на пятнадцать лет позже только в силу случайной обмолвки Анны Григорьевны, от которой она и сама позже повидимому отказалась, во всяком случае не повторяла ее, считая очевидно ошибкой своей памяти.

Не приходится удивляться ошибке памяти о лично не пережитом и не виденном. Ведь вот участники обеда у А. А. Комарова осенью 1848 г. уже через несколько лет вспоминали о нем по-разному. А. Я. Панаева (Головачева) в своих «Воспоминаниях» относит встречу Гоголя с писателями к 1847 г. в то время, когда известно, что Гоголя в Петербурге в том году не было. При этом встреча якобы состоялась в кабинете Панаева с участием Гончарова, Григоровича, Кронеберга, Боткина и Белинского. По словам же А. С. Суворина (см. «Литературное наследство», № 49-50, М.-Л., 1946, стр. 204), Некрасов рассказывал о той же встрече с Гоголем, на которой якобы присутствовали сам Белинский, Панаев и Гончаров. «Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников; у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи «К родине». Выслушал и спросил: «Что же вы дальше будете писать?» — «Что Бог на душу положит». — «Гм», — и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об «Обыкновенной истории», — вспоминал Некрасов.

И. И. Панаев в «Литературных воспоминаниях» считал вечер у А. Комарова состоявшимся «года два или три после смерти Белинского», что не соответствует действительности ибо теперь доподлинно известно, что Гоголь гостил в Петербурге осенью во второй половине сентября и в начале октября 1848 г. Белинский же умер 28 мая того же 1848 г. и тогда же Достоевский высказал свою печаль С. Д. Яновскому сло-

вами: «Батенька, великое горе свершилось — Белинский умер». В три часа ночи того же дня с Достоевским случился сильный припадок падучей.

И. Панаев писал свои воспоминания в 1860-1861 гг., через много лет после описываемых событий литературной жизни, и вполне понятно, что в них имеются неточности в хронологии. Впервые воспоминания были опубликованы в «Современнике» в 1861 г. Отдельным изданием вышли в 1876 г. Наиболее полное и выверенное по рукописи издание вышло в 1950 г. под ред. И. Ямпольского. На сегодняшний день эти воспоминания являются самыми достоверными сведениями о том вечере у А. Комарова, где состоялась встреча Ф. Достоевского с Н. Гоголем. Панаев уточнил список присутствовавших приглашенных писателей, назвав «между прочими» Гончарова, Григоровича, Некрасова, Дружинина и себя. Не был назван Ф. Достоевский и даже П. Анненков, который оставил о своем присутствии на том обеде свидетельство в своих «Литературных воспоминаниях», но ошибочно датирует его 1849 годом: «Он (Гоголь — В. С.) также продолжал думать, что по отсутствию выдержки в русских характерах преследование печати и жизни не может долго длиться, и советовал литераторам и труженикам всякого рода пользоваться этим временем для тихого приготовления серьезных работ ко времени облегчения. Эту же мысль развивал он при мне и в 1849 году на вечере у Александра Комарова». (П. Анненков. «Литературные воспоминания», ГИХЛ, М., 1960, 545).

Иван Панаев назвал главных, с его точки зрения, участников, оставив возможность дополнить список всех участников оговоркой: «между прочими». Почему Достоевский не удостоился быть перечисленным здесь и попасть в число избранных Гоголем для индивидуальной беседы в отдельной комнате станет ясным, если мы обратимся к самому Гоголю и выясним его отношение к молодому начинающему Достоевскому. Начнем с более отдаленного. Гоголь уже давно был знаком с Вильегорскими. Еще в 1839 г. он ухаживал в Риме за умирающим графом Иосифом Михайловичем Вильегорским. В 1843 г. Гоголь живет у Вильегорских и проводит время с Анной Михайловной, дочерью Михаила Юрьевича и Луизы Карловны Вильегорских. В 1844 г. Гоголь в Ницце и на Морских купаньях в Остенде также с Вильегорскими. За ними он следует

в Париж в 1845 г. Молодая, блистательная, но в то же время задушевная в беседах с старшим на 14 лет Гоголем, Анна Михайловна Вильгорская всколыхнула сердце закоренелого холостяка и вызвала в нем чувство увлечения, а затем и любви. С нею Гоголь не только часто виделся, но вел переписку. Анна Михайловна была польщена вниманием знаменитого писателя и охотно делилась с ним впечатлениями о прочитанных книгах. О серьезности их отношений, особенно со стороны Гоголя, свидетельствует его предложение, сделанное им через Веневитиновых. Правда, из-за различия социального положения, предложение мелкопоместного дворянина Гоголя весной 1850 г. было отклонено графиней Вильгорской, и это принесло стареющему писателю много новых огорчений. Но нам теперь важна сама переписка Гоголя с графиней Анной Михайловной. Ее мнение о новом писателе Достоевском и высылка текста «Бедных людей» из «Петербургского сборника» позволили Гоголю заблаговременно познакомиться с восходящей литературной звездой. Письмо от 18 марта 1846 г. и посылка произведения Достоевского графиней Вильгорской заставило Гоголя заняться чтением «Бедных людей» и высказать о них свое мнение. 14 мая 1846 г. из Генуи Гоголь писал Анне Михайловне:

«Бедные люди» я только начал, прочел страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и замашку речи нового писателя... В авторе «Бедных людей» виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато. Впрочем, я это говорю еще не прочитавши, а только перелистнувши. У меня так мало теперь читать из современного русского, что я читаю понемногу, в виде лакомства или когда очень придет трудно и дух в таком болезненно-черством состоянии как мое болезненно тяжелеющее на мне тело». (Н. В. Гоголь. Соб. Сочин. в 7 томах. Том 7, Избранные письма. Изд. Худ. Лит., М., 1967, стр. 298).

Правда, до Вильгорской, Гоголю о Достоевском сообщали в своих письмах еще раньше Языков и Плетнев, как о наделавшей шум литературной новинке. Но, конечно, услышать ту же новость из уст любимой и уважаемой женщины значило

значительно больше и не могло не вызвать живого отклика. Таким образом, Гоголю имя Достоевского уже было известно, когда осенью 1848 г. А. А. Комаров обратился к нему с приглашением на обед-встречу с молодыми писателями. К тому времени, кроме Достоевского, Гоголю могли быть хорошо известны И. А. Гончаров, как автор произведений «Обыкновенная история» (1847) и «Иван Савич Поджабрин» (1848), Д. В. Григорович, автор повестей «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1848), Н. А. Некрасов с его стихотворениями «В дороге», «Тройка», «Псовая охота», «Еду ли ночью» и др., А. В. Дружинин, автор нашумевшей «Полиньки Сакс» (1847). Намереваясь познакомиться с новыми литераторами, Гоголь, однако, пожелал ограничиться приглашением только избранных, а среди последних удостоил вниманием только Гончарова, Григоровича, Некрасова, Дружинина и Ив. Панаева. Почему Достоевский оказался в числе приглашенных? Письмо Гоголя Вильегорской содержит ключ к разгадке: Гоголь считал автора «Бедных людей» «талантом с душою» высоких качеств, способным делать предмет своего изображения темы, достойные внимания художника-гуманиста. Гоголь пожелал присутствия Ф. Достоевского на вечере у Комарова. Но он не стал настаивать на выделении его имени для участия в отдельной аудиенции с особо достойными. Для этого, по мнению Гоголя, Достоевский еще был слишком молод. В нем якобы было еще мало «сосредоточенности в себе», которую автор «Выбранных мест из переписки с друзьями» в эти годы особенно ценил и требовал от каждого мыслителя и писателя. Наличие же отмеченной им в письме Вильегорской «говорливости», недостаток «сжатости», а оттого и «живости» и силы выразительности в новом писателе не способствовало высоте гоголевского мнения об этом начинающем литераторе. Но желание Гоголя видеть среди приглашенных и Достоевского повидимому решило дело, и последний был приглашен. И хотя в воспоминаниях И. Панаева Ф. Достоевский прямо не назван, но зато и не исключен из возможности участия на вечере «между прочими». Произведения же Ф. Достоевского, и в особенности «Село Степанчиково», дают богатейший материал для положительного ответа на вопрос — встречался ли Достоевский с Гоголем?

Первым, увидевшим в образе Фомы Опискина в «Селе Сте-

панчикове» Гоголя, был выдающийся литературовед Юрий Тынянов. В работе, опубликованной издательством «Опояз» в 1921 г. под названием «Достоевский и Гоголь: К теории пародии» и вошедшей позже в книгу «Архаисты и новаторы» (1929), Тынянов на основании тщательного формального анализа и сравнения стиля гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями» с особенностями речи Фомы Опискина из «Села Степанчикова», убедительно доказал, что, создавая Опискина, Достоевский имел ввиду Гоголя в наиболее скорбный период его жизни. Поведение Фомы Опискина в доме Ростанева и даже внешний облик его бесспорно напоминают характер, манеру поведения и мысли Гоголя в семье Аксаковых, где писатель останавливался, когда приезжал в Москву. С. Т. Аксаков оставил об этом неопровержимое свидетельство в своих чудесных воспоминаниях «История моего знакомства с Гоголем». Многие вносят в портрет Гоголя последних лет и И. И. Панаев в его «Литературных воспоминаниях». Вот что он пишет о Гоголе у Аксаковых: «Константин Аксаков, видевший в нем русского Гомера, внушил к нему энтузиазм во всем семействе. Для Аксакова-отца сочинения Гоголя были новым словом... Гоголь говорил мало, вяло и будто нехотя. Он казался задумчив и грустен. Он не мог не видеть поклонения и благоговения, окружающего его, и принимал все это как должное... Перед его прибором за обедом стояло не простое, а розовое стекло; с него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые им макароны для пробы, которые он не совсем одобрил и стал сам мешать и посыпать сыром. После обеда он развалился на диване в кабинете Сергея Тимофеевича и через несколько минут стал опускать голову и закрывать глаза — в самом ли деле начинал дремать или притворялся дремлющим... В комнате мгновенно все смолкло... Щепкин, Аксаковы и я вышли на цыпочках. Константин Аксаков, едва переводя дыхание, ходил кругом кабинета, как часовой, и при чьем-нибудь малейшем движении или слове повторял шопотом и махая руками:

— Тсс! тсс! Николай Васильевич засыпает!...

Об обещанном чтении Гоголь перед обедом не говорил ни слова; спросить его, сдержит ли он свое обещание, никто не решался... Покуда Гоголь дремал, у всех только был в голове один вопрос: прочтет ли он что-нибудь и что прочтет?... У

всех бились сердца, как они всегда бьются в ожидании необыкновенного события.

Наконец Гоголь зевнул громко.

Константин Аксаков при этом заглянул в щелку двери и, видя, что он открыл глаза, вошел в кабинет. Мы все последовали за ним.

— Кажется, я вздремнул немного? — спросил Гоголь, зевая и посматривая на нас...

Дамы, узнав, что он проснулся, вызывали Константина Аксакова и шопотом спрашивали — будет ли чтение? Константин Аксаков пожимал плечами и говорил, что ничего не известно.

Все томились от этой неизвестности, и Сергей Тимофеевич первый решился вывести всех из такого неприятного положения.

— А вы, кажется, Николай Васильевич, дали нам обещание?... Вы не забыли его? — спросил он осторожно...

Гоголя подернуло несколько.

— Какое обещание?... Ах, да! Но я сегодня, право, не имею расположения к чтению и буду читать дурно, вы меня лучше уж избавьте от этого...

При этих словах мы все приуныли».

В такое же уныние Гоголь поверг и молодых литераторов, приглашенных на обед у А. А. Комарова для встречи с ним, но не удостоившихся быть выделенными в пятерку для отдельной аудиенции с Гоголем в отдельной комнате, томившихся в гостиной в ожидании выхода знаменитого писателя к ним, перед тем как сесть за обеденный стол.

И такому же испытанию пыткой томительного ожидания подвергает Фома Фомич Опискин всех членов семьи полковника Ростанева во время утреннего чая, пока он «своею собственной особою не предстал перед озадаченной публикой». «Все притихло так, что можно было расслышать пролетевшую муху — описывает Достоевский появление Фомы. — Генеральша присмирела, как агнец. Всё подобострастие этой бедной идиотки перед Фомой Фомичом выступило теперь наружу. Она не нагляделась на свое нещечко, впиалась в него глазами. Девушка Перепелицына, оскабляясь, потирала свои ручки, а бедная Прасковья Ильинична заметно дрожала от страха. Дядя не-

медленно захопотал. — Чаю, чаю, сестрица! Послаще только, сестрица; Фома Фомич после сна любит чай послаще».

Литературная полемика Достоевского с романтизмом в повести «Село Степанчиково» принимает многообразные формы. Это и пародия на одного из главнейших представителей русского романтизма в повести 19 века, Н. В. Гоголя. Редактор «Отечественных записок», в которых «Село Степанчиково» было впервые напечатано в ноябрьской и декабрьской книгах за 1859 г., А. А. Краевский первый обратил внимание на психологическое сходство Фомы Опискина с Гоголем позднейшего периода. «Он напомнил ему Н. В. Гоголя в грустную эпоху его жизни».

Достоевский в «Селе Степанчикове» пародируя Гоголя — проповедника-моралиста, наносит разительные удары по романтической прозе Марлинского и Полевого, при этом часто прямо называет объект своего разящего смеха. За образами неумеренной психологической экзальтации, принявшей у Гоголя трагикомический характер в «Выбранных местах из переписки с друзьями», в повести еще выведены образы, направленные против всяческих форм наивного романтизма, как философии противоречащей реальным формам жизни.

«— Фу ты, Боже мой, какой романтизм! — вскричал Мизинчиков, глядя на меня с неподдельным удивлением. Впрочем, тут даже и не романтизм, а вы, просто кажется, не понимаете, в чем дело». Это из разговора с Сергеем Александровичем. Мизинчиков изображает себя «романтическим, влюбленным и веселым» мужем Татьяны Ивановны, зарясь на ее сто тысяч ассигнациями. В повести высмеивается непрерывная смена фамилии на более романтическую типа Танцев или Эссбукетов, набитым дураком Видоплясовым. Развенчивается романтизм побега с женихом Татьяны Ивановны.

Интересно, что взбалмошность и взвинченность характера Татьяны Ивановны Достоевский объясняет в значительной степени влиянием романтической литературы. Она — продукт распяемого романтическими романами воображения: это — сатира и пародия на весь романтический воображаемый мир литературных вымыслов. Этой сатирой на романтизм в литературе Достоевский иронически метил и в образ первого положительно-прекрасного человека, героя повести, полковника Ростанева с его прекраснодушием и безграничной верой в по-

ложительные свойства, заложенные в каждом человеке. Его доброта и готовность «решительно все отдать по первому спросу и поделиться чуть не последней рубашкой с первым желающим», способствовали водворению ханжи Фомы Опискина в его доме и оказались несостоятельными предотвратить диктаторство Опискина. Попытки объяснять поступки Фомы его прошлой униженностью и оскорбленностью терпят полное фиаско и у рассказчика и у самого Ростанева. Каждое оправдание со стороны последнего выглядит по меньшей мере романтическим прекраснодушием. Достоевский ведет читателя глубже, подводя к самым корням образа Фомы — к его «подполью», душевной раздвоенности. Двойственность природы Фомы Фомича, по Достоевскому, отражает определенные черты русского человека 19 века. «Подполье, подполье, *поэт подполья*, фельетонисты повторяли это как нечто унижительное для меня. Дурачки, это моя слава, ибо тут правда. Это то самое подполье, которое заставило Гоголя в торжественном завещании говорить о последней повести, которая *выпелась* из души его и которой совсем и не оказалось в действительности. Ведь, может быть, начиная свое завещание, он и не знал, что напишет про последнюю повесть. Что ж это за сила, которая заставляет даже честного и серьезного человека так врать и паясничать, да еще в своем завещании. (Сила эта русская, в Европе люди более цельные, у нас мечтатели и подлецы). Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. *«Нет ничего святого»*. Недоконченные люди (вследствие Петровской реформы вообще) вроде *инженера в «Бесах»*. («Литературное наследство», том 77, стр. 343).

Таким образом, Достоевский в середине семидесятых годов, уже в период работы над «Подростком», дал ключ к своему Фоме и прямо указывает на «подполье Гоголя», выразившееся так ярко в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Постоянное и ироническое отношение Достоевского к этому произведению, нашедшее и более позднее подтверждение в письмах писателя, в «Бесах», в черновых записях к «Подростку» и в «Дневнике писателя», а в молодости в чтении известного письма Белинского дважды на собраниях петрашевцев, совпавшее в период работы над «Селом Степанчиковым» с перечитыванием «Выбранных мест» Гоголя, нашло свое наиболее яркое выражение в создании Фомы Опискина. Личные во-

споминания о Гоголе, виденном на обеде у А. Комарова и о неблагоприятных впечатлениях, произведенных последним на молодого писателя, придали создаваемому образу столько конкретно-жизненных черт, что не приходится сомневаться в состоявшейся встрече.

Ниже дается сравнительная сводка цитат, позволяющая текстуально установить общность образа Фомы Опискина и личности Гоголя последних лет. Цитаты из «Села Степанчиково» приводятся по «Полному собранию сочинений в тридцати томах, том 3-й, издат. «Наука» Л-д, 1972.

## ДОСТОЕВСКИЙ:

«Тридцать тысяч человек будут собираться на мои лекции ежемесячно».

«...ему, Фоме, предстоит величайший подвиг...».

«...написать одно глубокомысленнейшее сочинение в душевспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит Россия».

«...Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье отечества».

«Фома Фомич всегда разговаривал в таком тоне с «умным русским мужичком».

## ГОГОЛЬ:

Намек на выступления Гоголя в 1834 г. в качестве профессора и переключка с «тридцатью пятью тысячами курьеров» в «Ревизоре».

Намек на слова Гоголя в письме С. Т. Аксакову от 13 марта 1841 г.: «Труд мой велик, мой подвиг спасителен. Я умер теперь для всего мелочного...».

Намек на задуманную Гоголем «Прощальную повесть», о которой он говорил в «Завещании», как о «лучшем своем сокровище».

Гоголь в предисловии к «Выбранным местам» писал: «Я же у гроба Господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого».

Пародия на стиль «Выбранных мест» Гоголя. В письме «Русский помещик» рекомендует обращаться к нерадивому мужику со словами: «Ах ты, невымытое рыло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному!»

## ДОСТОЕВСКИЙ:

«Только в глупой светской башке могла зародиться потребность таких бессмысленных приличий».

«...какие песни поет русский народ...».

«Пусть изобразят они мне мужика... хоть даже в лаптях... но преисполненного добродетелями... Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душевной избе... голодного, но довольного...».

«Вы грубы. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание».

«Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не напедаю...».

## ГОГОЛЬ:

В «Выбранных местах» в третьем письме говорится: «Только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль».

Пародия на мысли Гоголя о русских песнях во втором письме.

Гоголь писал в статье «Предметы для лирического поэта в нынешнее время»: «Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников... Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его... Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех в глазах, и каждому из нас захотелось бы самому быть бедным».

Гоголь писал в статье «Близорукому приятелю» в «Выбранных местах»: «Ты горд, говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заранее. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России и что с этих только пор следует серьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы ровно ничего не знал и всему от него хотел поучиться».

«Я, как бы ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходиллся поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других...».

## ДОСТОЕВСКИЙ:

«...рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться...».

«Вы помещик; вы должны блистать, как бриллиант, в своих поместьях... Не думайте, чтоб отдых и сладострастие были предназначением помещичьего звания... Не отдых, а забота, и забота перед Богом, царем и отечеством! Трудиться, трудиться обязан помещик, и трудиться, как последний из крестьян его!»

«Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент...».

«Несчастье есть, может быть, мать добродетели. Это сказал, кажется, Гоголь, писатель легкомысленный, но у которого бывают иногда зернистые мысли.»

## ГОГОЛЬ:

Пародия на названия сочинений типа «Русский помещик» в «Выбранных местах» Гоголя.

В «Выбранных местах» Гоголь поучает: «Возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем и законном смысле... взыщет с тебя Бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить Богу на своем месте, а не на чужом...»

«...Заведи, чтобы при начале всякого общего дела ...ты ...вместе с ними вышел бы на работу, а в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удалца и укоряя тут же ленивца... И где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело все живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе... Возьми сам в руки топор или косу...».

В «Завещании» Гоголя: «Завещаю не ставить надо мной никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей непоколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя».

В статье «О помощи бедным» в «Выбранных местах» Гоголь писал: «...несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к

## ДОСТОЕВСКИЙ:

«Фалалея ли я полюблю... похоже на Фалалея! ...Дайте, дайте мне человека, чтобы я мог любить его!»

«...зернистые мысли...».

«...Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, и не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете».

## ГОГОЛЬ:

пониманию предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении».

«Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного!»

...все зернисто, крупно, как сам жемчуг...

«Может быть, эти ...страдания, которые ниспосылаются тебе, ниспосылаются именно для того, чтобы произвести в тебе тот сердечный вопль... Может быть именно этот душевный вопль должен быть горнилом твоей поэзии... Все тут сердечный вопль и непритворное восторгнивание к Богу».

*Владимир Седуро*

## ИЗ ЦИКЛА «ВОРОБЬИНЫЕ ПЕСНИ»



Он ходит по Риму,  
А я — по Москве.  
Он строит на камне,  
А я — на песке.  
И все мое — канет,  
И все мое — мимо,  
И все мое держится  
На волоске.  
Но даже кленовый листок на лету, —  
И тот оставляет воде — отраженье,  
И может напомнить звезде — о движенье  
С небесных высот  
В никуда,  
В пустоту.  
И если сорвется,  
Как лист, полетит  
Вся жизнь моя прочь —  
В неизбежность, в забвенье,  
Дай Бог мне не гнаться  
За собственной тенью,  
За всем, что попутно  
Полет воплотит.



Хочет Даниил-Заточник,  
Чтобы стали дни короче,  
Чтобы день прошел скорей  
От решеток до дверей...  
Почему же я тоскую,  
Умышляю наперед,  
Словно день прошел впустую.  
А ведь он еще идет!  
День, приговоренный к казни,  
Оцененный ни во что,  
Отчего же он не праздник,  
Где в нем солнце не взошло?  
Вон оно, проходит мимо  
Солнце лета моего.  
Ветви сосен черным нимбом  
Сомкнуты вокруг него.  
А кругом — морской, небесный,  
Луговой, лесной простор.  
Меж собою им не тесно  
С тех времен и до сих пор.  
Отчего же эта жажда  
Видеть завтра поскорей,  
Словно день отмерен каждый  
От решеток до дверей?

*Юрий Айхенвальд*

# БАТЮШКОВ И МАНДЕЛЬШТАМ

## ПЕВУЧИЕ ЯМБЫ

*Ни у кого — этих звуков изгибы,  
И никогда — этот говор валов...*

Если поэтическая речь ничего не имеет общего с музыкальной, тогда и между Батюшковым и Мандельштамом нет ничего общего. И даже если о музыкальности стиха, в порядке метафоры, как это обычно делается, и говорить, не учитывая полностью музыкального или музыкалоподобного естества поэзии, то и тогда соприкосновения этих двух поэтов — на расстоянии века и поверх всего написанного стихами в этом веке — невозможно будет полностью понять.

Конечно, музыка и музыка стиха — или (менее заметная) музыка прозы — две вещи разные. Музыка поэтической речи не знает чистых тонов и точных интервалов между ними. Ее материал не тона, а шорохи и звоны, одобренные языком, входящие в его систему и служащие нам для обычной нашей речи, а также внесистемные интонации и ритмические фигуры, подчиненные, в стихах, другой системе, метру, а в прозе и «свободном» стихе менее авторитарным ритмическим закономерностям. Ритм — явление первичное: до-музыкальное, до-поэтическое, до-речевое; системе языка он чужд; но ни музыки, ни поэзии, ни простой человеческой речи без него себе представить невозможно. Его осознанное наличие, его организованность поэзию с музыкой в первую очередь и роднит, как и наличие неразрывно связанных с ним, интонацией порождаемых мелодий, а во вторую очередь и внеязыковая (не условная, а «натуральная») осмысленность некоторых звучаний или их повторов, которые могут осмысляться, при нейтральности звука, одной своей повторностью. Родство не устраняет различий. Музыка, хотя бы и вокальная, может обходиться без слова; песня, ария, романс могут быть спеты скрипкой или голосом без слов; дальше всего она отошла от слова в европейской (единственной в своем роде) полифонической системе.

Поэтическая речь без слова не может обойтись: и матерьял ее — словесный, речевой; и ее смысл нуждается в словесных смыслах; при этой опоре и не понадобилось ей создавать столь грандиозных — и самодовлеющих — систем, даже и в наиболее системном из ее аппаратов, в метрике. Но и различия не устраняют родства. Не может она и без музыки обойтись, без своей особой музыки, которая, больше, чем что-либо другое, и превращает речь в поэтическую речь, делая ее смысл подобным смыслу музыки: непересказываемым, несказанным.

«Не положишь ты на голос / С черной мыслью белый волос»; так закончил Баратынский стихотворение, которым он их, однако, на голос положил. Можно заменить речевой этот голос другим, собственно музыкальным; но надобности в этом нет; другого, если мы любим стихи, позволено нам и опасаться. Бородин, с редкостным чувством слова и стиха, положил на второй голос «Для берегов отчизны дальней», но неотъемлем от этих чувств и слов все же лишь голос, на который положены были они Пушкиным. Голос этот и дает стихотворению тот смысл, который «своими словами» передать нельзя, и которого нет или не было бы даже в этих пушкинских словах, если бы можно было «очистить» их от звучания стиха и от их собственного звука. Но тут, как и вообще, звучание стиха в целом, включая его интонационную мелодию, еще более музыкалоподобно, чем голоса отдельных слов или фонем, чем та поэзии свойственная оценка звука, которая фонемам дает смысл, а словесный смысл превращает в звуко-смысл. Существуют стихотворные (да и прозаические, хоть и слабее выраженные) мелодии или повторяющиеся мелодические (а вместе с тем конечно и ритмические) фигуры почти столь же самодовлеющие порой, как мелодии или «темы» музыки. Они обладают собственным, достаточно дифференцированным, хоть и несказанным смыслом, от которого требуется, в некоторых видах лирики, лишь соответствие общему звуко-смыслу стихотворения, — соответствие столь общее, что оно может свестись к простому отсутствию противоречия между ними. Такие фигуры отнюдь не везде налицо, но встречаются они не в одной только — как обычно думают — песенной (напевной), в отличие от говорной (речитативной), лирике, но где бы они ни появились, весь характер стихотворения и весь его звуко-смысл ими оказывается определен, на этот именно голос их и положен.

Мандельштам голос этого рода и с ним связанную совсем особенную певучесть в стихах Батюшкова как раз и уловил, — музыку очень родственную тому напеву, что и в нем самом издавна возникал, его стихи порождал, и как раз те его стихи или то в его стихах, что всего менее похоже на стихи его современников, да и всех прочих русских поэтов нашего века.



Сам поэт весьма отчетливо подал нам весть о том, что его у Батюшкова пленило и чему он почувствовал себя родней, двумя стихами своего стихотворения «Батюшков» 32-го года, приведенными мною в эпиграфе этой статьи. Первый говорит об «изгибах» не чего иного, как звуков, а второй цитатой без кавычек («говор валов») поясняет, в каком именно батюшковском стихотворении, или в каких стихотворениях, с ним сходных, этих звуков (голосов, мелодических фигур) следует искать. Нужно, однако, уметь вслушиваться в такие голоса, иначе их и не найдешь; а то и не поймешь, о чем, собственно, поэт этими двумя строками нас оповестил. Это очевидно и случилось с главным нынешним истолкователем и радетелем Батюшкова Н. В. Фридманом.

В своей книге «Поэзия Батюшкова» (М. 1971, стр. 371) он пишет: «Очень близким было творчество Батюшкова Осипу Мандельштаму», но *чем* оно было ему близким не говорит, вовсе себя и не спрашивает об этом. Отмечает затем, что Мандельштам посвятил «личности и поэзии Батюшкова два стихотворения», уравнивая этим готовым оборотом две несоизмеримые величины. Шестистишие 12-го года «Нет не луна...» об отношении его автора к «личности и поэзии Батюшкова» ровно ничего не говорит,\* тогда как стихотворение 32-го года «Словно гуляка с волшебною тростью / Батюшков нежный со мною живет...» близость действительно утверждает, но сколько-ни-

---

\* «И Батюшкова мне противна спесь / 'Который час?' его спросили здесь / И он ответил любопытным: 'вечность'». Тут, собственно, сам Батюшков, хотя бы и безумный, не причем. Об отношении Мандельштама к нему и к его поэзии ничего не сказано. Замечу, что и «мне противна спесь» сказано не под присягой: можно было бы и «забавна», «приятна», «отраднa». В этом отличие, одно из отличий, Мандельштама от Батюшкова. Тут сказывается поздний век.

будь внятно ее характеризует лишь теми двумя стихами, которых Фридман не приводит и о которых он молчит. В примечании 184 он говорит, что в черновиках «Разговора о Данте» «есть тонкие мысли о поэзии Батюшкова» и приводит одну из них: «Батюшков — записная книжка нерожденного Пушкина», но не другую, там же, более оригинальную («Батюшкова погиб оттого, что вкусил от тассовых чар, не имея к ним дантовой прививки»), которая могла бы оказаться «тоньше» первой, если была бы обоснована, да и просто более понятна. Не приводит и конца статьи «Буря и натиск», где о «Сестре моей жизни» Пастернака сказано: «Со времени Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой гармонии» и где в последних строчках снова упоминается Батюшков.

Беда, однако, не в этих упущеньях, касающихся только мнений Мандельштама о Батюшкове; беда в том, что Фридман полную проявляет беспомощность там, где он о поэтических взаимоотношениях этих двух поэтов что-то пытается сказать. «Тавриду Мандельштам вслед за Батюшковым сравнивает с древней Элладой». Бог ты мой! Разве нужен для этого Батюшков? «В стихотворении Мандельштама 'Я изучил науку расставанья' отражается батюшковская 'Элегия из Тибулла', а в стихотворении 'Морожено! Солнце...' батюшковская 'Беседка муз'». На самом деле, в «Беседке муз» упоминаются акации («блистающие»), как и («пыльные») у Мандельштама, вот и все; а в «Элегии из Тибулла» упоминается Делия, разлука с Делией, которая очевидно от своего Тибулла унеслась к другому поэту в двадцатый век: «Смотри, навстречу, словно пух лебяжий, / Уже босая Делия летит!» Этак можно установить близость чего угодно с чем угодно. Не помогает Фридману и прочитанное — без критики — у других авторов, да и рассеянно он их читает. Ссылается на Тынянова («Архаисты и новаторы» стр. 569), который «сблизил лирику Мандельштама с лирикой Батюшкова по линии 'скупости' и в то же время весомости поэтического слова». Тынянов действительно о скупости говорит (неизвестно на каком основании: ее у Батюшкова нет), говорит (не очень вразумительно) и о том, что в крайнем случае можно назвать весомостью, и что у Мандельштама без сомнения есть; но на следующей странице говорит он нечто несравненно более существенное, и этого Фридман не прочел, или, во всяком случае, не учел. Мандельштам, пишет Тынянов,

«принес из девятнадцатого века свой музыкальный стих, — мелодия его стиха почти батюшковская:

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,  
С певучим именем вмешался,  
Но все растаяло, и только слабый звук  
В туманной памяти остался».

Прекрасно выбрал Тынянов пример (первая строфа чудесно-певучего стихотворения 1920-го года), и беглым своим замечанием безукоризненно попал в точку, — в ту самую точку, о которой Фридман так никакого понятия и не возымел. Читал он несомненно и книгу Виноградова «Стиль Пушкина», где (стр. 184) о стихотворении «Муза» (1821-го года) сказано: «Здесь к Батюшкову восходит как сельско-античное образно-экспрессивное снаряжение стихотворения, так и его мелодико-синтаксический рисунок». Об этих своих стихах Пушкин сказал, что их любит, потому что они «отзываются стихами Батюшкова». Фридман (стр. 320) и сам приводит эти пушкинские слова (из «Альбомных памятей» Иванчина-Писарева), но «мелодико-синтаксические рисунки» в стихах — китайская, для него, грамота. Таким исследователям, как он, прилежным (прокомментировал он Батюшкова в своем издании его стихов с похвальным все таки стараньем), но раз навсегда испуганным насчет всего того, что зря называют формализмом, невозможно понять, да и не полагается понимать, как это стихи 1920-го года и стихи, написанные за сто лет до того, в своей музыке одинаково могут «восходить» к стихам зачинателя этой музыки. К его стихам; но ведь есть у него и другой музыки стихи. К самым памятным, лучшим, самым для него характерным. К стихам того же типа, как знаменитое стихотворение, на которое, думается мне, и сослался Мандельштам цитатою в своих стихах.



Есть наслаждение и в дикости лесов,  
Есть радость на приморском берегу,  
И есть гармония в сем говоре валов,  
Дробящихся в пустынном беге.  
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,  
Для сердца ты всего дороже!

С тобой, владычица, привык я забывать  
 И то, чем был, как был моложе,  
 И то, чем ныне стал под холодом годов.  
 Тобою в чувствах оживаю:  
 Их выразить душа не знает стройных слов  
 И как молчать о них — не знаю.

Стихотворение это было написано летом 1819 года в Италии, но в печати появилось лишь девять лет спустя, когда автор его уже безвозвратно охвачен был безумием; вошло в альманах «Северные цветы» на 1828 год. Пушкин так им восхищался, что списал его (под заглавием «Элегия»), и кроме того вписал в свой экземпляр батюшковских «Опытов в стихах и прозе». Восхищало оно поэтов и позже. Майкову, когда оно появилось в печати было семь лет, но стариком (1887) он писал племяннику Батюшкова, что знает это стихотворение «наизусть от начала до конца» и причисляет его к тем вещам, которые «имели главное и решающее влияние на образование моего слуха и стиха» (приведено Фридманом в его издании стихотворений Батюшкова, «Библиотека поэта», 1964, стр. 319). Чем же оно Пушкину пришлось по душе? Чем оно слух Майкова воспитывало (и, к сожалению, недовоспитало)? Почему именно его безымянно назвал Мандельштам, упомянув о «говоре валов»? (Есть «говор валов» у Батюшкова уже и в «Тени друга», но в позднем стихотворении он победительней звучит; считаю, что этот именно звук был услышан Мандельштамом.).

Можно искать ответа на эти вопросы, начав со сравнения стихов этих с их оригиналом, так как они — перевод из «Чайльд-Гарольда» (строфа 178 четвертой песни). Начал Батюшков переводить и следующую строфу, но эти четыре стиха в «Северные цветы» не попали. Английского языка он не знал, пользовался итальянским или французским переводом, или подстрочником, кем-нибудь для него сделанным. О строфе и стихе байроновской поэмы понятие вероятно имел, но не счел нужным в точности их воспроизводить. Перевод его довольно близок к подлиннику, — но по смыслу, отнюдь не по звукосмыслу.

There is a pleasure in the pathless woods,  
 There is a rapture on the lonely shore,  
 There is society where none intrudes,

By the deep sea, and music in its roar;  
I love not Man the less, but Nature more,  
From these our interviews, in which I steal  
From all I may be, or have been before,  
To mingle with the Universe, and feel,  
What I can ne'er express, yet cannot all conceal.

Этой строфой начинается в последней песне поэмы лирическое отступление, довольно длинное, и которое приводится порою в антологиях, в одной оно даже озаглавлено «Океан». Если бы, однако, строфа эта совершенно чайльд-гарольдовой и байроновской осталась бы по-русски, она бы — можно побиться об заклад — такого восторга у величайшего и у других наших поэтов не вызвала. Пленила она их без сомнения своим лиризмом и музыкой этого лиризма. В этом-то Батюшков от Байрона и отступил. У Байрона строфа состоит из восьми пятистопных ямбических строк, за которыми следует одна шестистопная, формулирующая чаще всего заключение или вывод, как последние два стиха октавы или онегинской строфы. Лирическое движение в этом зачине «Океана» не отсутствует; оно поддерживается единоначалием и параллелизмом в первых трех строках, а также, после точки с запятой, развитием, «разворотом» длинной фразы. Но мелодических фигур особой выразительности и напевности при этом не возникает. Голос равномерно поднимается к середине стиха (слабой цезурной паузе) и падает к рифме в первых семи стихах; ассиметрично делает то же самое в седьмой, и возвращается к симметрии, уточняя и подчеркивая ее, в последнем, более отчетливым и более длинным подъемом и спуском голоса. Интонациями все это порождено скорей взволнованного рассказа, чем ярко выраженного лирического волнения.

У Батюшкова — не то. Двенадцать строк, а не девять. Строфа, с ее удлинением последнего стиха, не сохранена. Вместо пятистопного ямба, регулярное чередование шестистопного с четырехстопным, — как в стихотворении Мандельштама, начало которого привел Тынянов, но которое Мандельштам печатал, как и все свои неравностопные стихи, без отодвиганья вправо более коротких строк. Нынешние его издатели следуют его воле; этого я конечно не ставлю им в упрек; но почему он отступил от вполне оправданной традиции для меня неясно:

сохраняя музыку, зачем было упразднить типографский на нее намек? Музыка этого и других неравномерно-ямбических его стихотворений та же самая, в основных чертах (как мы еще увидим), что и у Батюшкова в этом его стихотворении. Ее подсказывает любому русскому поэту и чередование неравноночных строк, и кое в чем уже сам шестистопный ямб. Возможности эти Батюшков со свойственной ему женственной грацией — но и силой музыкального чувства — использовал, когда байроновскую строфу на свой голос полагал, затушевая четкость ее рисунка, заменяя логику ее музыкой.

Для этой замены или — если на сторону Байрона перейти — подмены всего показательней первые четыре стиха, в обоих случаях образующие отделимое от дальнейшего целое. Для Байрона, есть отрада в бездорожных лесах, есть восторг на безлюдном берегу; он общество находит там, куда не вторгается никто, у глубокого моря (готовый и бездейственный эпитет) и музыку в том, что не он назвал говором валов. Последовательно тут проведена мысль об одиночестве поэта, исчезнувшая у Батюшкова. О «приморском бреге» вовсе у него не сказано, что берег этот безлюден или «одинок». Пустынен не брег, а бег (валов), что повышает метафору в ущерб предметному значению. Да и «дикость» лесов — нечто менее определенное и гораздо более романтико-поэтическое, чем отсутствие в этих лесах даже и тропинки. А уж «общество» — там, где никого нет — и совсем улетучилось, заменилось гармонией «в сем говоре валов», расширенной на целый длинный стих, по сравнению с «музыкой их рева», в полустишие вместившейся у Байрона. Зато гармония или музыка эта звучит и в самих батюшковских стихах, чего о байроновских, с их слабо выраженной женской цезурой (в первых трех) сказать нельзя. Батюшков начинает ее нажимом смычка, определяющим певучий подъем мелодии к единственному до-цезурному ударению (все три «есть» в первых строках несут лишь малозаметное полударенье), после чего она еще выше взматается ко второму ударению, падает к концу строки, а в следующей, после краткого подъема (начальный ямб), медленно опускается вновь. Пауза, чуть более долгая, чем после предыдущего стиха, и вновь нажим смычка, начинающий повтор той же мелодии. Нажим смычка, это дактилическая цезура, при отсутствующем или ослабленном первом ударении: та-та-та-та́-та-та, «есть

наслаждéние...», «И есть гармбния...», а затем даже взвизгнуть заставляет смычок струну: «и в дикости...» или голос усилить на менее высокой ноте: «в сем гóворе...». Хотелось бы мне вернуться на полвека назад и попросить Мандельштама прочесть пусть хоть первый из этих стихов. Убежден, что взвизгнул бы он, высоко и протяжно, на этой «дийкости», как взвизгивал на том же звуке (не случайно: оба «ди» *найдены*, но Батюшковым осмысленней), когда читал: «И правовед уже садийтся в сани / Широким жестом запахнув шинель». Здесь, правда, пятистопный ямб; но и здесь мелодический подъем определяется отсутствием ударения на предыдущей стопе (и маленькой паузой до нее). С такими разбегами к ударению в длинных строчках, контрастирует столь же музыкально у Батюшкова, начало коротких, та-та́-та или та-та́-та-та после та-та-та-та́-та-та. И конечно в струнной гармонии этой играют роль и повторы *о* в средних строках, и переход от *де* к *ди* в первой, и весь звуковой облик таких слов, как «наслаждение», «радость», «пустынном». Ничему этому соответствия у Байрона нет.

Как нет соответствия у Батюшкова остроте и въедливости байроновской мысли. Мысль эта *выводит* из общения с природой, предпочтение, оказываемое ей поэтом перед людьми, как и радость ускользать от всего чем он был или мог бы быть, ради слияния с ней и со вселенной, ради особого чувства, которое он не может скрыть, хоть и никогда не сумеет выразить. Это логикой требуемое «хоть» (или «но») довольно беспомощно заменяет Батюшков союзом «и», а до того, заверив ближнего в своей любви (Байрон довольно сухо заявил, что любит человека «не меньше»), еще любовней обращается к природе, и ни о чем, чем бы он «мог быть», не помышляя, говорит лишь об оживающих своих чувствах, и о забвении настоящего и прошлого. Зато и не *говорит* он обо всем этом, а *поет*; начальных мелодических фигур не повторяет, но создает сходные с ними, менее яркие может быть (первый он обрел смелость этот эпитет к звукам применять), но чье лирическое звучание несет в себе отзвук тех первых четырех стихов, несравненно певучих, и поющих в памяти нашей, куда мы читаем стихотворение, внимая таким мелодическим всплескам, как «Я ближнего люблю...», «С тобой, владычица...», «Тобою в чувствах оживаю...»; и после того, как мы давно его прочли. Недаром Мандельштам сквозь память о

них Батюшкова помянул: «Ни у кого — этих звуков изгибы / И никогда — этот говор валов». Мы впали бы в заблуждение, если бы это «ни у кого» и «никогда» вздумали понять чересчур буквально. Верно тут, однако, что этого рода ямбическую музыку, встречаемую и у других, даже и больших, чем он, поэтов, никто столь длительно, с такой любовью не разрабатывал и до такой силы напева не доводил, как он, в немногих, но и завершающих его путь стихотвореньях.



Ямбы певучестью не славятся. Четырехстопные всего меньше. Двух- и трехстопные применялись, но реже чем такие же хорей, для не очень напевных, стихотворческих, скорей, чем песен, песенок. К драматургам на службу поступил сперва, по французскому образцу, парно срифмованный александриец, а затем, по немецкому и английскому, безрифменный пятистопный ямб. Баснописцы завладели вольным ямбом, разностопным, от шести стоп до одной. Шестистопный, однако, был и помимо драмы, но по преимуществу в той же парной рифмовке, одним из распространеннейших размеров нашей поэзии вплоть до середины двадцатых годов, и совсем вышел из употребления лишь во второй половине прошлого века. Стих этот нес в себе с самого начала те основанные на дактилической цезуре и на чередовании ее с мужской ритмико-мелодические возможности, которых нет ни у французского, ни у немецкого или английского шестистопного стиха (у французского, благодаря полной свободе ударений кроме цезурного, есть свои; немецкий и английский шестистопный ямб менее гибок, чем пятистопный, наиболее употребительный в английской поэзии, подобно четырехстопному в нашей).

«Светило гордое, всего питатель мира», так начинается «Гимн солнцу» Сумарокова, и эпитет в этой строке всей мощью своей обязан тому, что дактилическое прилагательное это поставлено перед цезурной паузой. Далее в том же стихотворении, солнце, это «лампада»

Волнующаяся стремленьем быстротечным,  
Висяща в широте пустой

— прекрасное 6-4 (так я буду отныне обозначать сочетание

неравносложных строчек) с удивительно смелым трехударным и приводящим к гипердактилической цезуре построением длинного стиха. У того же — на много ниже его дара и заслуг ценимого — поэта находим такую строфу — о «Злодеях» — в переложении тридцать пятого псалма:

Во преисподнюю / отверсты им врата:  
Туда низверженны / падут и не восстанут:  
Исчезнет корень их / и терния увянут:  
Как тень минется суета,

после чего следующая строфа пожалуй лишь «по старой памяти» начинается двумя стихами с дактилической цезурой в первых полустопиях:

А мы, хранители, / Твоих, о Боже, слов,  
Которым памятна / Твоя велика слава...

но «Во преисподнюю...» и «Туда низверженны...» было выразительно, именно благодаря этому ритмическому и мелодическому «ходу», да и в «Исчезнет корень их», несмотря на ударение первой стопы, немножко менее слабое, чем в предыдущей строчке.

Действен здесь, и в двух стихах о солнечной «лампаде», также и ритмический контраст длинного и короткого стиха, но менее действен, чем у Батюшкова в начальных его строчках: здесь ударение на первой стопе не отсутствует и в длинном стихе, так что оно *повторяется* в коротком. Не следует думать, однако, что какая-то, пусть и очень скромная музыка *всегда* возникает в шестистопном ямбе с дактилической цезурой или при чередовании шестистопных и четырехстопных ямбических стихов. Для того, чтобы она возникла, необходима помощь звуко-смыслового окружения, и прежде всего интонации, питающейся смыслом. Нужный ей смысл должен быть налицо; только тогда она выполнит приглашение ритма. В басне вы ее не слышите. Не поется.

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру,

не поется и с прибавкой «На ель Ворона взгромоздясь». Не потому ли, что цезура — мужская? Попробуем женскую:

Мартышка в старости слаба глазами стала;  
А у людей она слыхала...

Нет, и тут ни короткая строчка, ни ла-ла-ла длинной не помогает. Та-та́-та та́-та-та, без слов, для пения пригодно, легкий налет симпатии к мартышке пожалуй ложится от возможной этой песенки на трезвость слов, но пению эта их трезвость все таки мешает; потенция не реализуется. В первой из этих басен есть два стиха, где контраст двух различных цезур использован редкостным мастером слова очень выразительно:

Лисица видит сыр. / Лисицу сыр пленил.

Плутовка к дереву / на цыпочках подходит...

выразительно по интонации, ритму; можно сказать, что музыкальна эта выразительность (как в программной музыке); но певучей интонации, мелодии все же здесь не получается. Ее из длинных ямбов и сочетания их с менее длинными никто успешней Батюшкова не извлекал, и младшие современники его — Пушкин, Баратынский — были в этом его учениками. И учениками Жуковского, который до него придал шестистопному ямбу и строфическому сочетанию его с четырехстопным (6+6+6+4, как в псалме Сумарокова) неслыханную до тех пор в русских стихах, лишь отчасти подготовленную Державиным в послании Евгению о жизни званской (та же строфа), елейную даже немного текучесть и певучесть.

Жуковский научил длинные наши ямбы петь, но вместе с тем и причитать, и выть, или подвывать (Некрасов скажет через полвека: «Перечитывал Жуковского: воет, воет, воет», да и сам примется «выть» — на другой лад). Элегия Грея написана была пятистопным ямбом, и так же переведена на немецкий язык Готтфридом Зейме (Seume), при одних мужских рифмах, как и в подлиннике. Жуковский перевел ее шестистопным, чьи певческие возможности были ему ясней; при чередовании рифм, женской и мужской, начиная с женской. В 1802-ом году, строгого стиля кафедрально-лирическая Элегия, на чужой голос положенная, по-новому запела, напев обрела, который, слегка изменяясь, безостановочно льется из четверостишия в четверостишие утопляя в этом речевом потоке все отдельные мысли, фразы и слова:

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;

Шумящие стада толпятся над рекой;

Усталый селянин медлительной стопою

Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой...

Это — первая строфа; совсем иначе, чем у Грея, но по-своему изумительно, она «задает тон» — дает тот же самый тон — всем остальным. Сравнимо это (всегда я так думал) только с Ламартином, который, немного погодя, заставит в таком же роде голосить французский александриец — неудержимо, неотразимо, — но самого себя, в отличие от Жуковского, этим одним возвышенным вытьем и околдует. Четыре года спустя, начали слагаться строфы «Вечера», из которых я приведу восьмую и двенадцатую, чтобы выделить «партию» дактилических цезур, ту же, что в последней строке только что приведенного четверостишия:

Как слит с прохладой растений фициам!  
 Как сладко в тишине у берега струн плесканье!  
 Как тихо веянье зефира по водам  
 И гибкой ивы трепетанье!

.....

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;  
 К протекшим временам лечу воспоминаньем...  
 О дней моих весна, как быстро скрылась ты  
 С твоим блаженством и страданьем!

В этих строфах восклицательные интонации, в других того же стихотворения вопросительные повышают и оживляют его мелодичность, которой содействуют и повторы или градации гласных (очень выразительное учетверенное *и* в конце восьмой строфы, переход от *e* к *a* в последнем стихе двенадцатой); но чередование цезур в длинных строчках остается основой этой мелодичности. Позже (1815) той же строфой, почти без восклицаний и вопросов, была написана скучноватая, слишком длинная, но столь же напевно журчащая «Славянка». К тому времени, однако, Батюшков сменил Жуковского в выслушиваньи долговязого ямба и менее рослых его спутников.

Выслушиванье это есть вслушиванье в собственное лирическое волнение, что не мешает конечно осознанию стихослагательных приемов или спорам о них, вроде того, памяником которому остался клочок бумаги с бессловесными пометками Гнедича и Пушкина, относящимися к их разногласиям насчет русского гекзаметра. Батюшков был умом немножко ребячлив, но поэтический его слух был чуток и требователен,

как — «ни у кого». Двенадцатисложный стих глубже других, можно думать, его волновал, и прислушиваться он умел к каждому его слогу. Уже первая версия много раз переделывавшегося им стихотворения «Мечта», современная (или почти) греческой Элегии в переложении Жуковского, начинается стихами

О, сладостна мечта, дочь ночи молчаливой,  
Сойди ко мне с небес в туманных облаках  
Иль в милом образе...

где переход к дактилической цезуре, после двух мужских, музыкально мотивирован, — и любопытным образом повторен в совсем новом зачине окончательной версии:

Подруга нежных муз, посланница небес,  
Источник сладких дум и сердцу милых слез,  
Где ты скрываешься...

У другого поэта я бы считал такую одинаковость основного ритмического узора случайной; здесь я скорее склоняюсь к мысли, что музыканту захотелось сохранить этот именно «изгиб», вполне пригодный для первых тактов сонатины. И в этой же первой «Мечте» есть такие цезуропевучие стихи, как «Одетый ризою прозрачной, как туманом» и такие, этим пением подчеркивающие звуковую выразительность предцезурного слова, как «И смерть угрюмую цветами увенчал». Замечу, что «угрюмую» звучит здесь сильнее, чем «смерть», как будто пришедшийся на эпитет нажим смычка смертельность смерти втиснул в ее угрюмость. Позже, Батюшков весьма охотно в такие нажимы эпитеты помещал, влагая в них тем самым больше звуко смысла, чем в определяемые ими существительные. Забегая вперед, привожу тому в пример стихи, навеянные ему «Неистовым Роландом» (1, 42) в предзакатный год его наивысшего мастерства:

Девушка юная подобна розе нежной,  
Взлелеянной весной под сению надежной:  
Ни стадо алчное, ни взоры пастухов  
Не знают тайного сокровища лугов,  
Но ветер сладостный, но рощи благовонны,  
Земля и небеса прекрасной благосклонны.



Делаю паузу, чтобы читатель успел насладиться чистотой и совершенством пасторальной этой мелодии, сотканной из как будто по их собственной благодати певучих, а не только, как они сами говорят, нежных и сладостных слов. Но поют они все таки силою предцезурных дактилических эпитетов первой, третьей, четвертой и пятой строки, которой противостоит уравновешенная, стоячая певучесть второй и шестой, — спокойствие тонике подобной, с ударением совпадающей цезуры. Не стану следить за каждым — ямбическим — шагом Батюшкова на пути к самым насыщенным созданиям его: двум «подражаниям», Байрону (1819) и Ариосту (1821), приведенным мною и напечатанным в «Северных цветах», второе в 26-ом, первое в 28-ом году, и двум другим стихотворениям, оставшимся современникам вовсе неизвестными, «Ты просыпаешься, о Байя...» (1819, впервые напечатанному в 1857-ом году) и четвертому «Подражанию древним» (1821, опубликованному, вместе с пятью другими, в 1883-ем). К вершинам этим можно причислить и совсем другое по тону «Ты знаешь, что изрек, / Прощаясь с жизнью седой Мельхиседек», вероятно написанное в том же прощальном 1821-ом году, когда, тем не менее, написано было и второе «подражание», с его предвещающим Козьму Пруткову финалом:

Скалы чувствительны к свирели;  
 Верблюды прослушивать умеет песнь любви,  
 Стеня под бременем; румянее крови —  
     Ты видишь — розы покраснели  
 В долине Йемена от песней соловья...  
 А ты, красавица... Не постигаю я.

Но несовершеннолетняя неуклюжесть этого недоумения, зачеркнуть для нас не должна, если мы сами совершеннолетни, прелести предшествующего стиха, где первый слог дактилического предцезурного слова своим йотированным зачином подчеркивает подъем голоса к ударению и усиливает противопоставленность подъема начинающемуся тотчас спуску. У Батюшкова и в несовершеннолетних или ребячливостью тронутых стихах, почти всегда есть та особая тонкость голосоведения, та «плавность» (его слово!), та музыка, что и составляет су-

щество его поэзии. Музыка эта осложняется и учится охватывать более сложные словесные смыслы и звуко-смыслы; в этом развитие его поэзии.

Музыку эту, ямбическую эту музыку, Мандельштам и услышал; но услышали ее, задолго до него, и младшие современники Батюшкова. Всего увлекательней звучала она для них тогда, когда для поэта умолкла, и предсмертного, самого насыщенного ее звучания услышать им не было дано. Исключение — Пушкин. Отзвук того стихотворения в «Северных цветах», списанного им, быть может, в голосе его, выпевающим «На холмах Грузии...» — как я думаю — и слышен, но в дальнейшем он этой строфой лишь непевучие стихи писал, то есть такие, петь которым и не полагалось; а сверстники его уже и раньше, к строфе этой (6+4), как и к сплошному шестистопному ямбу, охладели. Интересно было бы знать, отчего Пушкин вернулся к нему в своем «Анджело», а Баратынский, под самый конец, даже и к попарно рифмованному, в послании дядьке-итальянцу (1844). К этому времени, правда, молодые поэты — Фет, Майков — нечто привлекательное, стилизованно-«классическое» в александрийце этом усмотрели, тут-то к Батюшкову Майков и записался в ученики... Вспышка это была. Головешку, довольно дымную, один Щербина выхватил из потухавшего костра, создателями бессмертного Козьмы безжалостно затоптанного в землю. Но ведь «Музу» свою, напоминавшую ему Батюшкова, Пушкин написал еще в 21-ом году —

В младенчестве моем она меня любила  
И семиствольную цевницу мне вручила.  
Она внимала мне с улыбкой — и слегка,  
По звонким скважинам пустого тростника,  
Уже наигрывал я слабыми перстами  
И гимны важные, внушенные богами,  
И песни мирные фригийских пастухов...

Не муза его вообще, но муза, пропевшая ему эти стихи, в самом деле, именно музой Батюшкова и была. Ею подсказаны тут с великим искусством, со своим, но и его искусством найденные нерезкие контрасты между доцезурными полустипическими первого и второго, третьего и четвертого стихов, после чего следующие три подряд поют на дактилической цезуре: «Уже

наигрывал...», «И гимны ва́жные...», «И песни ми́рные...» Неудивительно, что стихотворение это, для Пушкина, «отзывалось Батюшковым», которого могли ему напомнить и многие другие собственные его стихотворения этого года, более редкие последующих годов, но и многие предыдущих. Недаром столькими пометками восхищения и порицания испещрил (в два, как полагают, приема, на расстоянии нескольких лет) свой экземпляр «Опытов»; похоже, что внимательней читал эти, чем чьи бы то ни было русские стихи.

Превзошел Батюшкова? Разумеется, превзошел; Пушкиным не был бы иначе; но можно это и по-другому сказать: без Батюшкова не стал бы Пушкиным. Превзошел его и в батюшковской же идилической манере, как тою же «Музой», или «Девой», «Дионеей», «Доридой», «Нереидой» (в этих парных шестистопниках с помощью Шенье, посмертный сборник которого был издан в 1819 году); превзошел и в элегических александрийцах, в этих, например,

Редет облаков летучая гряда;  
Звезда печальная, вечерняя звезда —

батюшковскому противопоставлению цезур противопоставляющих сходство трех та-та́-та-та, связывающее вторую строку с первой, причем последняя из этих ритмических единиц ослабленно повторяет предпоследнюю; превзошел под конец и в музыкально-выразительном чередовании шестистопных и четырехстопных строчек: «Воспоминание» (1825), «Под небом голубым» (1826), «На холмах Грузии» (1829). Уже стихотворение 1818-го года «Мечтателю» начинается стихами, где четырехстопная строчка четким своим ударением на второй стопе отвечает таким же, но предцезурным, при дактилических цезурах, в первой, третьей и четвертой, создавая новую музыку, хоть и скомпанованную по батюшковскому образцу:

Ты в страсти горестной находишь наслажденье,  
Тебе приятно слезы лить,  
Напрасным пламенем томить воображенье  
И в сердце тихое уныние таить.

По поводу таких стихов, скорей, чем по поводу послания Юрьеву (как пишет сохранивший для нас предание это Анненков) подобало бы Батюшкову «судорожно сжав листок» с их

текстом, воскликнуть: «О, как стал писать этот злодей!» А в следующем году, злодей этот повидимому заметил, что и в пятистопном ямбе с постоянной цезурой на второй стопе возможны те же два ее варианта, что и в шестистопном; заметил, да тут же и оссианические (чуть-чуть) стихи сложил, которых ни тогда, ни позже не напечатал, но которыми мог бы Жуковскому доказать, что Элегию Грея мыслимо было и пятистопный ямб сохранив, на певучий голос переложить, — но не польстясь на бесцезурный пятистопный, столь метко в его (относительной) тряскости охарактеризованный шестой октавой «Домика в Коломне». Вот первые строфы:

Там у леска, за ближнею долиной,  
Где весело течение светлых струй,  
Младой Эдвин прощался там с Алиной;  
Я слышал их последний поцелуй.

Взошла луна — Алина там сидела,  
И тягостно ее дышала грудь.  
Взошла заря — Алина все глядела  
Сквозь белый пар на опустелый путь...

Прочтите все шесть: воет, воет, воет. В угоду Жуковскому? Или уже, быть может, ему немного и в укор. Но «воет», это ведь все таки значит, что поет, и вся прелесть пения здесь проистекает из игры предцезурных ударений при смене мужских и дактилических цезур.

«О, как стал писать этот злодей!» В двадцать первом году, когда «Муза» написана им была, он уже сделал своим всё, что у Батюшкова не отбросил. Но не успокоился и на этом. — Около того года и Баратынский дары, ему предназначенные, от Батюшкова приял:

Мечты волшебные, вы скрылись от очей!  
Сбылися времени угрозы!

Так начинается его «Весна» двадцатого года, и той же строфой 6+4, с батюшковской гибкостью, хоть и в совсем другом тоне, написано послание Дельвигу того же года, «Уныние» следующего года, «Зачем, о Делия...» двадцать второго; и когда я читаю («Финляндия» 1820)

О, все своей чредой исчезнет в бездне лет!  
 Для всех один закон, закон уничтоженья,  
 Во всем мне слышится таинственный привет  
 Обетованного забвенья!

я конечно слышу Баратынского в этих стихах и больше никого, но размышляя над услышанным — все таки ведь сквозь это «слышится» услышанным — вспоминаю Батюшкова, и порой с ним вместе Мандельштама. Как взвился бы его голос, как он взвизгнул бы — Во всем мне слышится таинственный привет — и этим обнажил бы, скрипуче подчеркнул бы мелом то, что выслушал Баратынский не в книгах, а в себе, но к чему и Батюшков шел, и что он в себе нашел за год до того, в Италии, читая переведенного «Чайльд-Гарольда». Вероятно Баратынского это стихотворение, когда оно появилось в печати, уже не заинтересовало. Но в те прежние годы даже ведь и Языков строфой 6+4 написал стихотворение свое «Рок» (1823), как и Дельвиг неравностопным ямбом свою «Сельскую элегию» («На смерть★»), хотя, вообще говоря, размеры эти были им обоим чужды. Не в самих размерах дело; но музыка, Батюшковым найденная, связана была тем не менее с ними, хоть и не звучит она в том же, например, языковском «Роке» или в этой же строфой написанном стихотворении Туманского «Музы» (1822). С тех пор, однако, как начали возить Батюшкова по заграничным лечебницам для душевно-больных, еще до того как скрылся он в вологодское царство теней, где предстояло прожить ему целых тридцать лет, затихла его музыка и в запас уволены были длиннострочные ямбы, главные помощники ее. Один Пушкин... 1823: «Ночь» и «Завидую тебе...»; александрийцы, Батюшкова не забывшие. — 1824: «Ты вянешь и молчишь...», «Пускай увенчанный...»; то же. — 1825: «Сожженное письмо», «Сафо», то же. — 1826: «Под небом голубым...», 6+4 изумительной музыкальной силы. («Но недоступная / черта меж нами есть...» «Мордвинову» (6+6+6+4, почти регулярное и содействующее музыке чередование мужских и дактилических цезур). — 1827: «Соловей и роза», — совсем, как если бы задолго до того... «О, как он стал писать!» и «Близ мест, где царствует Венеция златая». — 1828: «Каков я прежде был» и 6+4, да еще какое: «Воспоминание», совсем не батюшковской темы, тона и, конечно, глубины, а все же (та-та-та-та-та: «Полупрозрачная... «Воспоминание...», «И с

отвращением...», да и первая строка: «Когда для смертного...», где первое ударение рядом со вторым в счет не идет). — 1829: «Поедем, я готов...», скорей это можно упомянуть, чем уж слишком непохожее на Батюшкова «Зима. Что делать нам...» Но главное в этом году — прощальное 6+4 «На холмах Грузии...», как раз первое полустишие которого кажется мне внушенным незадолго до того напечатанными и списанными Пушкиным батюшковскими стихами, хоть и нет между этими стихотворениями ничего общего, кроме того же та-та-та-та-та в начальном нажиме смычка...

— Но если все это так, отчего же Мандельштам «этих звуков изгибы» только у Батюшкова нашел? Отчего не у Пушкина взял то, чему Батюшков научил Пушкина?

— Оттого что *батюшковское* это добро, *его* наследство. Оттого что много у Пушкина, слишком много других богатств.



Значенье — суета, и слово — только шум,  
Когда фонетика — служанка серафима.

Поэту столь пифического изречения достаточно, а критик вопрошает, критикует, и любопытству его нет конца. Почему «шум»? Свою «фонетику» поэт звуком слов образует гораздо больше, чем их шумом. И если бы значенье слов полностью было суетой, отчего ж не довольствоваться тогда псевдословами, словами безо всякого значенья? Но это — риторические вопросы, вопросы-жалобы, которые легко отвести, сказав, что в первом стихе «шум», это та же суета, а «суета» отнесена к предметному, практическому значенью, именно к значенью, а не к смыслу слова. Зато второй стих побуждает понастоящему спросить, когда же, собственно, фонетика становится «служанкой серафима», или, пользуясь менее образным языком, в каких случаях звуковая сторона стиха приобретает столь явный перевес над значениями слов и фраз, что его смысл становится звукословом, то есть смыслом его музыки. На такой вопрос сам этот стих уже и подсказывает ответ, шепчет: в моем, например, случае. Ведь стих этот — хорошо нам знакомый певучий шестистопный ямб с дактилической цезурой. Она-то и есть тот звуковой «изгиб» внутри длинного стиха, что приближает его к певучести, свойственной трехсложным раз-

мерам более, чем двухсложным. Не звуковой, собственно говоря, а ритмико-мелодический «изгиб», но тот самый, который Батюшкову был так дорог и стал вновь столь же дорог Мандельштаму через сто лет. Стихотворение «Мы напряженного молчанья не выносим» (характерна и эта его строка) написал он в 1913-ом году, но уже с самых первых неуверенных его шагов милы ему были дактилические эти цезуры и полустушия, занятые одним длинным словом — «Мы напряженного...», «В разноголосице девического хора» (1916). Тому свидетельство недавно опубликованные ранние и очень слабые стихи

В непринужденности творящего обмена,  
Суровость Тютчева — с ребячеством Верлена  
Скажите — кто бы мог искусно сочетать,  
Соединению придав свою печать?  
А русскому стиху так свойственно величье,  
Где вешний поцелуй и щебетанье птичье.

«Непринужденность» столь же мало тут оправдана, как величье птичьего щебетанья и вешнего поцелуя (откуда он? из Фета?); но уже взвивается в первой строке интонация та-та-та-та-та-та-, и затем еще выше та-та-та-та. Не думаю, чтобы подслушано это было, перенято. Голосящего Мандельштама слышу, не Батюшкова. Но Батюшков помог Мандельштаму вслушаться в Мандельштама.

«Батюшков нежный со мною живет». Никто другой, и хорошо он его назвал. «Роскошный Батюшков!» Понравилось это Батюшкову, а нам скорее кажется, что Воейков выразился не очень метко. Но «трудолюбивый» об этом парнасском пастушке вполне можно было бы сказать. Смычок свой холил, канифоли не жалел, много лет изощрял шестистопный ямб, — изощрял в его гибкости, певучести и в певучих взаимоотношениях его со стихом меньшей амплитуды. Редки в первой «Мечте» такие строки, как «И смерть угрюмую цветами увенчал» или «В забвеньи сладостном, меж нимф и нежных граций», и та-та-та-та-та-та в стихотворении этом нет ни одного. Нечто близкое к этой «фигуре» появляется в «Выздоровлении» (1807), где шестистопная строка, впервые у него, поет дуэт с четырехстопной, и где, покуда речь идет о болезни, ей не дается дактилических цезур; четыре раза их нет, а потом три подряд: «Но ты приблизилась...», «И слезы пламе-

нем...», «И вздохи страстные...» вводят главную тему. Но здесь и начало (несмотря на замечание Пушкина о том, что коса была бы тут уместнее серпа)

Как ландыш под серпом убийственным жнеца  
Склоняет голову и вянет,

— одно из лиричнейших, музыкально-лиричнейших во всей русской поэзии; музыка эта здесь создается таким же использованием пропуска ударений, как и в дактилических цезурах («убийственным» и «склоняет голову», при слабом ударении на «склоняет»). Запомним твердо: дело не в самих «пирриях» (пропусках ударений), не в самой дактилической цезуре (пропуск ударения на самом отмеченно ударяемом месте стиха), а именно в использовании их путем применения должным («плавно» или напевно) звучащих и смыслом своим разрешающих пение слов («убийственный» зловещее пение разрешает, «фонетика» — у Мандельштама — тоже, но лишь по контексту: она поэтизирована «серафимом» и предыдущей строкой). Нет никаких «приемов» в искусстве, которые действовали бы независимо от всего прочего. Я уже приводил тому в подтверждение басни. Теперь приведу пушкинские, великолепные, зрелые, музыкопослушные, но не ради музыки написанные стихи

Французских рифмачей суровый судия  
О классик Депрео, к тебе взываю я:  
Хотя *постигнутый* неумолимым роком  
В своем *отечестве* престал ты быть пророком,  
Хоть дерзких *умников* простерлася рука...

Сколько бы я ни подчеркивал дактилические эти и предцезурные слова, *голосом* подчеркивать их, хоть немного разбираясь в стихах, никто не станет.

Другое дело «Я берег покидал туманный Альбиона» («Тень друга», 1814). Пою с первых слов. Медленно протекают два первых стиха, потом пятистопный, потом опять шестистопный, потом четырехстопный с полной переменной ритма, как порою в баснях, но иначе, совсем иначе:

Вечерний ветер, валов плесканье,  
Однообразный шум и трепет парусов,  
И кормчего на палубе взыванье

Ко страже дремлющей под говором валов, —  
 Все сладкую задумчивость питало.  
 Как очарованный у мачты я стоял...

«Как очарованный...» После этого, через стих идут в шестистопных строках такие же цезуры. И все эти певучести были подготовлены уже длинным словом «однообразный», затем дактилической цезурой пятистопной строки («И кормчего»), затем дактилической цезурой шестистопной, но такой же как упомянутые дальнейшие три, с ударением на первом слоге; затем еще раз дактилически цезурированной пятистопной строчкой; и вот наконец настоящее та-та-та-та-та-та-, «Как очарованный...», откуда и проистекает утроенное его очарование. Замечу, что в этом же стихотворении есть образец, один из совершеннейших в русской поэзии образцов, совсем другой, противоположной музыки александрийца, полностью уравновешенной, побуждающей комментатора скорей о гармонии говорить, чем о мелодии:

В бездонной синеве безоблачных небес

— изумительный стих, симметрия которого еще подчеркнута обоюдосторонним переходом ударных гласных от *о* на *е* и повтором первого слога прилагательных, но в неподвижности своей не характерный для Батюшкова и почти столь же неблизкий ритмическому чувству Мандельштама.

Начиная с этого стихотворения, Батюшков свой шестистопный ямб, свое 6+4, свое 6+5 (в «Умиравшем Тассе») не разрабатывает далее; с точки зрения их гибкости, их интонационных возможностей, в них как будто и разрабатывать больше нечего. Он теперь и есть тот русский поэт, который эту гибкость, эти возможности передает другим, и ничего нет удивительного, что и через сто лет, именно в нем Мандельштам нашел себе помощника и друга. Оценив, без сомнения, и те его прощальные творенья, где то, что с давних пор в нем пело, выпелось всего чище, но и всего полней, — а значит и сложнее: байроновскую «Элегию», идиллию извлеченную из Ариосто, о которых была уже речь, «Ты пробуждаешься, о Байя...» (об этом восьмистишии — 6+6+6, каждый раз с певучей цезурой, + 4+5+4+6, опять, с певучей цезурой, + 4, с четырьмя биеньями ямба — сказано было мною кое-что в 114-ой

книге Нового Журнала) и необычайное четвертое «Подражание древним»:

Бледна, как лилия в лазури васильков,  
Как восковое изваянье...

И умолк этот голос. Перевернута страница. Век прошел...



1821. 1921. Та-та́ та-та́-та-та та-та́-та та-та-та́.

Люблю под сводами седья тишины  
Молебнов, панихид блужданье,  
И трогательный чин, ему же все должны —  
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,  
Широкий вынос плащаницы  
И в ветхом неводе Генисаретский мрак  
Великопостныя седмицы...

Быть может высшее, и конечно самое неожиданное из всего написанного Мандельштамом (хоть и нельзя сказать, чтобы неподготовленное и неимевшее продолженья). Пример медиумичности поэта, сквозь которого говорит, безошибочными словами говорит нечто ему чуждое, и все таки не в ком либо другом, а в нем одном обретшее и забытые эти слова и нужный для произнесения их голос. Слов этих у Батюшкова нет, но голос, на который слова эти положить, без него не нашел бы Мандельштам. Не было бы в его распоряжении незаменимо нужного этим словам драгоценного стиха, которому Батюшков до Пушкина придал гибкость и певучесть; а в тех четырех прощальных созданиях своих еще и что то такое из музыки снятых ударений, цезур и чередования разноstopных ямбов извлек, чего и Пушкин извлекать из нее не помышлял. Или может быть не следует говорить, что Батюшков из музыки этой что-то извлекал? Скажем, что научил он нас ею удовлетворяться. Но ведь осмысленностью ее, а не бессмыслицей? Да, но осмысленностью не столь прозрачной, не так легко сочетаемой с простым значением фраз и слов. В этом направлении — беззначного звукоcмысла — и складывалась, через сто лет, поэзия Мандельштама. Поэтому и справедливо говорить,

что именно от Батюшкова унаследовал он размеры, которыми очень редко пользовались во второй половине прошлого века, редко пользовались и поэты вокруг него: шестистопный ямб и шестистопный в чередовании с четырехстопным. Чтобы традицию подчеркнуть я чередование это и типографски — вопреки Мандельштаму — отмечаю. В стихотворении, первые две строфы которого я привел, очень замечательно сочетание двух совершенно разных архаизмов: лексики и грамматики с одной стороны, строфы, с другой. Оттого-то эти стихи так по-новому и звучат. Тыняновское противопоставление архаистам новаторов логически несостоятельно, хоть исторически, в применении к началу русского девятнадцатого века, и не бессмысленно. Традиция — не повторение прошлого, а новшество — иногда и возвращение к нему. Сплошное новаторство, безо всякого отношения к традиции, в теории абсурдно, а на практике — сплошная ерунда.

Выборматовалась сама собой у Мандельштама архаическая эта, столетней давности музыка. Я не говорю, что одна единственная, эта; но значительное все же место занимавшая среди других.

В непринужденности...

В не-при-нуж-дён-ности...

В непринужденности *творящего* (обмена)...

Плохие, наскоро сложенные слова, но душа прислушивается к их пению —

Отчего душа так певуча  
И так мало милых имен,  
И мгновенный ритм — только случай,  
Неожиданный Аквилон?

(1911). Но ритм не только случай, и тот же самый, или почти, может разные мгновенья высказать и подойти к разным милым именам. Та-та-та-тá-та-та — как хооршо! — и та-тá-та-та: В непринуждённости *творящего*... И уже тá-та-та (в ямбе)! Хорошее слово «омут», в косвенных падежах. За год до того он его испробовал — в амфибрахии:

Из омута злого и вязкого  
Я вырос, тростинкой шурша...

Нет. Не совсем то...

Останься пеной Афродита,  
И слово в музыку вернись...

Тогда же, однако, и нашел нужную этому слову музыку:

В огромном бмуте / прозрачно и темно,  
И томное окно белеет;  
А сердце — отчего так медленно оно  
И так упорно тяжелеет?

То всею тяжестью оно идет ко дну,  
Соскучившись по милом иле,  
То, как соломинка, минуя глубину,  
Наверх всплывает без усилий...

Печатаю опять, как предписано традицией. Последней строфы не привожу. Ясно и так, что «милых имен» существует немало, что найдена искомая вместе с ними музыка, и что это все та же, пусть и обновленная — обновленная именно словами — старая батюшковская музыка. Правда, оркестрована она щедрей и гармоническая опора ее богаче (звуки *о*, *м*, *н* в первой строфе и тут же соответствия «бмуту»: «т**о**мное», «м**е**дленно»). Но мелодия, в которой теперь для омута нашлось место, как и еще более певучее для «соломинки» во второй строфе, все же главенствует надо всем и поет, как пела некогда —

То всею тяжестью оно идет ко дну...  
Ты просыпаешься, о Байя, из гробницы...

Так что с этого самого 1910-го года уже и незачем было Афродите оставаться пеной и слову возвращаться в музыку.

Или верней незачем ему стало в бессловесную возвращаться, оставаться без своей, неразрывно связанной с ним музыки. Милое имя «соломинка», еще именем собственным не стало, а было уже написано «Мы напряженного молчанья не выносим — / Несовершенство душ обидно наконец...» (1912), и тогда же

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,  
Я изучал твои чудовищные ребра,  
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй  
И я когда-нибудь прекрасное создам.

В следующем году «Адмиралтейство», а в 14-ом, накануне вой-

ны, изумительное восьмистишие, лучше всего являющее нам поэтическое осознание поэтом именно этого своего, в плоть ему вошедшего и в кровь, ямбического гекзаметра:

Есть иволги в лесах, и гласных долгота  
В тонических стихах единственная мера.  
Но только раз в году бывает разлита  
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:  
Уже с утра покой и трудные длинноты;  
Волы на пастбище, и золотая лень  
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

«Есть наслаждение и в дийкости лесов»... «Есть ийволги...», «В тонийческих стихах...», «едиинственная», «длительность». Так и слышу этот взвивающийся звук, это взвизгиванье Мандельштама. Конечно, долгота гласных к тоническим стихам никакого отношения не имеет, а что «зияет» цезура, это лишь о дактилической цезуре в *ямбе* и можно сказать. Тут она как раз сама о себе это самое еще раз и говорит. Логос и Мелос одинаково, побеждая сумбур, рождаются из сумбура, но не полагаются им из стихов начисто изгонять сумбур. (Если поэзия и впрямь должна быть — по Пушкину — «глуповата», ничего другого значить это не может; не глуповата, а безрассудна; от дешевой обессумбуренности Разум ее уберезет). Сумбур в полновесных этих стихах их поэзии соприсроден. Ведь это стихи о стихах, об этих самых стихах, и вместе с тем о «метрике Гомера» и о «природе» (об окрестностях Рима, может быть), но то, о чем говорится, этого-то как раз «на самом деле» и нет, а есть поэзия, сама себя определяющая, поющая о себе, и даже не «о»: пение являет свой смысл, который прежде всего — пение. И тем показательней, что явлено это пение в зиянии цезур и медленном шествии нашего старого шести-стопного ямба, в том, что ложно-неложно (сумбурно) и поэтически действительно можно отождествить с «длиннотами» отягощенной, «тонической» метрикой Гомера.

В следующем году было написано тем же негомеровским гекзаметром и все же вполне созвучно имени Гомера «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», столь же длинно-певучее, как то, с призыванием иволги, стихотворение, столь же чарующее,

чуть более витийственное, быть может, — и то я скорей для того так говорю, чтобы напомнить два последние его стиха:

И море черное, витийствуя шумит  
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

В том же году — «С веселым ржанием пасутся табуны...», а в предыдущем еще не упомянутая мной «Европа», — всё длинные эти строчки; когда я читал их впервые, мерещилось мне, что в них невозможным образом десять или двенадцать стоп а не шесть, и думалось — вопреки арифметике, но не вовсе несправедливо — что таких долгострочных стихов никто у нас раньше не писал. В шестнадцатом году новый их ожидал, русский более, чем до того, триумф:

В разноголосице двического хора  
Все церкви нежные поют на голос свой,  
И в дугах каменных Успенского собора  
Мне брови чудятся, высокие, дугой...

Разве это не одно из упоительнейших русских стихотворений? И тогда же создались столь же московские смешанной длины ямбы — «На розвальнях, уложенных соломой...» И «Соломинка», I и II, в том же году —

Я научился вам, блаженные слова —  
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита...

А в семнадцатом — «Декабрист» и «Когда октябрьский нам готовил временщик...» (6+4), «Кассандре» (смешанные ямбы), «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...», «Среди священников левитом молодым...», чтобы увенчал все это в восемнадцатом

На страшной высоте блуждающий огонь,  
Но разве так звезда мерцает?  
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,  
Твой брат, Петрополь, умирает.

И в том же году: «Кто знает, может быть не хватит мне свечи», с чудесной строкой «Как поздний патриарх в разрушенной Москве», предвещающей «церковные» стихи двадцатого года. Но еще до них (такое же, впрочем, предвестие): «В хрустальном омуте какая крутизна...», где «омут» пригодился еще раз, и где сказано «Я христианства пью холодный горный воздух»

(1919). В двадцатом — «Когда психея-жизнь», «Я слово позабыл»,

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,  
С певучим именем вмешался...

и последнее предвестие, почти равное тому, что оно предвещает:

Вот дароносица, как солнце золотое,  
Повисла в воздухе — великолепный миг...

.....

И Евхаристия как вечный полдень длится —  
Все причащаются, играют и поют,  
И на виду у всех божественный сосуд  
Неисчерпаемым веселием струится.

И вот, в знаменательном году смерти Блока, смерти Гумилева, —

Соборы вечные Софии и Петра,  
Амбары воздуха и света,  
Зернохранилища вселенского добра  
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в години тяжких бед,  
Сюда влачится по ступеням  
Широкопасмурным несчастья волчий след,  
Ему веки не изменим...

Еще черней была бы ночь России, если этого ей на ночь не было бы сказано. И как нередко, но таинственно случается в том, что мы беспомощно зовем искусством, полнота его была достигнута здесь на вершине или в глубине того, рядом с чем «искусство» — пустячок. Весь путь теперь пройден и стихом этим и этой строфой, от младенческого «В непринужденности» до изумительных этих длинных предцезурных слов, найденных для этого стиха, но для которых — кажется нам теперь — самый этот стих некогда был найден. Теперь, когда Мандельштам до предельного полнозвучия его довел, подготовкой начинает нам казаться всё то, чем он был у Батюшкова, Жуковского, Баратынского, Пушкина. Но нет: не зачеркнуто его прошлое, подчеркнуто оно драгоценной его музыкой, поэтическим его величием. И утешительно для нас, что поздний наш поэт, — «как поздний патриарх в разрушенной Москве»

— стихом Батюшкова и Пушкина достиг того, чего он достиг этими своими стихами.



Писал он тем же стихом и позже; но выше этой вершины, в его музыке не поднялся. В двадцать втором году написал «Кому зима, арак и пунш голубоглазый...»; в двадцать третьем (парными александрийцами) «Язык булыжника мне голубя понятней...»; в двадцать четвертом (смешанными ямбами) «1 января 1924» и строфой 6+4 «Нет, никогда ничей я не был современник». Потом он реже обращается к этим размерам, — и к ямбам вообще (замечу, что музыка шестистопного ямба сильно повлияла и на его пятистопный). «10 января 1934», где свободно сочетаются оба, не совсем внятно и едва ли совсем доделано. «Чернозем» (1935) — может быть начало нового вслушиванья в эти ритмы. Но темы моей я расширять не буду, а для прощания с ней достаточно воронежского 6+4 (январь 1937).

Еще не умер я, еще я не один,  
Покуда с нищенкой-подругой  
Я наслаждаюсь величием равнин  
И мглой, и голодом, и вьюгой.

В прекрасной бедности, в роскошной нищете  
Живу один — спокоен и утешен —  
Благословенны дни и ночи те,  
И сладкозвучный труд безгрешен.

Несчастен тот, кого, как тень его,  
Пугает лай и ветер косит,  
И беден тот, кто, сам полуживой,  
У тени милостыни просит.

Не в шутку пишутся стихи. Бывает, что и в шутку. Но когда до таких, как эти — и до такого «сюжета» — доходит дело, то при всем их глубоком совершенстве, шуткой обернется, пожалуй, комментарий этих совершенств. Не стану шутить. Переписываю их, и только. По традиционному переписываю. Так преемственность нашей поэзии видней. Так, быть может, мы память об этом поэте крепче будем хранить; неразрывно с памятью о прежних наших поэтах.

*В. Вейдле*



Что-то творится  
В мире земном,  
Что-то стучится  
И ластится, лезет.  
Словно неведомый  
Ласковый лепет,  
Трепет, который  
Все ставит вверх дном.

И в сновиденьях,  
И в трезвых науках  
Слышу еще  
Не проснувшийся шум, —  
Шелест внезапный  
Безоблачных дум  
Ищет значений  
В безобразных звуках.

И замечаю  
За чаем в гостях  
Даже в случайном  
О власти намеке  
Образов новых  
Бесценные строки,  
Где драгоценен  
Каждый пустяк.



Вначале было Слово. Мир молчал.  
Вначале пульс поэзии звучал.  
Носился дух поэзии простой  
Среди примет предметности пустой.  
На чем он остановит жгучий взгляд  
Пред тем, как звуки выстроятся в ряд?  
На чем упрочит свой предвечный слух,  
Когда хаос невнятен, беден, глух?  
И вот пронзает закорузлый слой,  
И рифмы сфер небесных — пред Тобой.

*Вадим Крейденков*

# «БЛАЖЕННОЕ НАСЛЕДСТВО»

## О. МАНДЕЛЬШТАМА

*Я получил блаженное наследство —  
Чужих певцов блуждающие сны.*

В конце 1973 года в Советском Союзе наконец-то вышла в серии «Библиотека поэта» книга «Стихотворений» Осипа Мандельштама. Из-за ограниченного тиража (всего 15,000 экземпляров) книга сразу же стала библиографической редкостью и в СССР и за рубежом. До этого последний сборник стихотворений Мандельштама в Советском Союзе вышел без малого полвека тому назад. Известно, что долгие годы Мандельштама не печатали, поэтому издание сборника его поэзии в «Библиотеке поэта» является большим и счастливым событием.

В связи с выходом этой книги хочется напомнить основные вехи творчества Осипа Мандельштама.

Анна Ахматова в своих воспоминаниях приводит рассказ поэта о выпуске его первого сборника: хозяин типографии, где юный Мандельштам издал на собственные деньги сборник стихов «Камень», поздравляя его с выходом книги, пожал ему руку и сказал: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Хотя высказывание это и анекдотично, но по существу оно оказалось верным.

Мандельштама порой обвиняли в запутанности и бессмыслице даже такие представители поэтической элиты, как Гумилев и Цветаева. Обвиняли, но тут же и оговаривались, что оба поддавались «магии каждой строчки» его поэзии, по словам Марины Цветаевой.

Те, кто обвиняют Мандельштама в бессмыслице и запутанности, может быть ищут в поэзии соответствия с «пересказом», что Мандельштам считал «вернейшим признаком отсутствия поэзии». Мандельштам сам сказал, как его стихи надо читать:

«Лучшие слова в стихотворении, — говорил он, — не произнесены. Их нужно найти тому, кто вас слушает... Поэт дает только ассоциации, и в этом вся сила его воздействия».

Мандельштам — трудный и сложный поэт. И поэт большого диапазона. Его лирика полна отзвуков чужих певцов — Эллады, Рима, Византии, Италии, Франции, Англии, Шотландии... И он требует от читателя как бы отгадывания этих отзвуков. В своем эссе «Разговор о Данте» он говорил о важности исполняющего понимания поэзии, противопоставляя его пассивному, воспроизводящему пониманию. Такому исполняющему пониманию подлежит, например, его известное стихотворение «Соломинка», где дается целый рой ассоциаций, связанных с именем былой петербургской красавицы Саломеи Андрониковой, и читателю надлежит открыть те «лучшие слова», которые скрыты за этими ассоциациями.

Но рядом с ребусной, подлежащей разгадыванию лирикой у Мандельштама есть и ясные, доступные с первого прочтения стихи, часто писавшиеся в то же время, что и зашифрованная поэзия. В ранней статье поэта «Заметки о Шенье» есть такое высказывание: «Что такое поэтика Шенье? Может, у него не одна поэтика, а несколько в различные периоды или вернее минуты поэтического сознания?» Такое соображение о «нескольких поэтиках» в различные периоды или в тот же период, но в «различные минуты поэтического сознания» можно отнести и к творчеству самого Мандельштама.

Совсем молодым Мандельштам жил некоторое время в западной Европе. О его пребывании во Франции мы знаем из воспоминаний Михаила Карповича. Карпович познакомился с Мандельштамом в парижском кафе студенческого квартала 24 декабря 1907 года. Они часто встречались до весны 1908 года. Карпович с сожалением отмечает, что не сохранил в памяти ни одного из стихотворений Мандельштама парижского времени, когда в поэте, по его словам, была «юношеская экспансивность и романтическая восторженность, плохо вяжущиеся с его позднейшим поэтическим обликом. Ничего каменного в будущем творце 'Камня' еще не было», говорит Карпович. И вот одно стихотворение Мандельштама той далекой парижской весны, помеченное «Париж, 20 апреля 1908», впервые опубликовано сейчас в «Библиотеке поэта». Отличается ли оно в действительности так резко от его последующего творчества?

О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,  
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый.  
В водном плеске душа колыбельную негу слышала,  
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.  
Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:  
Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.  
И песчаная отмель — добыча вечернего вала,  
Как невеста белела на пурпуре водного стана.  
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы  
И на дно опускались и тихое дно зажигали,  
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,  
Слишком яркое солнце, и первые звезды мигали;  
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый,  
Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...  
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.  
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.

Стихотворение о финском озере, действительно, пожалуй, наполнено, как и автор его в то время, «романтической восторженностью». Многие образы его навеяны символизмом и вызывают в памяти стихи «великих душеловцев», как называет символистов в книге «Воспоминания» вдова поэта Надежда Мандельштам. Озеру «Сайме» посвятил несколько стихотворений предтеча русского символизма Владимир Соловьев («На Сайме зимой», «Сайма в полдень», «Сайма в бурю», «Сайма на другое утро»), и мандельштамовские стихи в значительной мере перекликаются с этими стихами Вл. Соловьева. И Мандельштам, и Вл. Соловьев (в стихотворениях «На Сайме зимой» и «Сайма на другое утро») употребляют в первых строках риторическое обращение, создающее эмоциональное настроение. Соловьев начинает эти стихотворения: «Вся ты закуталась шубой пушистой» и «Что этой ночью с тобой совершилось? / Ангел надежд говорил ли с тобой?» Эти строки, как и обращение Мандельштама к озеру-красавице, говорят о культуре красоты, о мистической любви.

Оба автора окрашивают «Сайму» в серебристо-светлые тона. Отмель мандельштамовского озера «белеет, как невеста», берег его «седой и кудрявый», над озером встает клубящийся «белый пар». Той же палитрой пользуется и Соловьев. Его стихотворение «Сайма в полдень» начинается словами «Этот матово-светлый жемчужный простор», а в стихотворении «Сай-

ма зимой» встречается «белая тишь» и обращение: «Вся ты в лучах, как полярное пламя».

Но Сайма у Манделъштама окрашена и огненно-красными тонами — «пурпур водного стана», «струилась потоками лавы». Здесь уместно сравнение с Бальмонтом, у которого есть стихотворение, озаглавленное «Вечер», где поэт говорит об «озере тихом и сонном», на котором «качается огненный лик». А в другом стихотворении, «Жребий великого», Бальмонт рисует картину захода солнца над водным пространством: «Багряный солнцекруг скользил дугой заката / Над предвечернею глубокою водой».

В стихотворении Манделъштама встречаются многие слова-образы из символистского «инструментария», как, например, «челн» («чуждый чарм черный челн» Бальмонта), «нега», «пустынные скалы». «Колыбельная нега» у Манделъштама перекликается с «чарующей негой» у Вл. Соловьева в стихотворении «Сайма в полдень». В бальмонтовском «Вечере» тоже есть образ «неги»: «На озере негой объят».

Но «Красавица-Сайма» говорит и о вполне самобытном даре поэта. В стихотворении о лесном озере слышатся песни и чужих певцов, которые получил в блаженное наследство молодой поэт. Над его озером звучит и «старинная песнь Калевала», финский народный эпос. Но стихи о Сайме относятся к «предыстории», к тому времени в жизни Манделъштама, о котором у нас очень мало сведений. «История» же начинается в 1910 году, когда первые стихи поэта появились в журнале «Аполлон» и сразу же привлекли к себе внимание.

Известно, что с этого времени у Манделъштама завязывается близкая дружба с Гумилевым, который в то время вел в «Аполлоне» отдел «Письма о русской поэзии». Манделъштам увлекается «акмеистическими» теориями Гумилева и примыкает к группе акмеистов. Три больших поэта, вышедшие из этой группы — Гумилев, Ахматова и Манделъштам — пошли впоследствии совершенно разными творческими путями.

Творческий путь Манделъштама делится на четыре отчетливых периода: 1. 1908-1915 (сборник «Камень»). 2. 1916-1920 (сборник «Тристриа») 3. Стихи 1921-1925 годов. 4. Лирика 30-х годов, несобранная в книги стихов при жизни поэта и в большей части при жизни его неопубликованная.

Заглавие первой книги «Камень» вполне соответствовало

акмеистическим требованиям осязаемости и плотности стиха. Таким образом оно приобретало и символический смысл: под ним понималось слово — основной материал поэта. В стихотворении *Notre Dame* Мандельштам и сопоставляет поэзию и зодчество:

Но чем внимательней, твердыня *Notre Dame*,  
Я изучал твои чудовищные ребра,  
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй  
И я когда-нибудь прекрасное создам.

Источники прекрасного молодой Мандельштам видел в «рукотворных» памятниках, воздвигнутых человеком на земле; это — готические соборы с летящими ввысь шпилями и кружевом каменных орнаментов, православные храмы с маленькими легкими телами, величественные петербургские здания. Петербург занимает особое место в творчестве Мандельштама. В архитектуре своего родного города он видит, как и поэты восемнадцатого века, печать вечного города Рима. Так же как неоклассицисты допушкинского времени, Мандельштам, которого часто называют классицистом, не чувствует двойственности и фантастичности Северной Пальмиры, он воспекает красоту и гармоничность этого города.

Многие стихотворения Мандельштама как бы написаны на палимпсесте — пергаменте, которым в древности пользовались несколько раз, стирая написанное ранее. Прошлое в его творчестве просвечивает сквозь настоящее, так как более древние письма вдруг открываются в старинной рукописи. В стихотворении о соборе Парижской Богоматери, например, поэт воскрешает прошлое Парижа, время римского завоевания, которое принесло с собой первые дороги и мосты, а также культуру и закон в поселок, Лютеция — будущий Париж. В двух строках поэт рисует прошлое города:

Где римский судия судил чужой народ —  
Стоит базилика...

В дерзостной направленности ввысь готической архитектуры поэт видит одну из первых человеческих попыток устремления к небу. Христианский и египетский миры взаимодействуют в «стихийном лабиринте» колонн, летящих подпорок, шпилей, башенок и арок собора Парижской Богоматери, которые теснятся в третьей строфе стихотворения:

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,  
Души готической рассудочная пропасть,  
Египетская мощь и христианства робость,  
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Древние письма открываются также в произведении о другом всемирно известном храме, в стихотворении «Айя-София»:

Айя-София — здесь остановиться  
Судил Господь народам и царям!  
Ведь купол твой, по слову очевидца,  
Как на цепи подвешен к небесам.

И всем векам — пример Юстиниана,  
Когда похитить для чужих богов  
Позволила Эфесская Диана  
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Здесь сквозь видение Софийского собора проступает более древний храм Дианы Эфесской, из которого был взят мрамор для постройки константинопольского храма.

Таков сборник поэта «Камень» с преобладающей в нем архитектурной темой, которая, по словам его вдовы, «связана с задачей человека на земле — строить, оставить осязаемые следы своего существования, то есть побороть время и смерть».

Второй сборник «Тристриа», как и первый, насыщен отзвуками древних культур и песнями их певцов, в особенности культуры эллинской. Центральное место в нем занимает Петербург. Многие произведения относятся к войне и революции. Есть в книге и цикл стихов, которые отразили пребывание Мандельштама в Крыму во второй половине десятых годов, часто эти «крымские» стихотворения переплетаются с эллинскими мотивами.

Петербург в «Тристриа» — это уже не величественный город с печатью Рима, который своими гармоничными постройками учил молодого поэта в «Камне», что «красота не прихоть полубога, // А хищный глазомер простого столяра». В известном стихотворении, написанном через год после революции, поэт оплакивает свой город:

На страшной высоте блуждающий огонь,  
Но разве так звезда мерцает?

Прозрачная звезда, блуждающий огонь,  
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,  
Зеленая звезда мерцает.

О если ты звезда — воды и неба брат,  
Твой брат, Петрополь, умирает.

Смерть своего города поэт, определивший акмеизм как тоску по мировой культуре, воспринимает особенно трагично. Его повторяющийся эмоциональный рефрен о гибели Петербурга и звучит, как плач хора античной трагедии. Город показан во власти угрожающих ему стихийных сил, над ним несется фантастически-кошмарный корабль-чудовище с распростертыми крыльями.

Однако, в стихотворении есть и отрицание смертности города, которое до сих пор, повидимому, не было замечено исследователями. Во-первых, Петербург носит наименование Петрополя и, таким образом, приобщен к *вечным* городам. Во-вторых, в последней строфе Петрополь уподобляется звезде, звезды же бессмертны. Петербург, таким образом, становится бессмертным; умирает только отражение звезды, а Петрополь-звезда будет жить вечно.

Утверждение, что Петербург-Петрополь переживет апокалиптическое для России время отражает в какой-то мере отношение Мандельштама к революции, как к этапу исторического развития. Но слишком страшен революционный Петербург в «великий сумеречный год», как сказал поэт в стихотворении, написанном, тоже в 1918 году. И вот, «чуя грядущие казни, от рева событий мятежных // Я убежал к nereидам на Черное море» — говорит он об этом времени. Пребывание на Черном море, которое поэт связывал с морем Средиземным и Элладой, дало ряд лучших его стихотворений. В противоположность «петербургским» стихам, они окрашены радостной тональностью. Наиболее отчетливее, пожалуй, радость звучит в стихотворении «На каменных отрогах Пиерии».

Бежит весна топтать луга Эллады,  
Обула Сафо пестрый сапожок,  
И молоточками куют цикады,  
Как в песенке поется, перстенек.  
Высокий дом построил плотник дюжий,

На свадьбу всех передушили кур,  
И растянул сапожник неуклюжий  
На башмаки все пять воловьих шкур.

В своей второй книге воспоминаний Надежда Мандельштам называет эту эллинскую идиллию «нашими брачными стихами». Ко времени написания этого стихотворения относится ее встреча и близость с поэтом. «Перед тем как написать стихи о свадьбе и черепахе, — пишет вдова поэта, — Мандельштам перелистал у меня в комнате томик переводов Вячеслава Иванова из Алкея и Сафо... Из переводов и пришел 'пестрый сапожок'...» Таким образом, стихи возникли на стыке двух впечатлений — чтения Сафо и личного счастья.

В этой радостной картине эллинской весны чувствуется большая любовь ко всему земному. Античное прошлое здесь показано как настоящее, как живущее в наше время, и песни древних певцов окрашены живым чувством — это не холодная неоклассическая стилизация восемнадцатого века, против которой поэт сам протестовал (см., например, его статью «Заметки о Шенье»).

Просветленные и идиллические стихи «Тристриа» — это, в какой-то мере, последняя дань Мандельштама прекрасному, источники которого он видел в классическом прошлом, оставленном ему в наследие древними певцами, «слепыми лирниками», как он сказал в начале стихотворения об эллинской весне. В его творчестве 20-х годов звучит усталость, безнадежность, ужас перед развертывающимися событиями. «Блаженное наследство» древних певцов, так щедро питавшее его ранее творчество, не приносит уже ему утешения.

И подумал: зачем будить  
Удлиненных звучаний рой,  
В этой вечной склоке ловить  
Эолийский чудесный строй —

говорит поэт в стихотворении, написанном в 1922 году.

Стихи 1921-1925 г.г., которые вдова поэта называет «оборванной и задушенной книгой» начинаются строкой «Нельзя дышать, и твердь кишит червями», и эти слова как бы создают тематический лейтмотив для творчества этого периода, состоящего всего из двадцати стихотворений.

Вряд ли у какого-либо другого русского поэта было такое

острое ощущение того времени, когда, по выражению Ахматовой, «приближался не календарный — // Настоящий Двадцатый Век», как у Мандельштама. Хорошо известно его стихотворение «Век», написанное в 1923 году, полное мучительных мыслей и предчувствий:

Век мой, зверь мой, кто сумеет  
Заглянуть в твои зрачки  
И своею кровью склеит  
Двух столетий позвонки?

По словам Мандельштама, «земля гудит метафорой». «Век» и построен на развернутой метафоре «век» — «зверь». Может быть, сравнение, в какой-то мере, подсказано и звуковой близостью слов: *век, зверь*. Сравнение века со зверем, однако, подсказывалось самими событиями.

В «Веке» звучит типичное для творчества Мандельштама стремление к синтезу старого и нового, но к этому мотиву примешивается новый зловещий мотив кровавого жертвоприношения. Позвонки века-зверя могут быть склеены только кровью.

Чтобы вырвать жизнь из плена,  
Чтобы новый мир начать,  
Узловатых дней колена  
Нужно флейтою связать —

это еще одна попытка связать минувший век и нынешний при помощи искусства. Но век поэта уничтожает жизнь — Снова в жертву, как ягненка, / Темя жизни принесли / — и гибнет сам — Но разбит твой позвоночник, / Мой прекрасный жалкий век.../.

В новом советском однотомнике впервые напечатано заключительное восьмистишие «Века», восстановленное поэтом, согласно примечаниям, в 1936 году. Вот оно:

Кровь-строительница хлещет  
Горлом из земных вещей  
И горячей рыбой мешет  
В берег теплый хрящ морей.  
И с высокой сетки птичьей,  
От лазурных влажных глыб  
Льется, льется безразличье  
На смертельный твой ушиб.

Две начальные строки этого восьмистишия являются повторением строк пятой и шестой восьмистишия первого. Очевидно поэт хотел усилить темы гибели и агонии таким повторением.

Большинство стихотворений 1921-1925 годов недвусмысленно, хотя и в затрудненной ребусной форме, говорит об отношении поэта к действительности того времени. Даже в последних воронежских стихах, когда Мандельштаму пришлось жить в совершенно нечеловеческих условиях, нет того метафизического ужаса перед временем и веком, как в произведениях этого периода. В стихотворении «Нашедший подкоvu», написанном в 1923 году, поэт говорит:

Время срезает меня, как монету,  
И мне уж не хватает меня самого.

Подобно Ахматовой, у Мандельштама был долгий, почти пятилетний период поэтического молчания. Стихи вернулись к нему в 1930 году. Для его лирики тридцатых годов характерны как бы две тональности: с одной стороны, в ней и страх, и отчаяние, с другой — большая любовь к жизни, выраженная в таком оксиморонном сочетании, содержащемся в последней строке такого четверостишия:

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.  
Чую без страха, что будет и будет гроза.  
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. —  
Душно, и все-таки до смерти хочется жить.

Может быть, как бегство от этой «душной», «предгрозовой» атмосферы перед арестом поэта в 1934 году были написаны в «ящик стола» «Восьмистишия», — цикл состоящий из одиннадцати отрывков. В них поэт далек от происходящего вокруг и обращается к темам эстетики, философии и творчества — своего собственного и тех чужих певцов, блуждающие сны которых он получил в наследство. Теме взаимосвязи творчества, природы и жизни посвящено седьмое восьмистишие:

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме,  
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,  
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,  
Считали пульс толпы и верили толпе.  
Быть может, прежде губ уже родился шопот

И в бездревесности кружились листья,  
И те, кому мы посвящаем опыт,  
До опыта приобрели черты.

Близкую мысль мы встречаем в лирике А. К. Толстого: «Тщетно, художник, ты мнишь, // Что творений своих ты создатель...»

Известно, что непосредственной причиной ареста Мандельштама послужили его пресловутые стихи о Сталине. До этого поэту делалось много всяких предупреждений, но эти стихи, повидимому, переполнили чашу терпения власть имущих. Думается, что в аресте Мандельштама есть некая ирония судьбы — поэт, которому так часто ставили в упрек отчужденность от действительности, погиб как раз за описание этой самой действительности:

Мы живем, под собою не чуя страны,  
Наши речи за десять шагов не слышны...

Вдова поэта считает, что Мандельштам сознательно избрал себе род смерти, используя «безмерное, почти суеверное уважение к поэзии» среди советской верхушки. «Чего ты жалуешься, — говорил он жене, — поэзию уважают только у нас — за нее убивают».

Смерть за поэзию началась в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая, когда Мандельштам был в первый раз арестован. После короткого следствия поэт был выслан в Чердынь, а через несколько месяцев ему было разрешено переехать в им самим выбранное место ссылки — Воронеж. Здесь родились три «Воронежские тетради», составляющие последний этап творчества поэта. Отметим, что лучшие стихотворения воронежского периода вошли в советский однотомник.

Есть в «Воронежских тетрадах» подчеркнуто биографические стихи — одни, напоминающие кошмары Гойя, но есть и поражающие спокойствием и бесстрашием обреченности:

Еще не умер ты, еще ты не один,  
Покуда с нищенкой-подругой  
Ты наслаждаешься величием равнин  
И мглой, и голодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете  
Живи спокоен и утешен —

Благословенны дни и ночи те  
И сладкогласный труд безгрешен...

В воронежские стихи впервые широко вошла в творчество Мандельштама среднерусская природа с ее просторами — с черноземными полями, с морозными зимами —

В лицо морозу я гляжу один:  
Он — никуда, я — ниоткуда,  
И все уютится, плоится без морщин  
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —  
Его прищур спокоен и утешен...  
Десятизначные леса почти что те...  
А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб безгрешен.

В Воронеже поэт снова улавливает «эолийский чудесный строй», почти утерянный в двадцатых годах. В следующих стихах он совершает так же, как в своем раннем творчестве прогулку по кругозору античности:

Где связанный и пригвожденный стон,  
Где Прометей — скалы подспорье и пособие?  
А коршун где — и желтоглазый гон  
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть — трагедий не вернуть,  
Но эти наступающие губы,  
Но эти губы вводят прямо в суть  
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Некоторые литературоведы считают «Воронежские тетради» вершиной творчества Мандельштама; так, например, определяет их Н. Струве во вступительной статье к третьему тому американского издания произведений поэта. Думается, однако, что такая оценка воронежского творчества слишком высока. Хотя и воронежский период дал немало стихотворений, свидетельствующих о том, что даже нечеловеческие условия жизни не могли сломить дар поэта, все же дар этот был надломлен. Некоторые стихотворения представляются как бы обломками этого дара. Кроме того, многое в воронежской лирике фрагментарно, как-бы недоработано.

Удивляться, конечно, этому нечего. Удивляться можно только тому, что поэт мог все-таки продолжать писать в той обстановке, в которой ему пришлось жить. Больной (в последний год в Воронеже он уже не мог из-за одышки один выходить на улицу), совершенно лишенный средств к существованию, живший на скудную помощь немногих оставшихся друзей, он продолжал работать, потому что — как писал в начале 1937 года, последнего своего творческого года —

Народу нужен стих таинственно-родной,  
 Чтоб от него он вечно просыпался  
 И льянокудрою каштановой волной —  
 Его дыханьем умывался.

В том же 1937 году, окончив срок ссылки, поэт вернулся с женой в Москву, но ему было там отказано в прописке. Бездомные и нищие Мандельштамы кружили год в стокилометровом радиусе вокруг запретных для бывших ссыльных городов. Весной 1938 года им была выдана путевка в дом отдыха. Там в ночь с первого на второе мая поэт был снова арестован. И из новой ссылки не вернулся. Последние его дни, судя по рассказам очевидцев, были ужасны, точная дата смерти неизвестна.

Как и его друга акмеистских лет Николая Гумилева, смерть застала Осипа Мандельштама «посередине странствия земного» — так задумал назвать свою очередную книгу стихов Гумилев перед своим арестом и расстрелом. К обоим поэтам могут быть отнесены строки третьего члена славной акмеистской триады Анны Ахматовой:

Так просто можно жизнь покинуть эту.  
 Бездумно и безбольно догореть,  
 Но не дано Российскому поэту  
 Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец душе крылатой  
 Небесные откроет рубежи  
 Иль хриплый ужас лапою косматой  
 Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

*Д-р Алла Климова  
 Колумбийский университет*

## ПИСЬМА И. А. БУНИНА К Н. А. ТЭФФИ

*Везде в переписке Ивана Алексеевича с Надеждой Александровной, часть которой здесь публикуется, заметно высокое мнение Бунина о художественных произведениях Тэффи. В связи с этим интересно процитировать то, что Тэффи собственноручно написала на экземпляре своих воспоминаний, сохраняемом в русском архиве Йельского университета: «Ивану Алексеевичу Бунину. К подножию ног его сии бременной жизни моей дни с любовью, Тэффи».*

*Бунинские письма публикуются с оригиналов, хранящихся в Колумбийском университете, с разрешения Архива русской и восточно-европейской истории и культуры, хранителя которого, Л. Ф. Магеровского, я сердечно благодарю. Письма печатаются по новой орфографии, сокращения в оригинале заменены полной формой.*

*А. Зверс, германо-славянское отделение  
Ватерлооского университета в Канаде.*

22.VIII.32

Дорогая Надежда Александровна,

Плачу — рыдаю от восторга — прочел сейчас: «Как индюшка, запутавшаяся в жемчужных нитках» — и целую Ваши гениальные ножки.

Ваш Иван Бунин

П.С. Павлу Андреевичу<sup>1</sup> сердечный привет.

Дорогой друг, /.../ Вот уже истинно — неизменная радость Вы для меня! Вы знаете, что бывает с подростками, с юношами, когда они обожают какого-нибудь дядю: дядя чиркнул спичкой, чтобы закурить, «чему-то слегка улыбнулся, только и всего, а ты уж замер, ждешь, что он опять скажет сейчас что-то необыкновенное, чудесное». Так вот и я всегда по отношению к Вам. (Да и действительно чудесного сколько от Вас бывает!)

Дай Бог Вам здоровья и возможно меньшей меры всяких наших человеческих горестей.

Привет Павлу Андреевичу.

26.VI.35

Ваш Иван Бунин

---

<sup>1</sup> Павел Андреевич Тикстон. Друг Тэффи с 1924 до его смерти в 1935 г.

25.IV.43

Воистину Воскресе!

И вас с Праздником, дорогая, милая сестрица! Целую Вас трижды от всей души. Грустно, что Вы все нездоровы, — тем более жалею Вас, что все чаще и чаще испытываю теперь сам, что значит нездоровье, слабость, безнадежность, бремя лет и всего прочего. И радостно, что, не взирая ни на что, Вы попрежнему столь удивительны, — чего стоит одно это: «недаром чорт и человек начинаются с одной буквы» или: «и с той поры стала очень популярна!» Вот кто-нибудь другой брякнул-бы: «знаменита» вместо «популярна» — и было-бы совсем не то. Поистине великий Вы музыкант!

Благодарю Вас очень, очень за внимание ко мне — за то, что читаете меня, — ведь и читателей таких, как Вы, днем с огнем поискать. А ведь меня «писаньица мои и судьба их все еще занимают», как писал Петрарка в старости, в каковую, увы, и я уже снисхожу: еще год, полтора года тому назад мог без усталости писать восемь часов в день (и тогда написал целую книгу новых рассказов),<sup>2</sup> а вот теперь и двух часов не пропишешь, думаешь все одно: Да и к чему, для чего? И все не мило, все постыло... А Вы — неужели ничего не пишете — хоть для ящика своего письменного стола до поры до времени? Пишите, дорогой друг. И да хранит Вас Бог. Ваш Иван Бунин. П.С. Съездить в Ниццу — это у нас теперь целое событие. Но я как раз послезавтра еду туда и, если успею, зайду к Вашей девице.

9.8.43

Дорогая сестрица,

6-го мы все «висели» на радио — и увы, ничего не услышали! Треск, гром, землетрясение! Все же поздравляю Вас с новым званием — композиторским!<sup>1</sup>

Как всегда, рад и благодарен Вам, что написали еще одно чудесное письмо. Рад чрезвычайно и тому, что чувствуете себя лучше. А я что-то все слабею, довольно задыхаюсь на лестницах и т.д. Утешаюсь, что все это от коровьего питания — в старости все еще не хочется сознаться.

И тронут и огорчен, что читаете меня — огорчен потому,

<sup>2</sup> Бунин имеет в виду свои *Темные Аллеи*.

<sup>1</sup> Бунин был тогда в Грассе на юге Франции.

что 1/3 «Нивского издания»<sup>2</sup> есть одна из самых жгучих ран моего сердца — столько там позорного для меня! Валял я тогда что попало и как попало — и тотчас продавал — был беден и не придавал никакого значения тому, что печатал. Да и пьянствовал порядочно...

Целую Вашу руку с неизменной любовью.

Ваш Иван Бунин

Поклоны — В. Б.<sup>3</sup> и всем летним домочадцам его.

23.2.1944

Милая, дорогая сестрица, снова кланяюсь Вам в ножки за Ваши добрые слова ко мне — спасибо, спасибо, спасибо! Пишу Борису, чтобы он дал Вам те несколько рассказов из моей новой книги,<sup>1</sup> которые у него. И очень, очень хочется, чтобы Вы прочли их (это ведь сущая правда, что Вы пишете: «Кто-же как не я...») и очень боюсь, что на этот раз я возмущу Вас, — да, даже и Вас, и притом незаслуженно, ибо, как я вчера Наталье Ивановне<sup>2</sup> писал, очень огорченной кое-чем «грубо-натуралистическим» в этих рассказах, содержание их вовсе не фривольное, а трагическое. Есть несколько слов и строк в двух трех из этих рассказов действительно слишком резких, но я их для печати уже вычеркнул, а все прочее я готов защищать до последней капли крови, — это все прочее совершенно необходимо в своем «натурализме», то есть вещественности, без которой (т.е. с абстрактностью) никак нельзя сказать ничего не только «трагического», но просто не стоит город городить. Вот Зайцевы и Наталья Ивановна бранят меня даже за то, что я решился в двух местах упомянуть (только упомянуть!) о женской периодической болезни, а я их спрашиваю, почему можно описывать и расписывать, например, роды, а про это даже словечка нельзя сказать, — про то, что даже в Библии говорится (Рахиль Лавану: «прости, господин, не могу встать, ибо у меня обыкновенное женское.»)? И еще спрашиваю: почему живописцы и ваятели могут изображать

<sup>2</sup> т.е. издания т-ва А. Ф. Маркса в 6-и томах, П. 1915.

<sup>3</sup> Не удалось установить. кто — В. Б.

<sup>1</sup> т.е. Зайцеву, которому Бунин посылал копии им только что написанных рассказов. См.: письмо Бунина от 19.XI.43 Зайцеву, хранящееся в Русском Архиве Колумбийского университета.

<sup>2</sup> Вдова профессора Кульмана.

женское тело, например, или всяких сатиров и фавнов с крайней «натуралистичностью», а мы, писаки, не можем? Впрочем, не буду оправдываться, — как хотите, так и судите. А прочитав напишите мне Ваше мнение с полной откровенностью — не обижусь ни в каком случае. Вся эта книга называется по первому рассказу — «Темные аллеи» — в котором «героиня» напоминает своему первому возлюбленному, как когда-то он все читал ей стихи про «Темные аллеи» («Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи») — и все рассказы этой книги только о любви, о ее «темных» и чаще всего очень мрачных и жестоких аллеях. Целую Ваши дорогие руки от всей души.

Ваш Иван Бунин

11.4.44

Дорогая, милая сестрица,

Очень благодарю Вас, очень — за добрые слова обо мне в письме к Вере.<sup>1</sup> Счастлив, что Вы поняли мои писания, — Господи Боже мой, как боюсь, что последние! — не так, как многие другие поймут. Жалею, что не все из них у Вас было, — не говоря уже о том, что написано до 40-го года, тут в Грассе. Вообще, если бы Вы видели *всю* эту мою новую книгу, она бы еще немножко выиграла. А она состоит из трех отделов (кое-что из первого, напечатанного в Париже, Вы, может быть, помните).

I. Темные аллеи. Кавказ. Баллада. Апрель. Стена. Муза. Поздний час.

II. Мамин сундук. По улице мостовой. Руся. Антигона. Смарагд. Гость. Визитные карточки. Волки. Зойка и Валерия. Таня. В Париже. Галя Ганская. Генрих. Три рубля. Натали.

III. На постоялом дворе. «В такую ночь...». Лита. Начало. Качели. Кума. Речной трактир. Дубки.

Из второго отдела я не послал Зайцеву, кажется, только «Три рубля», из третьего, кажется, послал только «В такую ночь». Список этот, думаю, Вам совсем не нужен. Но что делать — хочется поделиться своей последней литературной радостью с таким редким другом, как Вы!

Целую Вашу руку, дорогая моя,

Ваш Иван Бунин

<sup>1</sup> Вера Николаевна — жена автора.

19.5.44

Милая, дорогая моя, какой же я «учитель» — Вам-то, которая всю жизнь как соловей пела и все еще все так же поет, совершенно не замечая того, рассыпая блеск! (Вот хоть это: «Ave, Caesar, morituri...»). Выходит будто странно — будто мы обмениваемся комплиментами — да как же иначе быть? Вы кое-что — да и больше — цените во мне, а я, повторяю, клянусь Богом, всегда, всегда дивился Вам — никогда за всю жизнь не встречал подобной Вам! И какое это истинное счастье, что Бог дал мне знать Вас! Но — точка, а то наговорю лишнего — тем более, что уже второй час непроглядно темной, проклятой ночи без единого огня как будто во всем мире, в мертвой тишине, среди которой иногда ни с того ни с сего частым, частым стуком бьют пулеметы. Вот Вы похвалили меня (а Вы долго молчали и я боялся, честное слово, боялся, что Вы только из приличия написали в давнем письме к Вере несколько добрых слов обо мне, — что рассказы мои Вам не понравились) — Вы меня похвалили в нынешнем письме и я, как самолюбивый, честолюбивый, гадкий подросток, засопел, покраснел от радости — и вытащил из кармана еще тетрадку — «вот у меня еще есть...»: хочу этим извиниться, что вздумал сейчас послать Вам то, что Вера *нынче только* что переписала. Прочтите и ради Бога не чувствуйте себя обязанной опять писать мне о моих писаниях. Прочтите и будьте добры передать этого «Ворона» Зайцеву, а у него, если захотите, возьмите еще 5 из моих последних (лучше чем этот) рассказиков — совершенно диких по своему несоответствию особенно тем последним дням, что дошли до нас, но, может быть, вполне законных по тому, видно, вечному, что бывает в чуму и во все семь казней египетских, о чем говорил тот, ни с кем в мире несравнимый, у которого я бы поцеловал александрийский сапог с усеченным носком (*родная* внучка которого умерла в прошлом августе в Ницце в нищете, после нескольких лет тяжелого труда, таскания для перепродажи всякого старого хлама, — Елена Александровна фон Розен Мейер, дочь «Сашки», первого сына Александра Сергеевича, которую я имел счастье узнать). А теперь простите — устал, начинаю бормотать несвязно, ложусь спать. Писал Зайцевым, как живем и мы, какими ржавыми колючками и минами, черными вывесками с белыми черепами

на деревьях окружены, — спросите их, если захочется. Горячо целую Вашу руку.

Ваш Иван Бунин

21.3.45 12 ч. ночи

*молодая луна, а в первый раз услышал лягушек — весна!*

Милая, дорогая сестрица, как благодарить мне Вас за Ваши письма, за Вашу всегдашнюю доброту ко мне! Мне даже немножко страшно — всю жизнь, всегда, кажется, вслед за чем-нибудь хорошим судьба была меня по голове, так что я, ей-Богу, уверился, что кто-то сидит за углом и бьет меня в некую минуту. Так и тут — все боюсь, что Вы вдруг скажете: «Нет, я ошиблась в нем!» Не думайте, что шучу, — верю в кого-то злого за углом.

«Возглавлять» я, дорогая моя, ничего не способен. И на что я «союзу»?<sup>1</sup> *Теперь я особенно ото всего уклоняюсь.*

От Вашего дома «дуло»? От нашего тоже, но все же, конечно, не так, как от Вашего. Но вот — как написано выше — весна!

Опять весна. Как будто неземной  
Какой-то дух ночным владеет садом.  
Иду я молча, медленно — и рядом  
Мой темный профиль движется со мной.  
Еще аллея не сумрачен приют  
Среди деревьев небесный свод синее,  
*А я иду — душистый холод веет*  
*В мое лицо — и соловьи поют...*

Совершенно божественные стихи Фета!<sup>2</sup> Так и я сейчас ходил по саду. Только соловьи не пели. Но лягушки весной не хуже соловьев.

Не верю, не могу и не хочу верить, что Вы потеряли свой «защитный цвет». А что Вам «все больно», этому верю. И это не доказательство, что потеряли. Кстати: если бы Вы знали, как больно и мне все! То есть, воспоминания, которые теперь, как у всех, чья жизнь кончена, единственное, что мне осталось.

Пишу ли роман? Написал великое множество заметок для

<sup>1</sup> Это — союз русских писателей и журналистов.

<sup>2</sup> Бунин не совсем точно цитирует это стихотворение Фета 1847 г. (См.: А. А. Фет, *Стихотворения*, М.-Л., 1963, стр. 161).

него, но романа, думаю, не одолею. Нет, настоящего никогда не напишешь, не выразишь!\*

Зинаида Николаевна... Ох, об ней поговорим при свидании — сложное дело.

В Париже надеемся быть в конце апреля. С ума схожу — как, как добраться до него! И особенно при той нищете, в которой я уже давно по горло нахожусь! (Не верьте брехне обо мне).

Горячо целую Вашу бесценную руку.

Ваш Иван Бунин

Дорогая, милая Сестрица, самая главная Надежда Александровна!

Поздравляю, поздравляю  
И хвостом в письме виляю,  
Ибо нету сил déjà  
Одолеть два этажа!

Ваш верный раб Иван Бунин

П.С. Вера тоже поздравляет и целует Вас.

28 сентября 1945 г.

8 августа 48

Милая, дорогая сестрица, я не могу, по той глупости, бездарности, в которую впал, лежа почти месяц в постели, сказать прилично что-нибудь о Вашем новом рассказе, — скажу одно: там столько пронзительного, удивительного, что могла нацарапать только Ваша гениальная крупная лапка, которой Вы всю жизнь царапали смаху, даже, может быть, не перечитывая нацарапанного. На этот раз перечитайте, кое-где почеркайте и велите переписать и поскорее отправьте в «Новый Журнал», а не то отдайте в «Новоселье», коли оно будет прилично политически.<sup>1</sup> Вот. А за всем тем целую Ваши ручки и ножки.

Ваш верный раб Иван Бунин<sup>2</sup>

6.3.1949

Сестрица дорогая, милая, плохи дела «с моим простым и очевидным телом»! (это строчка из недавно напечатанного

\* Да и стар я уже для этого — не достаточно глуп, чтобы забиться. А ведь это необходимо — некое одурение, хмель, глупость...

<sup>1</sup> По всей вероятности это — рассказ «Слепая», появившийся в *Новоселье* в 1948-ом г.

<sup>2</sup> Продолжение письма не печатается.

в «Русских Новостях» стихотворения Вадимки Андреева, «пламенного патриота» Сталинской России).<sup>1</sup> Плохи потому, что дошел я до последнего безобразия — /.../<sup>2</sup> чуть не 2 месяца провалялся в постели, как Вы знаете, и худ и дряхл стал как мумия. Когда глазам стало лучше и кое-как одолел я с помощью Беляева воспаление моего левого легкого, я прочел «Новоселье»,<sup>3</sup> потом «Возрождение»,<sup>4</sup> там и тут восхищался Вами, потом ужаснейший роман Мельникова-Печерского «В лесах», теперь одолеваю «Дон Кихота», которого беспрерывно бьют все встречные и поперечные, одолеваю в тщетной надежде зацепиться хоть за что-нибудь испанское — Вы, верно, уже написали какую-нибудь штучку, а я просто в отчаянии: почти убежден, что придется, со стыдом и слезами, возвращать Рогнедovu аванс! А из каких средств возвращать?

Прилагаю письмо Веры, а сам пока кончаю, — ужасно устал, написав вот этот листок Вам и записочку Зурову на счет квартиры. Целую Вас и прошу позволения послать Ваши «басни» Галине и Марге:<sup>5</sup> можно? От последней басни (про Соловья и Генерала) я в особенном восторге!

Ваш Иоанн Рыдалец<sup>6</sup>

П.С. «Дон Кихота» я читал еще в детстве, — жалкое и сокращенное издание, жалкий перевод. Сейчас читаю полный, отличный перевод. Умен и талантлив был Сервантес на удивление!

28.3.49

Милый, дорогой друг, /.../ Дай Бог не сглазить, — стал садиться за стол, даже иногда (но «с большими слезами, ма-

<sup>1</sup> Первая строфа стихотворения Вадима Андреева, появившегося 28 января 1949-го г. в *Русских Новостях*:

С моим простым и очевидным телом  
Я вправе делать все, что я хочу:  
Уйти из жизни очень поседелым  
Иль сжечь его, как тонкую свечу.

<sup>2</sup> Неразборчиво написанное слово.

<sup>3</sup> Бунин здесь опять, должно быть, ссылается на «Слепую».

<sup>4</sup> В первой тетради *Возрождения* за 1949 г. появились два стихотворения Тэффи: «Опять тот сон! Опять полудремота! / Ни образов, ни слов не уловлю...» и «Старик, похожий на старуху, / К роялю кресло подкатив /.../».

<sup>5</sup> Галина Кузнецова и Маргарита Степун.

<sup>6</sup> Название рассказа, написанного Буниным в 1913 г.

маша!») пробираюсь с костылем по лестнице вниз, «на солнышке» возле дома... Вы пишете: «Ненавижу богадельни, стариков, сидящих на со-олнышке-е...» Это совершенно и мои чувства. Но подумайте, каково же мне с этими чувствами сидеть именно таким стариком «на солнышке»! Мне, еще недавно бывшему орлом и даже львом, по слову Бальмонта!

Спасибо Вам, сестрица моя чудесная, за Ваши заботы о моих испанских муках! Я слава Богу уже не мучаюсь! Махнул на все рукой, ухватился за первую залетевшую в голову чепуху, просидел два вечера, от 9 до часу, надрал 12 страниц<sup>1</sup> (больше не хватило ни ума ни сил), а потом завернулся в одеяло, как Соня Мармеладова в шаль, и только «плечики» мои «вздрагивали»... Дорого бы дал почитать, что *Вы* написали!

Тхор<sup>2</sup> наконец написал мне приглашение, — так же, как и Вам. Дадите-ли что? У меня хоть шаром покати — ни странички *подходящей*! А быть еще раз Соней Мармеладовой нет охоты. Ведь я только в молодости, в дни и годы полнейшей нищеты, сбывал на литературной толкучке чорт знает что...

Погода чудесная, а все еще надо топить. Пальмы, синее-синее море, а каждый день надо прикупать колбасу, зеленые бананы...

Целую Ваши ручки и ножки.

Ваш Иван Бунин

Вера очень, очень целует Вас.

П.С. Марга и Галина давным давно опять в Мюнхене.

27.4.1949

Воистину Воскресе!

Трижды целуем Вас, милая, дорогая, поздравляем с Светлым Праздником, просим Бога, чтобы дал Он Вам здоровья и всякого благополучия!

Опять огорчили Вы нас *чрезвычайно* Вашим морфием. Аминад<sup>1</sup> когда-то написал мне: «Дорогой, самый главный Иван Алексеевич!» Вот и я пишу Вам так: Дорогая, самая главная Надежда Александровна! Еще раз умоляю Вас — опять и

<sup>2</sup> Тхор: И. И. Тхоржевский (1878-1951), редактор *Возрождения*.

<sup>1</sup> По всей вероятности это — рассказ «Ночлег», датированный 23 марта 1949 и появившийся в 3-ей тетради *Возрождения* того же года.

<sup>1</sup> Дон Аминадо: Аминад Петрович Шполянский (1888-1957).

опять: позовите же наконец какогонибудь знаменитого француза! Верю горячо, что все таки *облегчит* он Вашу болезнь! Помните, как дороги Вы не одним нам, а великому множеству людей, Вы, совершенно необыкновенная! Не послушаетесь — Бог Вам судья!

Простите, что только нынче собрался написать Вам (получив Ваше письмо): последние дни тут завернуло Бог знает что — дождь, холод, ветер... И я был совсем никуда. Нынче солнце. /.../

Еще раз горячо целуем Вас.

Ваш Бунин

10 сентября 1952

Милая сестрица, разбираю свой архивик для отправки в Нью-Йорк, в Архив при Колумбийском Университете, нашел древний номер «Иллюстрированная Россия»<sup>1</sup> с Вашей статьей о моих стихах («По поводу чудесной книги», — «Избранные стихи Бунина») и целую Ваши ручки и ножки за хвалу мне и за пощечины сукину сыну Пастернаку.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Именительный падеж в оригинале.

<sup>2</sup> В статье Тэффи пишет о том, как несколько лет тому назад Эренбург в Париже читал стихи Пастернака, которые ей были совершенно непонятны. Сперва она даже не понимала, что Пастернак — поэт; она вспомнила детскую песенку: «Танцевала рыба с раком, / А петрушка с пастернаком». Дальше она пишет: «Заслуга писателя — излагать ясно глубокие и сложные мысли, а не наоборот: говорить сумбурно о плоском и ненужном. Передо мною книга Бунина «Избранные стихи». Это не кликушество, не тайнопись. Здесь поэт не является только орудием некоей высшей воли. Он творит сам, сознательно, что хочет и как хочет. Он никогда не опьяняется словами, не бьется в падучей творческого экстаза. Он ясен, спокоен и великолепен». (*Иллюстрированная Россия*, 216 /1929/, стр. 8).

Верный раб Вам Иван Бунин

Публикация А. Звеерс

# МОСКОВСКИЕ ПРОТОДИАКОНЫ

О. МИХ. ХОЛМОГОРОВ

В Третьяковской галерее, в залах, отведенных советскому искусству, среди однообразной вереницы тяжелых, сытых лиц советских вождей выделялась необычайной выразительностью голова неизвестного старика, вылепленная скульптором Меркуровым, прославленным более всего параднодеревянными изображениями Ленина. Наверное, редко кто из посетителей галереи, обалдев от унылой монотонности советского искусства, обращал внимание на эту странную голову: большой нос, высокий лоб, резкие складки на массивном узком лице, суровый взгляд из-под колючих бровей.

В монографии А. Михайлова, посвященной художнику М. В. Нестерову, есть репродукция картины «На Руси». На фоне типично нестеровского пейзажа художник собрал в одном крестном ходе святых, в России просиявших, богоискателей древних и новых, и просто благочестивых православных. Есть на картине Достоевский, есть и Толстой, правда, совсем с краю. В середине картины — царь московский в шапке монаха, во всем парадном одеянии. Лицо царя, если взглядеться, это — лицо неизвестного старика, вылепленное Меркуровым.

В той же монографии можно найти и отдельный этюд головы царя московского: тот же нос с горбинкой, те же спокойствие и величие, только на этюде лицо моложе. Под этюдом имя: М. К. Холмогоров. И хотя М. К. Холмогоров изображен в скуфье, указывающей на принадлежность к духовенству, не упоминается, что М. К. Холмогоров никто иной, как знаменитый московский протодьякон о. Михаил Холмогоров — певец масштаба Федора Ивановича Шаляпина.

Впервые я увидел и услышал Холмогорова в начале двадцатых годов, в разгар НЭПа и торжественных богослужений в Москве. Это было для Русской Православной Церкви неповторимое время внутреннего расцвета перед началом массовых гонений. В Москве собралось много архиереев, которых

тогда не пускали в епархии, очевидно чтобы облегчить обновленцам захват приходов вне Москвы. Архиереи эти постоянно приглашались на престольные праздники в еще не закрытые «сорок сороков» московских церквей. Верующие, чувствуя беду, хлынули в церкви и не скупились на пожертвования. В Москве, в разных храмах, пел не один десяток первоклассных хоров, руководимых замечательными регентами: Данилиным, Чесноковым, Юховым и другими. Отовсюду привозили протодьяконов с исключительными голосами. Автор уже писал в статье в «Новом Русском Слове», о Максиме Дормидонтовиче Михайлове, в то время протодьяконе, а начиная с 30-х годов — солисте Большого театра, народном артисте. У Михайлова были соперники, равные ему или даже превосходившие его, как, например, очень быстро арестованный Лебедев. Протодьякон Михаил Холмогоров стоял как бы в стороне, был на особом положении — его не сравнивали с другими. Прежде всего, по всеобщему мнению, Холмогоров был вне сравнения в чисто музыкальном отношении. Он окончил Филармонию с золотой медалью и, вероятно, мог бы стать на сцене вторым Шляпиным, конечно, совершенно другого стиля и темперамента. Но Холмогоров пошел служить Православной церкви. Я не знаю даты его рождения, но перед Второй Мировой войной ему было около семидесяти лет, и, значит, он должен был родиться около 1870 г., а окончить Филармонию в последнее десятилетие 19-го века.

Холмогоров был первым протодьяконом, пропевшим ектенью Чеснокова, написанную для хора и баса-солиста, очень близкую к обыкновенному протодьяконскому речитативу. Ниже будет приведен рассказ самого о. Михаила об этом небезинтересном для истории русской церковной музыки эпизоде.

Сам москвич, Холмогоров скоро завоевал любовь москвичей, но после восстановления патриаршества патриаршим архидьяконом стал знаменитый о. Константин Розов — фигура еще более колоритная, чем Холмогоров, исключительно одаренный артистически человек с громоподобным голосом, натура целиком народно-традиционная. К сожалению, о Розове я знаю только по рассказам московских любителей протодьяконов.

Во время ареста патриарха Тихона и временной победы «Живой церкви», Холмогоров, к сожалению, скомпрометировал себя малодушным присоединением к последней. Правда,

он быстро покаялся, был прощен лично патриархом, но неприятное пятно на его биографии так и осталось. Как раз в это время я начал усиленно посещать церковные богослужения и, конечно, сразу же заинтересовался Холмогоровым.

Очень прямой, на полголовы выше толпы, спокойный и необыкновенно величественный, о. Михаил запомнился с первого взгляда. Были протодьяконы-красавцы, вроде Лебедева, с лицом в стиле русского доброго молодца, или поразительно красивого сероглазого блондина Олерского. Но величия, подобного холмогоровскому, не было ни у кого другого. Правда, Холмогоров бывал величественен до холодка, но величественность эта всегда была строго церковная и очень подлинная. Иногда думалось: посмотреть бы на него в рыцарских доспехах, поставить с мечом на страже Грааля. Жесты Холмогорова напоминали жесты апостолов в «Тайной вечере» Леонардо.

Голос! Главное все-таки это голос Холмогорова. К сожалению, я знаю наверняка, что голос о. Михаила никогда не был записан и потерян теперь навеки. Мы с одним другом в конце 30-х годов уговаривали о. Михаила записать свой голос хотя бы как-нибудь. Тогда это можно было сделать всякому в «Парке культуры и отдыха». О. Михаил отказался наотрез. К тому времени он просидел около двух лет в тюрьме, ему было около семидесяти лет и голос, конечно, стал не прежним.

Голос Холмогорова напоминал шаляпинский полнотой звука и тем, что был басом скорее высоким, чем низким, достаточно большого диапазона и силы, но не феноменально сильным. Оба, когда надо было, наполняли звуком театр или церковь, но не в этом была их исключительность. Не автору этой статьи писать о всем известных качествах Шаляпина, тем более ставить кого-то с ним рядом, если не ошибаюсь, такое сравнение делали знаменитая Нежданова и известный дирижер Голованов — большие почитатели Холмогорова.

Шаляпин, гениальный певец и артист, больше всего выразил свой гений в музыкальной драме — в создании образов Бориса, Мефистофеля, Ивана Грозного. Холмогоров был весь молитва, глубокая духовная мистика, церковная невозмутимая торжественность. Никто, включая Шаляпина, не мог лучше Холмогорова исполнить «Верую» — соло-речитатив для баса и хора (если не ошибаюсь Архангельского). Когда Холмогоров возглашал — «Им же вся быша», делалось страшно. Казалось, что молящимся открывается тайна творения.

Были среди протодьяконов хорошие певцы, пели «Верую» артисты, пел «Верую» Шаляпин. Слушали мы внимательно по многу раз пластинку с «Верую» Шаляпина — но что-то было не так. В «Верую» Шаляпин был ниже Холмогорова, ниже потому, что сразу было видно, что поет артист, с театральной выразительностью. Холмогоров же пел «Верую», как священнослужитель.

---

Привели меня к Холмогорову друзья. Был разгар НЭПа, жили еще почти нормально. Рояль в небольшой гостиной был раскрыт.

— А мы тут музицируем, — приветливо забасил хозяин.

От радости у меня замерло сердце. Я еще никогда не слышал светских вещей в исполнении Холмогорова, а тут такое везение! Только переступил порог, и сразу все мечты сбылись.

О. Михаил возвратился к роялю. Первое, что меня поразило, это умение Холмогорова петь в небольшом помещении. Гостиная сразу наполнилась полным ласкающим звуком, ровно настолько, насколько это было нужно — ни громче, ни тише — точно в меру.

Позднее, в 1925 г. в церкви Василия Кессарийского, что занимала целый квартал на Тверской-Ямской, во время празднования юбилея Чеснокова я слышал, как Холмогоров пел с сборным хором в 150 человек. Голос парил над хором, как орел в небе, не заглушая хора, не заглушаемый хором, даже в моменты совместного форте.

«Благословляю вас, леса», — запел Холмогоров. И уже виделся Св. Иоанн Дамаскин, уходящий от роскоши дворца, славящий творение Божие, сливающийся с Божественной Красотой.

«Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре...», — романс, не очень подходящий для протодьякона, но снова полный ликующий голос затрепетал от ощущения красоты творения, утверждая:

«Но я любить могу лишь на просторе,  
Мою любовь, широкую как море,  
Вместить не могут жизни берега».

Вышел я от Холмогорова ошеломленный, с ощущением какой-то прочной полноты в сердце. Позднее в концлагере, поллярными зимними ночами, когда казалось, что и природа вот-

вот расколется от холода, я вспоминал голос Холмогорова и от этого становилось теплее.

Знакомство мое с Холмогоровым прервалось почти на десять лет — до середины тридцатых годов, когда я возвратился из концентрационного лагеря и полулегально, а потом и просто нелегально пребывал в Москве. Бродя по многочисленным друзьям и знакомым, которых, слава Богу, у меня было много, я часто встречал о. Михаила. Он был уже изгнан из Москвы и служил в Подмосковье (в церкви на станции «Пушкино»). Матушка его умерла. Был он несколько растерянный и загнанный, одевался в какую-то старую толстовку и старое пальто. Иногда мы ночевали в одной комнате у кого-нибудь из именитых друзей, и тут мне удалось узнать о. Михаила, как человека. И оказалось, что главное и неотъемлемое свойство его не величие непревзойденного певца, а необычайная искренность и простота, доходившая до простоватости, но действительно православная в своей полной безыскусственности и открытом признании собственных слабостей.

Говорил о. Михаил хрипловатым баском, самым обыкновенным. Красота появлялась только при пении и возгласах.

«Окончил я филармонию с золотой медалью. Некоторые советовали идти в артисты. Только мать мне и говорит: «Куда тебе, Миша, в артисты, с твоей то простотой? Заклюют тебя за кулисами. Иди уж ты в дьяконы — послужи Господу». Ну, я и пошел. Когда уже дьяконом был у Никиты-Мученика, на Басманной, Зимин все приглашал к себе. Бывало встретимся, а он и говорит: «Ну, как, отец Михаил, споете у меня хоть Пимена, хоть разочек? Ведь Пимен лицо духовное». «Лицо то Пимен, правда, духовное, — отвечаю — а что потом мои прихожане-огородники подмосковные скажут? Так и отказывался».

«А как это вы, о. Михаил, такого совершенства достигли?» — спрашивал я. «Вот 'Верую' у Шаляпина и то хуже вашего получается».

«Так ведь в церкви-то уж если 'О', то 'О' и есть, а не 'А', а Федор то Иванович славянские слова несколько на манер русских произносил. Нельзя этого делать в церковном пении».

Не сказал о. Михаил, что и букву «Я» не следует тоже слишком подчеркивать в церковном пении, да и «кипящие страсти в нем без надобности», как сформулировал один протоиерей в разговоре со мной несколько по другому поводу.

«А как вы в первый раз ектенью Чесноковскую спели?» — допытывался я. — «Ведь, говорят, многие считали невозможным петь, а не провозглашать ектеньи».

«Как же, как же, конечно, многие недовольство высказывали... Все сомневались — театральность, мол, получается. И миряне, и духовные лица сомневались, ну а другим нравилось. Так, чтобы спор решить пригласили схимника — о. Алексея из Зосимовой пустыни — пусть послушает и решит. Ну, а любители пения меня все просили: 'Не подведите, о. Михаил, уж постарайтесь как можете'. Послушал схимник ектенью внимательно и одобрил. «Ничего», говорит «в таком речитативе плохого не нахожу». «С тех пор вот и пою на торжественных богослужениях».

Рассказал мне как-то старик и о своем грехопадении в обновленчество — все так же безыскусственно и искренне.

«Арестовали когда святейшего патриарха Тихона, то все сразу замутилось. Появились «обновленцы». Слышим, все к ним присоединяются, ну, и мы тоже с о. протоиереем — настоятелем нашим — присоединились. Как только перешли к «обновленцам», мне сразу же предлагают быть у них архидьяконом. Как то смутно стало на душе... отказываюсь, а тут звонок. Открываю дверь: стоит незнакомый молодой человек в пальто, прилично одетый.

«Вы, — говорит — протодьякон Холмогоров?»

«Я».

«Почему это вы от архидьяконства отказываетесь? Напрасно — потом жалеть будете».

«Сказал, и ушел. Согласился я на архидьяконство, а святейшего то и выпустили. Все сразу к нему каяться повалили прямо в Донской монастырь. Поехали и мы с о. протоиереем. Приехали. Идем... молчим. Приходим, а там целая толпа собралась. Вышел келейник: переписал всех, кто на прием. Ждем. Выходит, читает имена, кого примет патриарх, а наших имен и нет. Стыдно так стало. Что же теперь будет? О. протоиерей домой возвратился, а я остался — не могу из Донского уйти. Так около заборчика внутри ограды, у покоев патриарха и хожу, и хожу... Зазвонили к вечерне. Снова толпа собралась, ждет, когда святейший выйдет. Я с краюшку тоже стал. Выходит. Все теснятся благословение получить, ну а я: куда теперь мне, да и стою далеко. Вдруг чувствую, что сзади меня будто подталкивают, а спереди расступаются. Не успел огля-

нуться, стою перед патриархом. Оробел. Посмотрел святейший на меня и спрашивает:

«Ну что, будешь у живоцерковников архидьяконом служить?»

«Я заплакал, а он меня и благословил. Слышу со всех сторон шепот: Холмогорова простил, Холмогорова простил!»

Слезы показались в голубых глазах о. Михаила.

Простота Холмогорова в советских условиях имела опасные стороны. О. Михаила знала и любила чуть ли не вся культурная Москва, сколько-нибудь близкая к церкви, а, иногда, и не очень близкая. Зная слишком многих, Холмогоров постоянно нарушал необходимые в советских условиях правила осторожности. Осторожность, например, доходила до такой степени, что когда к одному моему близкому другу как то зашел знаменитый художник Нестеров, то он даже боялся меня с ним познакомить — настолько тот момент (начало коллективизации) был опасен даже для Нестерова. А Холмогоров рассказывал про спрятанную тогда где-то картину того же Нестерова «На Руси».

«Ну, представьте себе провинциальный крестный ход (для московского протодьякона все, что находится за городом покрывалось словом провинция). Всех изобразил Михаил Васильевич: и народ, и святых, и интеллигенцию. Даже Достоевского и Льва Николаевича. Льва то Николаевича, правда, совсем с краю поставил, ну, а меня московским царем одел — в самой середине, с рыжей то бородой».

Рассказ про скульптора Меркурова был еще более характерным:

«Икон у них, конечно, нигде нет — коммунисты постоянно заходят, да и неизвестно верующие ли они сами. А тут встал я утром рано, все еще спали. Прохожу через одну комнату и вижу вдруг: в углу иконы и лампадки перед ними горят. Я потом спросил: откуда у вас такие иконы благолепные? А хозяйин и хозяйка в один голос: о каких иконах вы говорите? Никаких икон у нас нет. Вот ведь как бывает: может действительно икон у них не было. Зачем им неправду говорить? Только видел я иконы очень ясно, и неспроста иконы появляются, да еще с лампадками. Меркуровы люди добрые».

Одним из свойств о. Михаила было убеждение в том, что все люди вообще очень добрые и хорошие. Хорошим оказался и следователь, допрашивавший о. Михаила, просидевшего в

страшное ежовское время что то около двух лет в тюрьме по обвинению в создании террористической организации.

«Знаете, следователь — этакий молодой человек, всем интересовался, обходительный такой. На диван как то усадил и все расспрашивал, а тут другой военный вошел, так он испугался даже: вскочил, разволновался».

Не знаю, сознался ли о. Михаил в намерении отравить или застрелить Сталина, может быть, из сочувствия к «молодому человеку» и сознался, только даже в ежовские времена старика выпустили.

Началась война и я больше уже не встречал о. Михаила. Когда в 1942 г. я лежал в госпитале один друг рассказал, что проезжая на поезде страшной зимой 1941-42 г. видел он на пустынной платформе небольшой подмосковной станции фигуру одинокого старика в старом пальтишке, облепленном снежной метелью. Больше об о. Михаиле я никогда ничего не слышал.

Если когда-нибудь будет написана полная история русского церковного пенья, то о. Михаилу должно быть отведено одно из первых мест среди исполнителей.

Прошло больше тридцати лет после моего знакомства с Холмогоровым. Хотя наши наиболее близкие отношения и совпали с периодом полулегальных скитаний нас обоих, когда он был высоким стариком в поношенной толстовке но в памяти моей неизменно встает образ величественного протодьякона на амвоне, апостола, сошедшего с «Тайной вечери» Леонардо, молитвенника, простершего руку над толпой мучеников российских, выходящих на невиданные еще христианством страдания.

Пусть сам о. Михаил не герой и не мученик, но ведь сказано в заповедях блаженства: «Блаженны чистые сердцем, яко ти Бога узрят». Простота и бесхитрость веры помогли о. Михаилу узреть красоту божественной гармонии, отраженной в православном богослужении. Положа руку на сердце, он мог сказать: «Пою Богу моему доньдеже есмь». Очевидно так и поняли о. Михаила большие художники Михаил Васильевич Нестеров и Павел Дмитриевич Корин, удостоившие его занять центральное место в картинах, посвященных Святой Руси.

*Василий Алексеев*

# САША

## ПАМЯТИ ДРУГА

*Три часа в Могилеве-на-Днепре: высокий берег, белые церкви под месяцем и быстрые сумерки.*

*(Александр Блок, «Дневник», май 1908 г.)*

На заре нашего столетия Могилев был небольшим губернским городом, в котором русская имперская стихия мирно уживалась со следами бывшего польского влияния и многочисленным еврейским населением.

С крутого, правого берега реки раскрывалась широкая картина низкого левого бережного предместья, окаймлявших его полей и, за ними, темной полосы сплошного белорусского леса.

Город был древним. Археологи обнаружили в окрестностях первобытные поселения, существовавшие задолго до Новгородской и Киевской Руси, но сохранившиеся памятники городского зодчества были не старше семнадцатого, а то и восемнадцатого века.

Над обрывом, спускавшимся от небольшой, булыжной площади к Днепру, стоял просторный барский особняк — губернаторский дом. В 1812 году в нем недолго жил завоеватель, наполеоновский маршал Даву. Наискосок — на той же площади — возвышалась сооруженная в 1679 году белая башня ратуши, а на двух, расходившихся от нее под острым углом главных улицах — Большой Садовой и Днепровском проспекте — украшали город пленившие Блока белые храмы: основанный в 1620 году Богоявленский Братский монастырь и окруженная глухой стеной архиерейского двора, построенная в 1795 году погребенным в ней позже епископом Георгием Конисским семинарская Преображенская церковь.

Белым был и заложенный в 1780 году императрицей Екатериной Второй и австрийским императором Иосифом в память их могилевской встречи небольшой собор — удачное, при-

норовленное к нуждам православного богослужения подражание античным образцам — но ратуша и остальные церкви, только своими восьмиконечными крестами отличавшиеся от католических костелов, напоминали, что некогда здесь господствовала не Москва, а Литовская Русь.



Учеником первого класса Могилевской гимназии был в 1912 году мой сверстник, которого я — по некоторым соображениям — назову не подлинным именем, а Сашей Александровым.

По отцу он был русским, но по матери — внуком швейцарского педагога, составителя распространенного тогда в России учебника французского языка. Навсегда обосновавшись в Могилеве, этот иностранец полностью не обрусел, но дочерей выдал за местных помещиков — русского и поляка.

Классом я был старше Саши на год и близкими друзьями мы в ту пору не были. В январе 1920 года мы случайно встретились в Одессе. Он был вольноопределяющимся в отряде генерала Н. Э. Бредова и проделал трудный, зимний поход от берега Черного моря до верховьев Днестра, был — как все бредовцы — интернирован в Польше, но затем признан политическим эмигрантом.

Оказавшись, по близорукости, непригодным к строевой службе, я летом 1919 года выполнил в занятом большевиками Киеве опасное поручение штаба Добровольческой армии и был, после освобождения города, прикомандирован к управлению главноначальствующего Киевской области, генерала А. М. Драгомирова.

В начале 1920 года я — как многие другие участники борьбы с поработившим Россию коммунизмом — был брошен на произвол судьбы в одесском порту ответственным за эвакуацию, но позаботившимся только о себе генералом Н. Н. Шиллингом.

Незнакомая еврейская семья спасла меня от верной гибели, но лишь в сентябре 1921 года мне удалось перейти на Вольни границу, отделившую Польшу от России, и стать в Варшаве эмигрантом. Испытанная опасность и могилевские воспоминания превратили неожиданную встречу с Сашей в начало прочной дружбы.



Весной 1923 года я, по неопытности и неосторожному доверию к дореволюционным чинам и званиям, был вовлечен в тайное Монархическое Объединение России, утверждавшее, что оно возглавлено в Москве генералом А. М. Зайончковским, но оказавшееся позже чекистской провокацией, так называемой «легендой». Эту печальную страницу моей жизни я рассказал в книге «Трест — воспоминания и документы», подготовленной к печати канадским издательством «Заря».

Резидентом М. О. Р. и, одновременно, представителем созданной генералом А. П. Кутеповым боевой организации непримиримых и активных противников коммунистической диктатуры был тогда в Варшаве ныне покойный Ю. А. Артамонов. Он выезжал на советскую границу каждый раз, когда предстоял ее переход кутеповцами или участниками М.О.Р., но эти частые отлучки были нежелательны. Обслуживание пограничных «окон» нужно было поручить кому-либо другому. Зная стремление Саши приобщиться к борьбе, я предложил ему эту опасную обязанность. Он принял ее радостно.

23 декабря 1925 года он перевел из Польши в Россию бывшего члена Государственной Думы В. В. Шульгина, описавшего в книге, названной «Три столицы», свою якобы тайную, но в действительности состоявшуюся с ведома М.О.Р., то есть чекистов, поездку в Киев, Москву и Петроград. Сашу Александрова, который — к тому-же — встретил его на границе при возвращении, Шульгин, конечно, забыть не мог.

Не только он, но и другие, переходившие границу с помощью М.О.Р. эмигранты не знали, что за ними на советской стороне следит и, в то же время, их бдительно охраняет чекистская рука, заинтересованная в продлении удачной провокации.

По замыслу Москвы, безопасность связанных с М.О.Р. эмигрантов должна была быть — до поры до времени — полной, но даже О.Г.П.У. не могло предусмотреть всего. Несколько лет советчины наложили на Россию отпечаток, отличавший ее от прошлого и легко становившийся ловушкой для тех, кто сталкивался с ним впервые, после Белграда или Праги. Одновременно, подсоветское население научилось отличать заграничное от местного.

Саша убедился в этом в Минске, где он переночевал у мо-

лодого «тайного монархиста», бывшего в действительности — как теперь известно — чекистом Е. И. Криницким.

По варшавской привычке, Саша утром захотел побриться. Он знал, что это можно сделать просто — в те годы расцвета «новой экономической политики» в столице советской Белоруссии еще существовали частные парикмахерские. Саша зашел в ближайшую. Пожилой хозяин усадил его в кресло, намылил щеки и вдруг, как бы невзначай, спросил:

— А вы давно из Польши?

Эмигранта, накануне перешедшего границу, вопрос ошеломил. Стараясь не выдать волнения и показаться удивленным, он переспросил:

— Из Польши?... Нет, я вчера приехал из Москвы...

Парикмахер промолчал и больше не сказал ни слова, но, расплачиваясь, Саша не выдержал и сам заговорил:

— Почему вы подумали, что я из Польши?

Владелец парикмахерской ответил не сразу. Помолчав, он пристально взглянул на незнакомого клиента и сказал медленно и веско:

— У нас так не стригут...



В апреле 1927 года над нами разразилась непоправимая беда. Люди, которым мы слепо верили — бывший генерал Н. М. Потапов, бывший действительный статский советник А. А. Якушев — оказались советскими агентами, если не прямо чекистами. Их «легенда» — Монархическое Объединение России — перестала существовать, а Кутеповской организации был нанесен жестокий удар.

Слабым утешением было то, что Кутепов и польский генеральный штаб, поддерживавший с 1922 года оживленную связь с М.О.Р., не лишили меня доверия и что я даже вскоре стал, вместо Артамонова, резидентом организации в Польше.

Сашу никто ни в чем упрекнуть не мог, но и делать ему в создавшемся положении было нечего — пограничные «окна» захлопнулись. Исходным плацдармом «боевых вылазок» кутеповцев в Россию стали Финляндия и Латвия. Обошлись эти «походы» дорого — ко второй половине 1928 года боевые отряды Кутепова были, по существу, истреблены.

Моя причастность к какой-либо конспирации прекратилась в 1930 году, вскоре после похищения Кутепова чекистами, но не раз, встречаясь с Сашей, мы вспоминали события, связавшие нас неразрывной дружбой.

Вспыхнувшая в 1939 году война отразилась на этих встречах — они стали редкими. На меня, как председателя Русского Комитета в Варшаве, выпала в тягчайшей обстановке гитлеровского террора и польского вооруженного сопротивления нелегкая забота о русских эмигрантах и о многочисленных новых беженцах из России.

Не мне судить о том, как Комитет с этой задачей справился, но никогда я не забуду тех июльских дней 1944 года, когда на правом берегу Вислы к Варшаве подошла армия Рокоссовского, а на левом нужно было наладить эвакуацию старых и новых варшавян в Словакию.

Предупрежденный польскими друзьями о предстоящем в Варшаве восстании, я назначил мой отъезд на 28 июля. Накануне я пожелал взглянуть на составленные моей канцелярией именные списки тех нескольких тысяч человек, которые в этот день уже находились в относительной словацкой безопасности. По замыслу, эти списки должны были заменить эвакуированным индивидуальные пограничные пропуска, но паника, охватившая немецкие учреждения, сделала их лишними.

Имен осаждавших меня в последние дни, бежавших от «родной советской армии» бывших жителей Смоленска, Минска, Ростова, Екатеринослава и других русских городов я, конечно, не знал, но фамилии давних русских варшавян были мне известны. Я увидел, что Саши в этих списках нет.

Расстояние от дома на Вейской, где я жил тогда, до центральной части города, где Саша сохранил не пострадавшую в 1939 году от бомбардировок и осады квартиру, было невелико. Уличное движение, в любую пору года, было там всегда оживленным. На тротуарах и в подворотнях процветала запретная торговля, но в это летнее, солнечное утро прохожих можно было пересчитать, а «спекулянты» сквозь землю провалились. Варшавяне предвидели вооруженное столкновение подпольной польской армии с оккупантами и предпочитали не искушать судьбы.

Сашу я застал в выходящей окнами во двор большого

дома темноватой столовой. Он сидел в кресле, хотел подняться, но не смог. «Он очень болен», шепнула его жена.

Все же я спросил, как может он — при его прошлом — остаться в городе, который несомненно станет в близком будущем добычей большевиков. В сроке я ошибся — трудно было предположить, что Сталин сознательно допустит разрушение Варшавы и не поможет восставшим полякам — но, с отсрочкой, мое предсказание сбылось.

Слабым голосом Саша ответил, что двинуться не в силах и что его решение бесповоротно. Мы обнялись и расцеловались. Мы знали, что видимся в последний раз.



Крушение национал-социалистической Германии застало меня в беженском лагере Тизис на границе Австрии и Лихтенштейна. Кого там только не было? Преобладали русские эмигранты — старые и новые — но немало было и латышей, крымских татар и венгров; меньше — сербов, бессарабских молдаван и эстонцев.

Утром 3 мая 1945 года мимо лагеря, в обход города Фельдкирха, промчались французские танки, а несколько позже у пограничных проволочных заграждений появились марокканские и альпийские стрелки.

Дня через три военный губернатор, капитан де Лестранж, назначил А. В. Мамонтова и меня директорами лагеря. Осенью французское командование одобрило мое предложение о создании — для помощи беженцам — Социальной Службы перемещенных лиц в Форарльберге, западной австрийской провинции, и признало меня делегатом русских эмигрантов в этом учреждении. При господствовавшем тогда в Европе беззаконии, это не избавило меня от смертельной опасности.

Служившие во французской военной полиции в Германии коммунисты и их попутчики, привлеченные исходившим, к сожалению, из русской среды вымыслом о вывезенном мною из Варшавы несметном богатстве, дважды пытались меня похитить. В сентябре 1945 г. это им — под предлогом ареста — удалось, но моя семья подняла тревогу и французские офицеры меня освободили. В следующем году похитители, приехавшие из Германии в Фельдкирх, где я тогда жил, не застали меня дома

и сами были арестованы. Несколько позже та же участь постигла их русского вдохновителя, а летом 1947 года французская зона Германии была очищена от таких преступников настолько, что я смог переехать туда из Австрии.

Как я ни был дружен с Сашей, вспоминал я его — признаюсь — в это трудное время не часто, но судьбу его я неожиданно узнал.

Однажды в Тизисе ко мне подошел один из немногих, живших в лагере поляков и сказал:

— Простите, господин Войцеховский... Вы ведь, кажется, варшавянин? Не хотите ли взглянуть на польскую газету?

Он протянул мне измятые, побывавшие во многих руках страницы сероватой бумаги. Первая была заполнена устаревшими известиями, приправленными советской пропагандой. На второй не менее тенденциозные статьи удивили тем, как скоро польский язык воспринял с коммунистической фразеологией чужие слова и обороты, если можно так сказать — осоветился. Третья состояла из декретов и распоряжений новой власти и только из четвертой я узнал, что в Польше — в отличие от России — еще существует частная торговля. Правда, ее объявления состояли из двух-трех строк мелкого петита и сводились к адресу, фамилии владельца и названию товара, но Саша был назван в одном из них в связи с его сравнительно редкой отраслью торговли. Я узнал, что он благополучно пережил варшавское восстание и приказанное после его подавления Гитлером разрушение города, его захват коммунистами и превращение Польши в прикрытую лживой вывеской советскую колонию.

Ни одной другой польской коммунистической газеты я ни тогда, ни позже — до переселения в Америку — не увидел.

Сашу я не забыл, но связаться с ним не пытался. Помочь я ему ничем не мог, а повредить боялся. Толчком, воскресившим в памяти наше участие в М.О.Р., стало появившееся 18 сентября 1960 года в просоветском «Русском Голосе» в Нью Йорке «Открытое письмо к русским эмигрантам», подписанное В. В. Шульгиным.

Я знал его с апреля 1918 года, когда из Могилева приехал в Киев с твердым намерением включиться в борьбу с большевиками. Бывший член Государственной Думы Савенко, у которого

я побывал по совету знакомых киевлян, ничем мне не помог, но направил к Шульгину. В его доме на Караваевской начался мой новый путь — я ненадолго вернулся в Могилев для помощи курьерам, которых «Азбука» — созданная Шульгиным тайная организация — направляла в Москву.

Летом того же года я с ведома генерала Ломновского, начальника киевского центра Добровольческой Армии, стал чиновником для особых поручений гетманского министерства иностранных дел, но сносился с центром не через Шульгина, а через поручика А. Ф. Ступницкого, окончившего — лет за шесть до меня — Могилевскую гимназию.

В начале 1919 года я встретился с Шульгиным в занятой французами Одессе. Мы жили в одной и той же Лондонской гостинице. Он был шафером на свадьбе французского консула «с особыми полномочиями» Энно, который в ноябре предшествовавшего года тщетно пытался предотвратить падение Скоропадского и при котором я — по желанию штаба Добровольческой армии — состоял переводчиком.

Летом 1920 года, в том же приморском городе, на этот раз захваченном большевиками, Союз Освобождения России, в котором я участвовал, узнал, что Шульгин скрывается в Одессе и добывает пропитание тем, что ходит по дворам с песенками и гитарой.

Найти его мы не пытались — это было бы для нас и для него напрасным риском, тем более, что одним из офицеров, установивших с нами связь из Крыма, был его близкий родственник.

Гораздо позже — в Америке — кто-то рассказал, что в 1944 году Шульгин добровольно остался в занятой советскими войсками Югославии, был арестован и увезен в Москву. Об его дальнейшей судьбе никто ничего достоверного сказать не мог. Теперь известно, что он побывал на Лубянке и провел долгие годы в страшном Владимирском изоляторе, из которого его — как и других заключенных — освободила хрущевская «амнистия».

Письмо Шульгина в «Русском Голосе» было обращенным к эмигрантам советом признать, что в России — после прихода Хрущева к власти — произошли неотвратимые перемены и поэтому пора отказаться от непримиримого, враждебного отношения к коммунизму и советскому строю.

Российский Политический Комитет в Нью Йорке возразил, распространив «Три письма В. В. Шульгину», написанные профессором Д. Иванцовым, Б. К. Ганусовским и мною. Возражая ставшему советским пропагандистом бывшему эмигранту на его восторженный отзыв о миролюбии Хрущева, я написал:

«Войны мы, русские эмигранты, не хотим, как не хочет войны весь свободный мир. Война, однако, уже ведется и ведется не нами. В Азии и в Африке, в Европе и, в последнее время, в Америке — на Кубе — война ведется коммунистами и ее цель провозглашается открыто: распространение коммунизма по всей земле, та всемирная коммунистическая революция, которую начал Ленин, продолжил Сталин и ныне продолжает Хрущев».

«Уничтожение свободы слова — было сказано в другой части моего ответа на открытое письмо Шульгина — преступление коммунистов, но страшнее другое — уничтожение свободы совести. Кто сосчитает его жертвы, кто укажет точное число новых мучеников русской Церкви? Их обильной кровью орошена вся русская земля».

Я воздержался от резких, оскорбительных выпадов, понимая, что человек, попавший в советские тиски, мог быть сломлен постигшей его участью, но я напомнил то, что в 1926 году было им написано в предисловии к «Трем столицам»:

«Я порядочно побаивался, как бы в случае неудачи большевики не разыграли со мной того же самого, что они проделали с Борисом Савинковым, т.е. чтобы они не опозорили моего имени прежде, чем тем или иным способом меня прикончить. Поэтому, в письме на имя генерала Артифексова, я заявлял, что, хотя я еду в Россию по личным мотивам и политики делать не собираюсь, но я остаюсь непримиримым врагом большевиков, почему каким бы то ни было их заявлениям о моем «раскаянии» или с ними «примирении» прошу не придавать никакой веры».

К этой цитате я прибавил: «Не знаю, как коммунисты заставили вас отречься от непримиримости, отречься от всего, что было столько лет смыслом и содержанием вашей жизни, но знаю, что под этим отречением, под вашим «открытым письмом к русским эмигрантам» не только ваша подпись, но и эти Ваши слова: — Каким бы то ни было их заявлениям о моем

«раскаянии» или с ними «примирении» прошу не придавать никакой веры».

Шульгин откликнулся — 7 сентября 1962 г. в московских «Известиях» появилась его пространная статья, озаглавленная «Возвращение Одиссея». Она была описанием его, состоявшегося под чьим-то бдительным оком, путешествия по России, во время которого он увидел в Киеве свой бывший дом на Караваевской, а на Волыни — свое бывшее имение Курганы.

Он перечислил в этой статье некоторых известных эмигрантов, которых назвал «бесноватыми» за то, что они призывают западный мир к войне с советской властью в России, но меня упомянул с оговоркой: «Нет, Войцеховский не бесноватый и не потому, что в своем письме он делает мне некоторые комплименты, а по другим причинам, но, между прочим, он в одном отношении безусловно не прав... С. Л. Войцеховский должен прибавить, что есть русская эмиграция, которая открыто и даже иступленно, упиваясь своим собственным безумием, зовет термоядерные бомбы упасть с неба на головы человечества. Может быть С. Л. Войцеховский просто этих статей не читал? В таком случае мой совет их прочесть и отгородиться от этой части русской эмиграции решительно и твердо. Но сейчас я вижу С. Л. Войцеховского среди поджигателей войны, так как он совместно с Б. К. Ганусовским выступил с открытым письмом и тем самым как бы солидаризировался с этого рода мыслителями».

Полемика с человеком несвободным была бы бесплодной. Я промолчал, хотя сам себя «поджигателем войны» никак не считал. Шульгин, однако, вызвал во мне другой вопрос: прочитал ли Саша его статью в легко доступных в Варшаве «Известиях» и узнал ли из нее, что я еще существую, где-то в эмиграции? На ответ я не надеялся, но получил его неожиданно и скоро.

Не прошло трех месяцев со дня появления статьи Шульгина в «Известиях», как вечером в моей квартире раздался звонок телефона. Знакомый, бывший варшавянин, взволнованно сказал:

— Простите, Сергей Львович, что беспокою поздно, но должен предостеречь... Кто-то, только что приехавший из Польши, хочет узнать ваш адрес...

Он рассказал, что в подземном поезде метро с ним заговорили единственные пассажиры пустого вагона — господин и дама — спросившие, где им нужно пересесть, чтобы попасть в другую, далекую часть Нью Йорка.

Услышав, что между собой они говорят по-польски, мой знакомый ответил на том-же языке. Когда он назвал себя русским варшавянином, неизвестный поляк воскликнул:

— Да ведь и моя жена тоже русская и варшавянка!

Его жена присоединилась к разговору и задала вопрос, много-ли в Нью Йорке русских бывших жителей Варшавы? Услышав мое имя, она не сразу поверила:

— Как, разве Войцеховский не убит? В Польше мы его считали мертвым... Дайте, пожалуйста, его адрес...

Их настойчивость показалась моему знакомому подозрительной тем более, что — по их словам — поляк и его русская жена только за три дня до этой встречи в метро прилетели в Америку из Польши. Моего адреса он им не дал, но на следующий день они появились в Толстовском Фонде и повторили свою просьбу. Там они услышали, что Фонд ничьих адресов не сообщает, но может — если они пожелают — отослать мне их письмо. Этим предложением они немедленно воспользовались.

Из письма я узнал, что дама, считавшая меня убитым — бывшая жена варшавского русского купца, вышедшая — вторым браком — за поляка. Она и ее муж хотели посоветоваться со мной по юридическому вопросу, связанному с получением ими права постоянного пребывания в Соединенных Штатах. Для ответа был указан номер телефона. Вспомнив, что первый муж этой варшавянки был когда-то компаньоном Саши в общем коммерческом начинании, я пригласил их к себе и через два дня услышал много мне неизвестного, трагического и забавного о подсоветской Польше.

О Саше я — к великому горю — услышал, что в 1948 году он выскочил на ходу из отходившего от небольшой станции поезда, поскользнулся, попал под колеса и был убит.

Я не предполагал, что когда-либо услышу имя Саши от тех, кто его не знал, но случилось именно это. В марте 1964 года в клубе Колумбийского университета состоялся завтрак, на который один из профессоров пригласил нескольких эмигран-

тов, чтобы поговорить с ними о русской зарубежной печати.

Одним из них был Б. В. Сергиевский, но участники завтрака не знали, успеет ли он прилететь из Парижа. За стол сели без него, но к концу завтрака он появился и высказал свое мнение в состоявшемся за чашкой кофе разговоре. Гости стали расходиться, когда он подошел ко мне, сказав:

— Вот, чуть не забыл... Русский парижанин просит меня поговорить с вами о вашем знакомом...

На листке из блокнота, который мне Сергиевский тут-же передал, его рукой было написано:

— Спросить Сергея Львовича, когда и где он в последний раз видел Александра Владимировича...

После имени и отчества была указана подлинная фамилия Саши. Я был поражен. Сергиевский это заметил.

— В чем дело?... Что вас взволновало?

— Здесь — ответил я — говорить об этом не стоит... Можно ли вас увидеть завтра?

На следующий день я спросил Сергиевского, кто и где заговорил с ним о Саше.

«Прилетел я — рассказал он — в Париж... Остановился, как всегда, у Ритца... Появились, как всегда, разные просители... Почти всех я знал по прошлым приездам, но Х., назвавшего себя первопоходником, корниловцем и галлиполийцем, увидел впервые... Оказалось, что он — не проситель, в обычном смысле слова.

— Вы, кажется — сказал он — знаете Сергея Львовича Войцеховского?

— Да — ответил я — мы единомышленники и друзья.

Он рассыпался в похвалах вашему антикоммунизму, а затем задал тот вопрос, который я записал... Почему он вас удивил?».

Пришлось объяснить, кем был Саша. Я, конечно, упомянул о его причастности к М.О.Р. и помощи, оказанной им Шульгину при переходах советской границы в ту и другую сторону.

Я обратил внимание Сергиевского на то, что русский парижанин не мог знать Саши, так как в Польше не жил, а мой друг ни разу не побывал во Франции. Единственным допустимым объяснением попытки установить его судьбу я назвал

желание КГБ пополнить свои архивы недостающими сведениями.

Я высказал предположение, что до выступления Шульгина в роли советского пропагандиста его биография была еще раз тщательно проверена. Описанная им в «Трех столицах» поездка в Россию не была забыта и, в связи с ней, должно было всплыть имя Саши, как проводника, доставившего Шульгина из Варшавы на границу. Именно тогда могло выясниться, что судьба Саши после войны органам государственной безопасности неизвестна. Переживи он 1948 год, они, вероятно, установили бы, что он мирно занимается в Варшаве торговлей, но в начале шестидесятых годов это им не было известно. Его смерть на железнодорожной станции, где — возможно — его похоронили, осталась незамеченной и не отмеченной в списках населения польской столицы. Саша пропал без вести и в цепочке имен, связанных с жизнью Шульгина, не хватало звена. Поэтому было решено воспользоваться моими дружескими отношениями с Сергиевским, чтобы задать ему вопрос, который не мог быть прямо поставлен мне.

Не получив ответа, парижанин просьбы своей не повторил. Возможно, впрочем, что после падения Хрущева, когда Шульгину пришлось замолкнуть, КГБ поиски Саши прекратил.

*С. Л. Войцеховский*

# КОЛЬЦО ОБИД

## ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС И АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*От редакции.* Мы с удовольствием печатаем статью Романа Самуиловича Рутмана. Р. С. — доктор технических наук, специалист в области автоматического управления. Он состоит зав. отделением автоматического управления в университете в Тель Авиве. В 1972 г. Р. С. руководил в Москве редакцией машинописного журнала «Вестник Исхода» и был составителем «Белой книги Исхода» № 1 и № 2. Р. Г.

Немало сказано о месте еврейского народа в современном мире, немало написано о взаимоотношениях евреев и тех народов, среди которых они жили и живут. Тема эта — центральная в круге вопросов, в процессе решения которых складывалось то, что можно назвать еврейским национальным самосознанием. Сформировавшись в диаспоре, оно было привезено в Израиль и во многом определило развитие страны и атмосферу израильского общества. Многие концепции, составляющие основу такого мировоззрения, были усвоены и определенной частью нееврейской интеллигенции в странах проживания евреев — как на Западе, так и в принадлежащих к восточному блоку. В определенном смысле, эти идеи являются интегральной частью либерального наследия конца XIX — начала XX в.в.

Из того, что написано на эти темы, можно составить тома. И тем не менее, определенную новую точку зрения для рассмотрения этого мировоззрения дают произведения Солженицына. Речь пойдет не о том, чтобы защищать эти концепции или, наоборот, спорить с ними. Новая наблюдательная точка будет полезна, ибо предоставляет нам возможность увидеть опасность *абсолютизации* этих концепций (как и любых других). Возведение истины в ранг абсолюта никогда еще не приносило пользы в науке; тем более опасно оно в сфере общественной, где истина чаще всего плюралистична. И стоит уверовать раз навсегда в застывшую формулу, как она становится тормозом на пути к пониманию чужого мнения, начинает

навязывать точку зрения на сложные явления, не укладывающиеся в рамки готовых решений.

Имея это в виду, мы и рассмотрим некоторые установленные концепции по «еврейскому вопросу», сопоставив их с определенными выводами, возникающими при чтении произведений великого писателя того народа, история которого вот уже несколько веков сплетена и с еврейской историей.

## I

Итак, утверждение № I: — **Необычная судьба еврейского народа сделала его символом страданий человечества.**

От разрушения Храма и до печей Освенцима — сколько страданий принял еврейский народ? Языки многих народов впитали в себя слово *погром*, пестрят печальными реминисценциями типа «вавилонское пленение». Само слово еврей стало означать — гонимый, отверженный, изгой. Палестинцы называют себя евреями современного мира.

Откроем, однако, Солженицына: — «Это война вообще нам открыла, что хуже всего на земле быть русским». (*Архипелаг ГУЛаг*). Что это, проходная фраза? Конечно, нет. Ведь к этому выводу приходит писатель после рассказа о трагической судьбе советских солдат в немецком плену. Солдат, покинутых родиной, Красным Крестом и всем миром. И в другом месте той же книги повторит он эти же слова после рассказа уже о советских лагерях.

И не только лагеря. Солженицын принял на свои плечи всю русскую судьбу, судьбу народа, на долю которого выпало полвека небывалых испытаний: — революция, террор, голод, войны, бессмысленное уничтожение и мыслящего цвета нации и ее опоры — крестьянства, система насилия, далеко оставившего позади все самые мрачные эпохи в истории человечества. Система рабства, в сравнении с которой крепостное право в дореформенной России и пресловутая сибирская каторга вызывают грустные усмешки...

«Я желаю добра всем народам и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже тоже — из-за *несравненных страданий*, пе-

*ренесенных нами* (курсив мой — Р. Р. *Письмо вождям Советского Союза*). И снова, об этом же: — в том же *Письме вождям* приводит Солженицын расчеты, согласно которым прямые и косвенные потери России от войн и революции составили около трети народа — и замечает: «Кто еще из народов расплачивался такой ценой?»

Итак, налицо две концепции. Можно понять, что многим, воспитанным на первой из них, очень трудно воспринять иную точку зрения. При этом вспоминается и тотальное уничтожение евреев Европы, несопоставимое с гитлеровским террором по отношению к другим народам. И то, как евреи, брошенные на растерзание, чаще всего были лишены даже последней трагической «привилегии» — умереть с оружием в руках.

Нужно ли тут спорить? Но находятся охотники спорить. Профессор Кембриджского университета, известный критик Джордж Стайнер приписывает Солженицыну следующее утверждение: «всего лишь шесть миллионов евреев погибло (во времена гитлеровского террора), в то время как потери русских составляют 18-20 миллионов». По мнению Стайнера, Солженицын «дает понять, что последнее в два с половиной раза ужаснее первого... Это неприлично, это бессмысленное утверждение», — замечает Стайнер. Беда лишь в том, что Солженицын таких сравнений не проводит — оно целиком на совести Стайнера. Патент на страдание представляет собой сомнительную ценность и не его добывается Солженицын для русского народа. Но у писателя, олицетворяющего совесть России и говорящего от ее имени — не только право, но и долг напомнить об особой трагической судьбе своего народа, своей страны.

И тут нет предмета для спора. Вот пишет Солженицын об уничтожении зажиточного крестьянства в 1929-30 гг.: «...выжигали только гнездами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей четырнадцати, десяти или шести лет не отбил бы в сторону: все наподскреб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение». И замечает: «Это был *Первый* такой опыт, во всяком случае в Новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями...» *Первый* выделено Солженицыным, но, разумеется, не для того, чтобы огонь печей Майданека казался не таким жарким. Ад есть ад, во всех его разновидностях — и печи крематория, и «ледяной Освенцим» — Колыма.

Но другой спор — яростный, как может быть только у бывалого лагерника, — ведет в «Раковом корпусе» Костогло-тов, а вместе с ним и Солженицын. Спор с теми, кто обрекает людей на преследования и унижения — по национальному ли признаку, или по какому иному. И выходит, что преследования по признаку социального происхождения — это не марксизм, а тот же расизм! «Я, может быть, сын купеческий, третьей гильдии, а всю жизнь вкалываю, и вот мои мозоли, смотрите! — так я что, буржуй? Что у меня от папаша — эритроциты другие? лейкоциты?»

«Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями, или членами касты, или за их политические взгляды или за круг знакомств — всегда есть разумное (или псевдо-разумное?) обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что мог бы и не быть в той группе. Но — национальность?...» — говорит другой персонаж Солжени-цына (*В круге первом*), и авторский голос — «внутренний ночной собеседник» — возражает ему: «Но соцпроисхождения тоже не выбирали? А за него гнали».

По Солженицыну оба эти критерия отбора какой-либо группы для преследований отвратительны, оба бесчеловечны, и различие между ними не столь уж и велико. И характерен в этом отношении эпизод с показательным судом над хирургом, обвиненным в профессиональной ошибке (*Раковый корпус*). Рассказывая о суде, Лев Леонидович высказывает предположе-ние: окажись этот врач *жид* или немец — без суда повесили бы! Главное в этом эпизоде — идиотизм суда, звериные ин-стинкты толпы, ужас бесправия врача и подданного советской империи. А еврейство врача — дополнительный фактор, до-бавляющийся к общему бесправию.

И не случайно как объект для дискриминации здесь ука-заны равным образом и еврей, и немец из числа насильственно переселенных в Среднюю Азию. Солженицын говорит от имени всей России — раз уж она вобрала в себя столько народов и языков. Барачные нары, ссылку в степи и койку в спецтюрьме делят с Иваном Денисовичем, Костоглотовым и Нержиным эстонцы и узбеки, евреи и литовцы. А по другому разрезу: дворяне и крестьяне, баптисты и сионисты, социалисты и эсперантисты. И то же самое — на так называемой «воле».

Поистине безгранична — подстава российским масштабам

— мера страданий России, и великий русский писатель согласен рассматривать еврейское горе только в полной совокупности бед, выпавших на долю его страны.

## II

Слов нет, еврейская проблема для Солженицына — не основной, даже не один из основных вопросов. Он явно не внял призывам одного из своих критиков — считать «еврейский вопрос... пробным камнем современной политической жизни». Но нельзя сказать, что он безразличен или что у него нет своей четкой позиции в этом вопросе. И коль скоро мы собираемся проанализировать эту позицию, сразу же огоримся.

Воздержимся от подсчетов. Не будем гадать над сомнительным именем-отчеством врача в *Раковом кортесе* и разглядывать его волосатые руки, не станем разбирать, можно ли считать евреем Цезаря (*Один день Ивана Денисовича*), у которого «всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган — не поймешь». И не станем основывать наши выводы на процентном соотношении евреев в произведениях Солженицына к общему количеству персонажей. В подсчетах такого рода, когда за критерий авторского отношения берется разность положительных и отрицательных баллов, а из «умолчания» делаются далеко идущие выводы, сказывается привычка к чтению подцензурной, казенной прессы.

Таким образом изучаются страницы так называемой художественной литературы. Не остался незамеченным момент, когда с ее страниц исчез положительный герой-еврей. Потом прекратилось всякое упоминание о евреях. В военной литературе, в окопах и в тылу врага, евреев уже не найдешь. «Зачем? Воевал советский народ... Бабий яр? Понары? Там лежат советские граждане».

Конечно, искушенному читателю не было труда догадаться, что все это означает. Советский человек приучен читать между строк. То, что читается между строк — это и есть основное, что можно найти в литературе лжи и лицемерия. И вот, на чтении такой литературы и вырабатываются навыки, питающие еврейский комплекс. Разумеется, нет смысла применять такие навыки к свободному художнику. Нет нужды

вчитываться в междустрочия и искать подтекста там, где его нет. И еще одно обстоятельство следует иметь в виду любителям арифметических подсчетов: — во времена, когда мудрый, мужественный и человечный партийный супермен Залкинд совершал свои глубоко положительные дела на страницах романа «Далеко от Москвы», многие тысячи евреев, вместе со многими-многими тысячами русских, украинцев, литовцев, проходили все круги ада в лагерях, столь мастерски превращенных лауреатом Сталинской премии В. Ажаевым в ударную коммунистическую стройку.

Плохо, когда правдой жертвуют ради натянутой схемы. Но все еще есть любители предпочесть сталинские времена хрущевским — как же, ведь Хрущев синагоги закрывал, а при Сталине исполняли еврейские песни! Нет, «критерий процентной нормы» фальшив по своему существу, равно как порочна логика «Абрам — вор, следовательно, все евреи жулики». И все-таки отметим, что есть у Солженицына глубоко положительный герой-еврей, которому отдает он немало своих симпатий и кому передоверяет изрядную толику своих собственных суждений. Это инженер Илья Исакович Архангородский (*Август Четырнадцатого*). Инженер для Солженицына вообще одно из самых почетных званий, которыми можно наделить человека, а тут еще — носитель мудрой философии созидания, патриот России, видящий в ней прежде всего — Союз Русских Инженеров. С «гениальным инженером» Святославом Ободовским — бывшим и раскаявшимся анархистом, обсуждает он великое будущее России (их подсчеты и проекты повторит позже Солженицын *не раз* уже от автора). Единственную страшную опасность видит он со стороны разрушителей, готовых начать «выпускать друг другу кишки». Увы, он находит их и в собственной семье: молодое поколение — дочка Соня и ее приятель социалист-революционер Наум: «Дрожа голосом, двумя ладонями, на ребра поставленными, Илья Исакович показал: «С этой стороны — черная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посередине... — килем корабля ладони сложил, — десяток работников хотят пробиться — нельзя!». Раздвинул и схлопнул ладони: «Раздавят! Расплющат!». Это — голос автора, ибо весь *Август* — трагическая история о том, как не удалось России использовать ее великие возможности.

Что касается еврейских персонажей «Одного дня», «Ра-

кового корпуса» — это, прежде всего люди с человеческой судьбой, характерами, поступками, а не носители национальной идеи или национальных грехов. И не очень-то важна Солженицыну их национальная принадлежность, и очерчена она небрежно (вспомним Цезаря и Льва Леонидовича). Но есть у Солженицына роман, где евреи — это евреи безо всяких сомнений, где они названы, определяют себя, совершают поступки как евреи, где без умолчаний писатель высказывает свое отношение к роли евреев в определенных событиях в истории России. Это, конечно, «В круге первом».

### III

Прижавшись лбом к холодному оконному стеклу, стоит Адам Ройтман — лауреат Сталинской премии и счастливый семьянин. Бессонная ночь, страх, сознание надвигающейся опасности обострило чувства, мысли, заставило по годам перебрать свою жизнь.

Давно ли «слово *еврей* было благонадежнее, чем *русский*... еврея не надо было проверять: евреи поголовно были за революцию, избавившую их от погромов, от черты оседлости...». В целом картина еврейских симпатий верна, и уж во всяком случае Февраль (он-то и уничтожил окончательно все ограничения прав евреев, частично отмененные в 1915 г.) евреи приняли с энтузиазмом. Что касается дальнейшего развития событий, то можно вспомнить и Канегиссера, и Каплан. Евреи составляли внушительный процент в руководстве всех левых партий, явившихся жертвами на пути большевиков к безраздельной диктатуре. Но и не один частник поплатился за легковерие и предприимчивость во время НЭПа. И еще множество — раввинов, сионистов, и пр. и пр. Максим Горький тех лет, еще не отождествивший себя с коммунистами, отмечает: «Есть тысячи доказательств в пользу того, что уравнение еврей — большевик — глупое уравнение, вызываемое зоологическими инстинктами раздраженных россиян» («Новая жизнь», 18 июня 1917).

Однако воспоминания Ройтмана ничуть не грешат против исторической правды. Еврей в большинстве принял большевицкую революцию не за страх, а за совесть. Еврей пошел в партийные, хозяйственные, советские органы. И, конечно, в

ЧК-НКВД и МВД. (И столь густо, что до сих пор еще после всех чисток, чтоб еврейским духом и не пахло — чудом сохранились отдельные экземпляры, вроде известного капитана Йоффе в мордовских лагерях).

Адам Ройтман — не просто преуспевающий инженер. Он начальник лаборатории в «шарашке», где работают заключенные. И хотя в его функции не входят допросы и пытки заключенных, он майор МГБ. И он эксплуатирует труд ученых рабов, а его уютная квартира расположена в доме, где за несколько лет до этого за колючей проволокой клал паркет эск Нержин-Солженицын...

Но вот — «это началось еще прошлой весной, началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу... Кто-то шепнул ядовитое словцо — *космополит*. И слово было найдено! Прекрасное гордое слово... стало значить — жид». И уже пошатнулась карьера Ройтмана, и его смертельный враг-начальник «не устает с каждой трибуны напоминать, что космополитизм — злейший враг социалистического отечества». И неизвестно, куда все это пойдет, ибо каждому уже ясно, что «бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин».

Нужно понять позицию автора в этой важной главке, названной, скажем, не «Начальник лаборатории» и не «Майор МГБ», а — «Космополит безродный». Нужно вслушаться в ремарки, вставляемые «внутренним ночным собеседником» — голосом автора. Несомненно его отвращение к газетной кампании против «безродного космополитизма». Но не может быть у него и сочувствия к Ройтману и его друзьям. Нет симпатии к Ройтману, главная обида которого в том, «что ты от души хочешь быть *своим*, таким, как все, — а тебя не хотят, отталкивают, говорят: ты — чужой. Ты — неприкаянный. Ты — жид». Не помогает Ройтману ни членство в партии, ни русская жена с волжским оканьем. Невидимая стена не дает ему полностью слиться с окружением. И слава Богу — скажем мы, ибо его окружение — махровые палачи и тупицы. Быть может, это и помогает ему сохранить человеческие черты. Его даже любят подчиненные, ибо «держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек». И он сохранил еще способность к самоанализу...

Обостренная бессонницей память подсказывает Ройтману забытый эпизод детства. Школьные годы в южном городе, где «евреев — с половину группы. Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, — все себя остервенело убежденно считали пролетариями». Один из мальчиков — «бледный, худенький, первый ученик в классе, избегал всяких речей о политике, явно неохотно вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты заподозрили в нем чуждый элемент. Следили за ним, ловили. Однажды Олег попался, сказал: «каждый человек имеет право говорить все, что думает». — «Как — все? — подскочил к нему Штительман. — Вот Никола меня «жидовской мордой» назвал — так и это тоже можно?» — «Говорить? — не уступал Олег, поводя узкой шейкой. — *Говорить* каждый имеет право, что хочет». И вот юный поборник свободы слова, не обладавший хорошим классовым происхождением и к тому же посещавший церковь, предстает перед всевозможными собраниями, где «двенадцатилетние робеспьеры... клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума». Его исключают из пионеров и из школы. «Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули — но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щеки».

Можно, по-видимому, утверждать, что в этом эпизоде выражается авторская позиция. Можно предполагать даже, что на эпизоде сказались авторские впечатления детства: не Ростов ли этот южный город, где ровесник Солженицына Ройтман начинает свой жизненный путь, приведший его к бессонной ночи воспоминаний и самоанализа? В этой сцене Солженицын — против фанатизма и нетерпимости. И если в тот момент фанатизм исходит от «двенадцатилетних робеспьеров» еврейского происхождения, то автор не видит причины умолчать об этом эпизоде или подать его по-иному, чтобы в революционном энтузиазме наследников зубных врачей нельзя было различить их еврейское происхождение. Здесь Солженицын явно идет против традиции — такие указания в еврейской и сочувственной среде обычно считались «неприличными». А традиция эта следует из другого общепринятого утверждения:

**Еврей в России всегда был жертвой односторонних гонений.**

Но в том-то и сила Солженицына, в том то и значение его в общественной жизни России, что он отказывается бездумно

повторять установившиеся концепции — он подвергает непредвзятому анализу любую схему.

«Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, той жизнью проверены, *оттуда* выросли». (*Нобелевская лекция по литературе*, 1970 г.).

Потрясенные слушатели узнавали правду о Сталине с трибун закрытых собраний — зэки в Бутырке лет на десять раньше познали ее на собственной шкуре. Общество прошло через надежды на «возврат к ленинским нормам» (многие, неспособные додумать до конца, так и застряли там) — зэк Солженицын, обнаруживший существование Архипелага ГУЛАГ, не задержался в вымышленном раю «истинного ленинизма»... (И сейчас еще на страницах русской прессы в Израиле можно найти гневное письмо читателя: «Ленина не троньте... Ленин — светлый гений... Ленин любил евреев...»). С каждым шагом у Солженицына в жизни оставалось одним мифом меньше. Остались последние неприкосновенные штампы, и первый из них **народ**, самый устойчивый миф, сформировавшийся в сознании российской интеллигенции с тех пор, как она осознала себя интеллигенцией. «Изнывающая от боли за *страдающего брата*, русская литература прошлого века создала... в серебряном окладе и с нимбом седовласый образ народа, соединившего в себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие». Но спустившись в народ — вернее, сброшенный в народ грубым пинком неправосудия — Солженицын-Нержин «ясно увидел, что эти люди ничуть не выше его. Они не стойче его переносили голод и жажду. Не тверже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока... А еще они были жадней к мелким благам: «дополнительной» прокислой пшениной бабке, уродливым лагерным брюкам...» Не было у *народа* никакого трансцендентного преимущества перед бывшим студентом и артиллерийским офицером, отковавшим себе душу в испытаниях.

Надеюсь, никому, кроме Союза Советских писателей и прочих филиалов КГБ, не придет в голову назвать великого писателя ненавистником собственного народа? Писателя, создавшего и образ народной праведницы Матрены, и Ивана Де-

нисовича — воплощение народа, посаженного за колючую проволоку?

И если не остановился Солженицын перед непредвзятым анализом мифа-*народа*, то ровно столько же права имеет он на трактовку любого другого вопроса, связанного с прошлым и настоящим его страны. Его богатый жизненный опыт отличен от опыта орденоносного режисера или порхающего по заграницам поэта, а художественная острота зрения и сила анализа позволяют привлечь и исторический, накопленный за столетия опыт взаимоотношений между двумя народами. И в полном соответствии с исторической правдой находит там Солженицын созидателя Архангородского и разрушителя Наума, жертву Цезаря и палача Шустермана, а то и посложней — и жертву, и стукача Иосифа Кагана.

Я вспоминаю одну из немногих публичных встреч Солженицына с его читателями в 1966 г., которую власти не сумели предотвратить. Одному из приславших из зала записку не понравилось, что медсестра, целуясь с больным (*Раковый корпус*), забывает принести кислородную подушку другому больному. Александр Исаевич в ответ развел руками и сказал только: «так было».

Так было и в истории России — не только Исаак Левитан и дело Бейлиса, но и капитан Йоффе, и Абрам Менделевич Трахтман — прототип Адама Ройтмана. В преступлениях Нафталия Френкеля — основателя системы ГУЛАГа — нельзя обвинить целый народ. Но нельзя и умолчать об этом — *так было*. И великий художник не может пожертвовать правдой. Ведь и своему народу — русскому — уделяет он не только слова умиления. Так почему же в таком случае у Солженицына должна быть иная мера для евреев? Почему должен он скрупулезно вымерять темную краску — не переложить бы, а то причислят к черносотенцам — благо, в кличках недостатка не было?

#### IV

И третье утверждение, тесно связанное с первыми двумя и вытекающее из них: — **Русское общество в долгу перед еврейским народом.** Пожалуй, полнее всего эта мысль сформулирована Максимом Горьким: «...я чувствую себя виновным за мое поведение по отношению к нему (еврею — Р. Р.), поскольку

я один из тех русских, кто допускает угнетение еврейского народа». Искушая грех давних — и совсем недавних — преступлений и гонений, современная неподцензурная литература и общественная мысль, принадлежащая к основному, «демократическому» направлению, усвоила эту концепцию. В послесталинские времена молодое общество, только начавшее сознавать себя гражданами, интеллигенцией, взялось за язву антисемитизма наряду с другими гнойниками, доставшимися ему по наследству. Один из первых документов «самиздата», получивший широкую известность — речь Михаила Ромма, где он назвал своим подлинным именем печальной памяти кампанию борьбы с «космополитизмом».

Но вернемся к Солженицыну — у него ведь, как мы видели, тоже есть описание кампании против «безродного космополитизма». Как же заканчивает он эту главу, чем подводит итог спору Ройтмана с «внутренним ночным собеседником»?

«— Кольцо обид!... С кого начинать исправлять мир? — с других? Или с себя?»

Концовка неожиданная для читателя, воспитанного на Горьком. Но чем дальше, тем очевиднее становилась правота солженицынской концепции. Да и война Судного дня заставила по-иному взглянуть на многое. Историческая концепция Солженицына глубока и лишена плоскостности. И право же, я предпочитаю эту позицию подлинного гуманиста и свободного человека умиленному сюсюканью по поводу бед и талантов еврейского народа. Израилю, ищущему свой новый образ, такая позиция должна быть близка. Еврейский народ и израильское общество сейчас, как никогда, нуждаются не в слащавых комплиментах, а в серьезном благожелательном разговоре.

Горький клялся в любви к евреям: «Это хороший народ... Еврей — это физический тип более высокой культуры и красоты, чем русский». Но тот же Горький сыграл страшную роль в укреплении идеологической системы сталинского террора, освятил рабский труд, способствовал установлению идеологии ненависти... Что же касается автора «Бабьего яра», то его давно уже никто на его родине не воспринимает всерьез, и лишь кое-кто на Западе все еще принимает прыжки паяца за марш поборника свободы.

Чтобы разорвать «кольцо обид», нужно тянуть за него с двух сторон — иначе оно просто переместится в простран-

стве и во времени. Нужно проявить взаимность, нужно искать, что изменить в своем поведении, в своем отношении к миру. Теория односторонних обязательств таит в себе опасность — это показывают некоторые статьи в русской прессе в Израиле, выдержанные в оскорбительном, недостойном тоне по отношению к другим народам. Вот, например, Яков Якир, «Я пишу Виктору Красину», *Наша страна*, 12 дек. 1973 г.: «Пусть все эти русские, украинцы, все «братолюбивые советские народы» рычат в пьянке вместе со своими женами, жлекают водку и млеют от коммунистических блефов... без нас»... «Они ползали на карачках и поклонялись деревьям и камням, а мы дали им Бога Авраама, Исаака и Якова...» Или — Меир Фридман, «Как твое фамилие», *Наша страна*, 1 октября 1973 г.: «Не знаю кто как, а я не могу равнодушно читать фамилии русского происхождения... К стыду нашему, многие олим (иммигранты — Р. Р.) из СССР приезжают с русскими и украинскими фамилиями». А то еще и почище: публикация, в которой рассказывается о деятельности еврейской организации, занимавшейся выездом евреев из послевоенной Польши, оккупированной Красной Армией: «Были также шайки поляков, пытавшиеся по тем или иным причинам бежать от властей. Для этого они решили воспользоваться нашим движением. Как ни странно, но в отдельных случаях они находили евреев, согласных помогать им и снабжавших их еврейскими документами. Узнав об этом, мы строжайшим образом преследовали виновных и помимо этого немедленно приняли меры предосторожности против просачивания фашистов в наши ряды. Наши усилия не остались незамеченными властями. Доверие к нам не было поколеблено». (Ц. Нецер. «Третий период операции «Бриха» — через Чехословакию и Австрию в Палестину». *Наша страна*. 22 апреля 1974 г.). Автор публикации довольно произвольно пользуется характеристиками: об этом свидетельствует реакция участника описываемых событий (И. Альмагор, *Наша страна*, 9 марта 1974 г.); так, тринадцать убитых «фашистскими шайками евреев оказались на самом деле жертвами советских пограничников». Но на какую передержку не пойдешь, лишь бы заслужить «доверие властей»! Подобные маневры призваны объяснить и оправдать следующее: автор находит странной и предосудительной помощь евреев поляку, в то время как помощь еврею от гибели в гитлеровской Европе признается всеми

естественным человеческим актом. Примечательно то, что в настоящее время Ц. Нецер занимает ответственный пост в израильском правительственном ведомстве, занимающемся эмиграцией из стран Восточной Европы. Это ведомство и связанные с ним круги еврейского эстэблишмента прилагают немало усилий, чтобы, в частности, убедить еврейских интеллектуалов на Западе поднимать голос только в защиту их еврейских коллег в СССР (разумеется, неевреям заступаться за евреев не возбраняется!)... Точки зрения смыкаются — следователь КГБ на Малой Лубянке, пытавшийся склонить меня к доносу на моих нееврейских друзей, придерживался аналогичного мнения: «Какое вам дело до них? Вы же еврей!» К счастью, находится немало евреев, не разделяющих теорию «односторонних обязательств». Мы в Москве считали своим долгом помочь нееврею, подвергавшемуся преследованиям властей за свои убеждения — в частности, помочь ему выехать за-рубеж.

«За озлобленное непонимание чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью» (*Нобелевская лекция*).

## V

Солженицын не раз недвусмысленно выражал свое отношение к антисемитизму. В дореволюционной России, «кто к образованию не пробился — ...гниет в черте оседлости». «На курсы сестер милосердия принимают — только христианского вероисповедания! Как будто еврейские девушки будут раненым яд подсыпать!» (*Август четырнадцатого*). И сегодняшние антисемиты вызывают у него брезгливое недоумение: «Евреев мы все ругаем, евреи нам бесперечь мешают, а оглянуться б добро: каких мы русских тем временем вырастили? Оглянешься — остолбенеешь». (*Пасхальный крестный ход*). Неоднократно выражал он и свое положительное отношение к Израилю, а о безусловном праве Израиля на существование писал еще в 1967 г. (*Ответ трем студентам*).

И все же, по-видимому, не всех устраивает, что у гуманиста и патриота Солженицына может быть мнение, отличное от мнения пролетарского гуманиста и патриота социалистического отечества Горького. И вот, уже с первым потоком еврейской

эмиграции из СССР выползла и пошла гулять версия об «анти-семитизме» Солженицына. Появились намеки в печати, пополнил «слушок». А потом выходящая в Израиле на английском языке газета «Джерузалем Пост» сочла нужным открыть дискуссию, растянувшуюся на целый год. Лишь октябрьская война 1973 года отвлекла внимание газеты от этой темы.

Началось со статьи М. Гробмана (10 ноября 1972), где Солженицын был объявлен «типичным шовинистом, со всем, что содержится в этом понятии». Основание для такой оценки: евреи в произведениях Солженицына (*В круге первом*, *Олень и шалашовка*) «без исключения, негодяи, предатели и провокаторы», Рубин, в частности, — «убежденный сталинский палач». Отсутствие еврейских персонажей в *Раковом корпусе* также свидетельствует против писателя, и т.п. Во второй статье (3 авг. 1973) Гробман идет дальше: круг «криминальных» произведений расширяется и включает уже и *Один день Ивана Денисовича*, где Солженицын «произвел свою первую анти-семитскую атаку»...\* «Умолчание» о еврейских врачах в *Раковом корпусе* — признак «молчаливого шовинизма» автора, не желающего «рассматривать создание положительного еврея как часть своей работы», и т.д. Примечательно утверждение Гробмана, что Солженицын «создал новое славянофильство, неотделимое от русского шовинизма». Эту мысль подхватил Л. Бенда, (14 сент. 1973), который дает следующую схему в обоснование «антисемитизма» Солженицына: он приверженец старой России, России царя и православного духовенства, России коленопреклонений и крестных ходов, поклонник «мелодич-

---

\* «Еврей находит себе легкую работу в тепле, в то время как Иван Денисович — этот символ русского человека — занимается тяжким трудом на трескучем морозе». Поскольку «еврей» — это Цезарь, в котором «всех наций намешано», о ценности такого «анализа» говорить не приходится. Вообще статьи Гробмана пестрят передержками, а «метод исследования» удивительно примитивен. Так, один из персонажей *В круге первом*, художник Кондрашов, не приемлет Левитана, и это объявляется дополнительным аргументом в пользу антисемитизма Солженицына. Но тот же Кондрашов «слышать не хотел о Чехове, от Чайковского отталкивался содрогаясь («Он душит меня! Он отнимает надежду на жизнь»)). К каким же выводам можно было бы придти из этого факта, используя «метод» Гробмана?

ного пения в русских церквах, деревянных хижинах, русского крестьянства»; он наследник Толстого и Достоевского, противопоставляющих патриархальную Русь звериному капиталистическому Западу. Из «славянофильства» подобного рода, по мнению автора, неизбежно следует антисемитизм.

Обвинения Гробмана не остались без ответа. 13 апр. 1973 г. со статьей «Он понимал советских евреев» выступил М. Агурский. Характерна и реакция Г. Свирского («Дж. Пост Мэгазин», 14 сент. 1973 г.). Он выражает уверенность, что единственной причиной появления статей Гробмана является желание их автора заработать себе скандальную «геростратову» славу. Разделяя возмущение Свирского, я вынужден не согласиться с таким упрощенным подходом. Если бы дело было только в этом, писания Гробмана не заслуживали бы никакого ответа. К сожалению, та готовность, о которой версия об «антисемитизме» Солженицына была подхвачена определенными кругами в Израиле и в других странах, не позволяет с легкостью отнестись к анализу причин ее возникновения. Следует отметить, что эта версия действительно нашла отклик в глубинах «еврейской души» — да простится мне это выражение. В конце 1972 г., выступая перед различной аудиторией в Соединенных Штатах — в основном, еврейской, я вдруг с удивлением обнаружил, что откуда-то возникли и каждый раз повторяются вопросы о предполагаемом «антисемитизме» Солженицына. Лишь узнав о статье Гробмана, я понял источник этих вопросов, и с тех пор неоднократно был свидетелем разговоров и обсуждений этой темы в Израиле и других странах.

Практическое использование «теории односторонних обязательств» показывает, что определенным кругам версия об антисемитизме Солженицына была бы полезна. Но главное — не в «социальном заказе», а в той легкости, с которой она нашла резонанс. Корни непонимания лежат глубоко в абсолютизированных концепциях, характерных для определенного мировоззрения. И тогда-то и появляются сочетания, представляющиеся дикими любому человеку, знакомому с общественным фоном современной России: Солженицын-антисемит, Солженицын-антиинтеллигент и т.п. Г. Свирский, очевидно, полагает, что такое сочетание столь дико для любого нормального человека, и что достаточно свести вместе наиболее дурно пахнущие высказывания Гробмана, чтоб тем самым лишить его

доверия читателя. Увы, это не так — нынешний читатель Свирского сильно отличается от читателя московского «самиздата», к которому привык апеллировать Свирский.

Когда характеризуют мировоззрение такого читателя, обычно говорят о «галутном мировоззрении», о наследии диаспоры. Не знаю. Может быть, так оно и есть. Но невольно приходит на память пресловутая формула «пережитки капитализма в сознании», с помощью которой в Советском Союзе объясняют все — и преступность, и пьянство, и прогулы. Вот уж полвека советской власти минуло, а «проклятое наследие капитализма» все жить не дает. И увы! не могу сказать я, чтобы мировоззрение *сабры*, каким оно видится недавнему иммигранту из России, было бы свободнее от привычных и хорошо известных комплексов.

Схема Бенды опасна тем, что из русского патриотизма и православия он с неизбежностью выводит антисемитизм, «укладывающийся в рамки славянофильства или пан-славизма... как у Толстого или Достоевского». Оставим в стороне довольно странное объединение под флагом славянофильства этих совершенно разных художников. Само заключение о присущем русскому патриотизму качестве, призванное увековечить отчуждение между двумя народами, достойно сожаления. К счастью, оно не соответствует истине. Подлинному христианину, искреннему и мыслящему, весьма типично уважение к еврейскому народу, народу Библии, Богоматери, Христа и апостолов. Назовем хотя бы широко известный пример великого русского православного философа В. Соловьева, умершего со словами благословения еврейскому народу на устах.

Солженицын во многом продолжатель линии В. Соловьева в русской общественной мысли. О нем он с глубоким уважением говорит и в *Раковом корпусе*, и в *Архипелаге ГУЛаг*, и в *Нобелевской лекции*. Но необязательно даже знать об отношении Солженицына к Соловьеву и его философии — достаточно обратиться к произведениям Солженицына, чтобы убедиться, что подобное восприятие еврейского народа свойственно и православному христианину Солженицыну.

Есть в *Августе четырнадцатого* эпизод, когда молодого Ложеницына — дорогой автору образ — не принимают в университет, решив по имени Исаакий, что он еврей (как не сравнить это с намеками кагебистских лекторов по адресу

Солженицына: «и отчество у него какое-то не наше!»). Он сумел исправить недоразумение, но «надолго это легло ему неразрешимой складкой... весь успех его стал на том, что он доказал: он не из той нации, через которую пришел к нам Христос».

И еще раз вспомним об эпизоде, цитированном выше: ведь это в толпе у пасхального крестного хода мелькают «мягкие еврейские лица». Они противопоставляются и ревнителям русской чистоты, которым «евреи бесперечь мешают», и атеистической хулиганско-комсомольской молодежи. Эти евреи («может крещеные, может сторонние») и пасхальный крестный ход — вместе, и они совместно противостоят «штурмовикам» и «зверьям». Линия раздела проходит здесь — линия раздела между духовностью и варварством, а не между апостолом Павлом и рабби Акивой.

И здесь мы видим разницу между русским патриотизмом Солженицына и мировоззрением так называемых «русских патриотов» — тех самых, кому «евреи мешают». отождествлять их позиции было бы по меньшей мере странно. Кстати, они сами проводят разделение. Вот что говорит их идеолог, основатель журнала *Вече*: «В последнее время Солженицын совершил ошибки, которые могут оказаться роковыми для дальнейшего исполнения им своего творческого предназначения...». А оголтелые антисемиты откровенно враждебны Солженицыну. Мне уже приходилось писать («Новый журнал», № 112) о вышедшем из их среды пасквиле за подписью Иван Самолвин. Облеченный в форму открытого письма к Солженицыну, этот пасквиль циркулировал в «самиздате» в 1972 г. Если верить Самолвину, Солженицын только тем и занимается, что клеветает на Россию по заданию международного сионизма, которому он продан за восхваления в международной прессе, полностью находящейся под контролем сионистов. Воистину, странная аттестация для «юдофоба»!

Солженицын не вписывается ни в какую плоскую схему. Тесны ему и рамки национализма. И это несмотря на то, что определяющим в его творчестве является любовь к России и служение России.

Здесь, разумеется не место для полного анализа мировоззрения Солженицына; к тому же оно не застыло, не статично. Есть определенная разница, между Солженицыным *Ракового*

*корпуса* и *Письма вождям Советского Союза*. Но и в 1974 г. сводить всего Солженицына лишь к любованию русской стариной было бы несомненной ошибкой. Достаточно вспомнить о «западническом» духе многих страниц произведений Солженицына, в том числе *Августа четырнадцатого* — глубоко патриотической книги, детища всей жизни писателя, которую он задумал в молодости и к которой вернулся во всей зрелости своего таланта. Достаточно вдуматься в существо нравственного спора между тремя основными персонажами *В круге первом*, — спора, который составляет основное содержание романа. И победу в этом споре одерживает — при всей немного иронической симпатии автора к нему — не витязь с русской бородкой Сологдин, от избытка русофильства не употребляющий заимствованных с Запада слов, и не еврей коммунист Рубин. Оба они обладали «абсолютной истиной», понимаемой ими, разумеется, по-разному. Но побеждает ищущий, запутавшийся в идеологиях, перебивавший во всех крайностях двойник автора Нержин. Ибо усвоил он: никакая абстрактная схема, ни личный успех, ни даже сохранение жизни не могут оправдать твоего участия в «ловле человеков».

И в этом Солженицын. И впору не его примерять к схемам, а по нему вымерять свое мировоззрение, свое нравственное чутье. А дискуссия? Ах, да, дискуссия...

Когда произошли известные события и различные страны стали соревноваться в изъявлении гостеприимства писателю, лишенному родной земли, в числе пригласивших Солженицына был и мэр Иерусалима Тедди Колек. Он предложил писателю «приехать и творить в городе пророков и моральных ценностей еврейского народа». Пожалуй, это приглашение мэра является своеобразным завершением дискуссии в газете, выходящей в его городе.

*Роман Рутман*

## Б. С. ИЖБОЛДИН КАК ЭКОНОМИСТ

В этом году исполнилось семьдесят пять лет со дня рождения известного русско-американского экономиста Бориса Сергеевича Ижболдина, заслуженного профессора Сейнт-Луисского университета в штате Мизури. Профессор Ижболдин происходит из знатной и очень богатой обрусевшей татарской семьи, и со стороны матери является потомком Рюрика по линии князей Суздальских. Весной 1917 года он окончил Николаевский Лицей в Москве с первой золотой медалью. Получил аттестат зрелости из рук св. патриарха Тихона на последнем акте Лицея 13 января 1918 года. В 1925 году получил степень кандидата коммерческих наук и в 1926 г. — кандидата экономических наук в Высшем Коммерческом Институте в Берлине; в 1928 г. — степень доктора государственных наук в Кельнском Университете.

Его докторская диссертация под заглавием «Русская внешнеторговая политика» была издана в 1930 г. крупным германским издательством Густава Фишера в Иене. В 1937 г. в качестве приватдоцента он получил после защиты диссертации степень магистра политической экономии и статистики от Русского Института прав и экономики при Парижском университете. В качестве большого исключения в экзаменационной комиссии с правом голоса участвовали Павел Петрович Гензель, профессор политической экономии в Северо-Западном Университете в Америке, и профессор Павел Беркенкопф, как представитель Кёльнского университета. Впоследствии несколько глав диссертации были напечатаны на русском языке по рекомендации профессора П. Б. Струве в «Записках Русского Научного Института в Белграде».

Б. С. Ижболдин был членом экономического отдела Русского Института права и экономики при Парижском университете, возглавлявшемся известным профессором международного права Б. Э. Нольде, который в 1917 г. составил текст отречения Великого Князя Михаила Александровича от пре-

стола. В 1930-32 гг. Б. С. Ижболдин работал в Русском Научном Институте при Белградском университете, где экономический отдел возглавлял П. Б. Струве. Ввиду близкого отношения Б. С. Ижболдина к германскому «Архиву Международного Хозяйства» в Киле он в качестве эксперта участвовал в 1931 г. в сербско-германской конференции в Белграде, созванной для обсуждения создания «средне-европейского экономического регионального блока». Конференция возглавлялась маститым сербским экономистом Велимиром Байкичем, который был первым министром финансов Югославии.

С 1931 по 1939 г. профессор Ижболдин снова работал в Русском Институте права и экономики при Парижском университете, где имел близкие отношения к профессорам М. А. Бунятыну, М. В. Бернацкому и А. Н. Анцыферову, возглавлявшему русскую академическую группу в Париже.

В 1938 г. Ижболдин выступил с научными докладами по поручению Британского общества для покровительства науке в нескольких университетах Америки, в частности, в Питсбурге, Миннеаполисе, Эванстоне, Цинцинати и т.д.

С 1945 по 1971 г. Б. С. Ижболдин преподавал на экономическом отделении Сейнт-Луисского университета; в настоящее время он там имеет ранг заслуженного ординарного профессора экономических наук.

Наибольшим научным достижением Б. С. Ижболдина было его участие в создании школы экономического синтеза в Западной Германии в сотрудничестве с известным экономистом Артуром Шпитхофом, преподававшим в Боннском университете, и Вильгельмом Флойгельсом, учившем в Кёльнском университете. Первым вкладом Б. С. Ижболдина был его этюд под заглавием «Теория хозяйства как наука о действительности», напечатанный в 1934 г. в «Архиве Шмоллера». Школа экономического синтеза признает наличие некоторых вечных экономических законов, как например «теория предельной полезности», «теория убывающей производительности», «зависимость народного благосостояния от соотношения между хозяйствующим человеком и природой». Большое значение придается, однако, историческим хозяйственным законам, которые зависят от данного социально-экономического строя и в силу этого имеют также социологический характер.

Школа экономического синтеза придает большое значение

соответствию данного экономического феномена данному социально-экономическому строю и в силу этого не смешивает форму с содержанием. Так например, монополия при капитализме значительно отличается от монополии в условиях социализма. В этом отношении большое влияние на школу экономического синтеза оказал знаменитый германский экономист Вернер Зомбарт, который был близким учителем Б. С. Ижболдина в Берлине. Он, однако, не присоединился к новой школе, ибо скептически относился к перманентным экономическим законам, будучи в принципе историком-релятивистом.

Развитие школы экономического синтеза в Западной Европе (преимущественно в Германии) было радикально прервано начавшейся в 1939 г. Второй мировой войной. Спасение и развитие школы было исключительной заслугой профессора Б. С. Ижболдина, который в своем роде экспортировал эту школу в Индию и особенно в Америку.

Второй этап ее развития можно приурочить к 1958 г., когда была опубликована в Нью-Дели его книга на английском языке под заглавием «Экономический синтез» (второе издание — 1964 г.). Значение школы экономического синтеза в особенности в США заметно возросло в 1967 г., когда Сейнт-Луисский университет издал на английском языке второй капитальный труд профессора Ижболдина 'Genetic Economics' («Эволюционный подход к истории хозяйства»). Это дало возможность школе развить науку о хозяйстве в форме синтеза между теорией истории хозяйства и теорией экономики, распадающейся на исторические (институционные) и абстрактные (чисто логические) модели.

Начиная с 1958 г. Ижболдин развил основную методологическую схему науки о хозяйстве. Первая ступень этой схемы наиболее абстрактна и относится к человеку как к существу рациональному, но не социальному. Поскольку такой подход игнорирует влияние всех учреждений на хозяйствующего индивида, он имеет ограниченное значение. Вторая ступень схемы развивает теорию «экономических структур» (напр., натуральное хозяйство в противовес денежно-товарному хозяйству) и «рыночных формаций» (напр., монополия в противовес олигополии). В этом случае уже имеются некоторые Третья ступень схемы, дающая теорию различных социально-социальные соотношения, но еще в очень упрощенной форме.

экономических строев (или «стилей») включает социальную психологию и социологию уже в конкретной форме. На этой ступени все экономические отношения анализируются с точки зрения данного экономического строя, так что экономист не будет смущен фактом, что иной раз имеются некоторые структурные сходства в хозяйстве стран с разным социально-экономическим строем.

Теперь нередко имеется ложная тенденция преуменьшить различие между капитализмом и социализмом, вызванная смещением формы и содержания. Высшая ступень методологической схемы экономического синтеза исследует последовательные фазы данного социально-экономического строя. Так например, сейчас Америка имеет финансово-административную фазу капитализма, которая постепенно превращается «в экономику народного благосостояния на капиталистической основе». Иными словами эволюция свободного мира идет в сторону «социального коллективизма», который в отличие от социализма не стремится к национализации средств производства.

На втором этапе эволюции школы экономического синтеза профессор Ижболдин интегрировал в нее такие оригинальные идеи как «социальная рента» и «социально-экономический баланс». Идея гарантированного годового минимального дохода для неработоспособного гражданина была выдвинута им еще в 1936 г. на страницах видного германского экономического журнала, издаваемого в Мюнхене; в 1937 г. она появилась в сильно сокращенной форме в русском журнале «Новый Град», издававшемся И. И. Бунаковым в Париже.

Статья о социально-экономическом балансе была опубликована в 1936 г. в «Архиве Шмоллера» в Берлине и вызвала большое одобрение со стороны Зомбарта и знаменитого австрийского экономиста О. Шпанна. В последнее время эта идея Ижболдина была хорошо принята в Италии.

Когда в 1967 г. появился в печати второй основной труд Б. С. Ижболдина, дающий эволюционный подход к истории хозяйства, он предложил оригинальную генетическую теорию экономического роста, которая по своей конкретности и ясности превзошла более абстрактную теорию роста, развитую американским историком хозяйства Вальтом Ростовым.

Правильность теории Ижболдина легко доказать историей фондовой биржи. Когда во втором веке до Р. Х. Катон Старший

создал такую биржу в Риме, она оказалась преждевременной (т.е. исторической случайностью) и была сравнительно скоро ликвидирована императором Августом как вредная спекулятивная организация. Фондовая биржа была восстановлена в 14 веке после Р. Х. в Брюгге (в Бельгии), хотя и в примитивной форме. В этом случае она уже являлась генетическим семенем. В 15-16 веке биржа превратилась в Антверпене и Амстердаме в генетическое ядро, которое в 18 веке в Лондоне стало насущной чертой капитализма. При появлении финансовой фазы капитализма в конце 19 века фондовая биржа оказалась одним из детерминирующих факторов капиталистического строя даже в царской России.

Введение советского строя в 1917 г. свело это мощное учреждение на-нет, ибо оно было «несозвучно» новому социально-экономическому строю. В действительной жизни не всякое учреждение и не всякая идея превращаются в детерминирующий фактор и могут даже при случае бесследно исчезнуть на продолжительный срок.

Монументальный труд профессора Ижболдина под заглавием «Экономический синтез» отнюдь не является эклектическим трудом. Он интегрировал с большой продуктивностью некоторые элементы классической, неоклассической, маржиналистской, Кейнской и романтической школы.

Не только пишуший эти строки, но и другие ученики Ижболдина считают, что его обе основные книги, представляющие ценный вклад в теорию и историю хозяйства уже могут рассматриваться «классическими трудами» и окажут некоторое влияние даже на будущие поколения экономистов. Значительным вкладом Б. С. Ижболдина в историю экономических доктрин является его труд под заглавием «История немарксистской русской социально-экономической мысли», вышедший в 1972 г. в Индии. Многие компетентные рецензенты выразили мнение, что эта книга «заполнила важный пробел в истории экономических доктрин». Такие отзывы уже появились в печати Америки, Индии, Германии, Франции, Италии и русского Зарубежья.

Когда в половине 1950-х годов стала проявляться — тенденция развить чисто математический подход к науке о хозяйстве, игнорирующий большое влияние социальных, психологических и политических факторов на хозяйственную деятель-

ность любого народа, профессор Ижболдин, который придает большое значение влиянию истории и культуры на экономическую жизнь, процессу эволюции и «диалектической игре социальных сил», издал в 1959 г. в Индии на английском языке этюд под заглавием «Критика эконометрии». В течение нескольких лет эта работа была переиздана в Америке и переведена на немецкий и испанский языки.

Третий и пока что последний этап эволюции школы экономического синтеза наступил в 1967 г., когда Ижболдин показал в своем труде, касающемся эволюционного подхода к истории хозяйства, что социально-экономическая жизнь человечества находится в настоящее время под влиянием двойной революции, в которой социальная и кибернетическая (технологическая) революции диалектически сталкиваются и одновременно усиливают друг друга. Этот факт привел Б. С. Ижболдина к выводу, что экономический синтез не может игнорировать эконометрической техники, отражающей кибернетическую революцию (в частности, процесс компьютеризации). Все же экономическая наука навсегда должна остаться в основе своей дисциплиной антропоцентрической, социальной и генетической (эволюционной). Народное хозяйство никогда нельзя будет свести к точному, бездушному и чисто количественному механизму. Идея создания некоторого сосуществования между социальным и кибернетическим подходом к науке о хозяйстве получила разработку в книге автора этой статьи, вышедшей в 1972 г. под заглавием «Экономический синтез как наука о системе».

Следует еще отметить, что профессор Ижболдин известен также в качестве историка-ориенталиста. Его «Очерки по татарской истории», вышедшие в Индии в 1963 г., были неоднократно отмечены профессором Г. В. Вернадским в его монументальном труде по истории России, изданном в нескольких томах Иельским университетом. Второе издание «Татарской истории», вышедшее в 1973 г., получило лестный отзыв со стороны профессора Гайдерабадского университета в Индии, главного редактора журнала, посвященного культуре Ислама.

Не только автор этой статьи, но и другие близкие ученики профессора Ижболдина разных национальностей видят в нем представителя трех отдельных культур: русской, европейской и американской, к которым он подходит не пассивно, а с неко-

торым творческим порывом, что типично для него как ученого и преподавателя.

Недавно основанное в Сейнт-Луисе «Новое экономическое общество» издало в 1974 г. книгу под заглавием «Человеческий фактор в социально-экономическом развитии», которая написана близким учеником Б. С. Ижболдина Иосифом Шари и посвящена ему как ментору «школы экономического синтеза».

*Др. Джон А. Шарп*

*Профессор экономических наук в Государственном  
Флориссанском Колледже в Сейнт-Луис, Мизури*

## СТОЛЫПИН И КРИВОШЕИН\*

Книга К. А. Кривошеина представляет читателю подробную личную и служебную биографию его отца, Александра Васильевича Кривошеина, бывшего в 1908-1915 гг. главноуправляющим ведомства землеустройства и земледелия и, следовательно, руководителем проведения в жизнь столыпинских аграрных реформ.

Перед текстом находится краткая психологическая характеристика А. В. Кривошеина, написанная быв. начальником его канцелярии И. И. Тхоржевским, а последняя глава: «Александр Васильевич» содержит характеристику А. В. Кривошеина, представленную его сыном.

А. В. Кривошеин был сын армейского офицера и внук крестьянина; не принадлежал, по происхождению, к правящим кругам. Он добился своих успехов только своими способностями и своим неустанным трудом.

А. В. Кривошеин родился в 1857 г. в Варшаве (где служил его отец), здесь окончил гимназию, потом прошел курс юридического факультета С.-Петербургского университета. Служил, большею частью, по ведомству министерства внутренних дел. В 1896 г., при учреждении Переселенческого управления, был назначен помощником начальника этого управления и фактически руководил его деятельностью, а в 1902 г. был формально назначен его начальником. При преобразовании в 1905 г. министерства земледелия в главное управление землеустройства и земледелия А. В. Кривошеин был назначен товарищем главноуправляющего, и в августе этого года представил для доклада государю записку — проект создания объединенного правительства (текст, приведенный на стр. 28-34 и, по утверждению К. А. Кривошеина, до сих пор не был опубликован). В 1906 г. А. В. Кривошеин был назначен управляющим Дворянским и Крестьянским земельными банками, занимая пост то-

---

\* К. А. КРИВОШЕИН. *А. В. Кривошеин (1857-1921). Его значение в истории России начала XX века.* Париж, 1973 (351 стр.).

варища министра финансов (названные банки находились в ведомстве министерства финансов). В мае 1908 г. П. А. Столыпин провел назначение Кривошеина на пост главноуправляющего землеустройством и земледелием, на котором он оставался до октября 1915 г., будучи главным практическим «осуществителем» столыпинской земельной реформы.

В оценке личной роли Столыпина в этом большом деле рецензент этой книги должен разойтись с ее автором. К. А. Кривошеин не раз употребляет выражение «столыпинская» реформа в иронических кавычках, указывая на заслуги в этой области С. Ю. Витте и товарища министра внутренних дел В. И. Гурко и приводя соответственные цитаты из их мемуаров. Должно, однако, иметь в виду, что оба мемуариста относились к Столыпину с личной неприязнью и на их оценки нельзя полагаться. К. А. Кривошеин пишет: «Элементарная историческая справедливость требует отдать должное капитальной роли Витте в подготовке реформы, хотя ему и не суждено было осуществить ее самому». Он и не стал бы ее осуществлять. При Александре III Витте был сторонником — сохранения крестьянской земельной общины, но в 1904-5 гг. он изменил свое мнение и составил две записки по крестьянскому делу, которые были, по выражению Кривошеина, «беспощадным обвинительным актом» против общинного землепользования; однако, в практическом решении вопроса о переходе от общинного к личному землевладению Витте проявил «большую осторожность» и «некоторую робость». К столыпинскому аграрному закону о праве перехода крестьян от общинной к личной собственности на землю Витте отнесся совершенно отрицательно и при обсуждении его в заседании Государственного Совета 15-го марта 1910 г. выступил против него с решительной критикой, а в заседании 16-го марта Витте сделал следующее заявление: «Я сторонник личной собственности в теории, но, практически, я нахожусь в сомнении, можно ли дать ее крестьянам или нет; во всяком случае считаю, если нужно дать, то, может быть, только в некоторых местностях, некоторых губерниях и уездах, но нельзя этого делать во всей России сразу» (Стенографические отчеты Государственного Совета за 1909-1910 г., столбец 1231). «Прослушав» такие речи Витте, имеем ли мы право говорить о его «капитальной роли» в подготовке аграрной реформы 1906-1910 гг.?

Ссылаясь на мемуары В. И. Гурко, К. А. Кривошеин говорит о «некомпетентности» Столыпина в юридическом строе общинного землевладения и о том, что он только летом 1906 года преодолел свои колебания в отношении необходимости решительного преобразования аграрного строя (впрочем, на стр. 70 и в примечании на стр. 79-й автор замечает, что колебаний и некомпетентности Столыпина «нельзя преувеличивать»...).

В действительности Столыпин, еще будучи саратовским губернатором, совершенно ясно видел преимущество единоличной собственности на землю перед общинным землепользованием; в своем отчете «на Высочайшее имя» о состоянии Саратовской губернии в 1904 г. он писал, что причиной «жалкого прозябания» крестьян является «всепоглащающее влияние на весь уклад сельской крестьянской жизни общинного владения землею, общинного строя». — «Естественным противовесом общинному началу является единоличная собственность (на землю). Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет собою ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве» («Красный Архив», т. 17). Губернатор предлагает дать возможность «трудолюбивому хлеборобу» приобрести отдельный участок, «вырезанный» из земель казны или Крестьянского банка.

К. А. Кривошеин указывает на слишком скромный характер предлагаемого Столыпиным мероприятия, в котором, якобы, отражалось его «слишком робкое» отношение к общине в это время. Но не мог же Столыпин, один из провинциальных губернаторов, представлять царю проект коренной ломки общинного землевладения, зная, что и царь и консервативная верхушка петербургской бюрократии видят в общинном строе один из национальных «устоев» государства Российского.

Можно допустить, что Гурко, бывший председателем комиссии, выработавшей проект указа 9-го ноября, был более чем Столыпин компетентен в юридических и технических вопросах касательно крестьянского землевладения, но ведь если бы Столыпин не взял это дело в свои крепкие руки и не убедил бы большинство членов Совета министров одобрить проект будущего указа 9-го ноября, а царя — подписать этот указ, то проект, составленный комиссией Гурко, покоился бы на полках архива министерства внутренних дел вместе с множе-

ством других проектов и «записок», на которые в то время был большой урожай.

Чтобы оценить деятельность Столыпина и Кривошеина в их усилиях рационального решения аграрного вопроса в России, надо рассматривать эту деятельность в исторической перспективе. Изучение истории этого вопроса наводит историка на весьма грустные размышления. На рубеже XIX-XX в., как и раньше, несомненной была бедность значительного большинства русского крестьянства. Но ни правительство, проявлявшее «неустанное попечение о нуждах крестьянского сословия» путем образования разного рода комиссий и «особых совещаний» для обсуждения разного рода «записок по крестьянскому делу»; ни певцы народного горя, проливавшие поэтические слезы о страданиях и стоне сеятеля и хранителя земли Русской; ни прогрессивные «общественные деятели» и ученые экономисты, видевшие главную причину крестьянской бедности в «малоземелье», тогда как в руках русских крестьян находилось гораздо больше земли, чем в руках их преуспевающих и безбедно живущих европейских собратьев — никто не видел или «не замечал» главной и основной причины крестьянской бедности — системы общинного землепользования с его обязательным трехпольем, черезполосицей и земельными переделами и связанной с этим «допотопной» системы земледелия, с ее ужасающе низкой урожайностью крестьянских полей, когда удовлетворительным считался урожай «сам-пять» или «сам-шесть» (т.е. четыре или пять зерен на одно зерно посеянное), что давало 30-35 пудов с десятины (тогда как урожайность соседних частновладельческих полей, с надлежащей их обработкой, была раза в три выше этой мизерной «нормы»).

Как было не бедствовать русскому мужику, когда он мелко ковырял землю примитивной сохой; когда он сеял вручную, забирая зерна горстью из лукошка, висевшего у него на шее, и разбрасывая их по своим узким полоскам; во время *жатвы* он снимал хлеб не косилкой, а косой, а кое-где еще сохранялась древняя жатва в точном смысле этого слова, когда крестьянки-женщины, изгибаясь «в три погибели» и захватывая левой рукой горсть хлебных стеблей, срезали эти стебли кривым ножом, носившим почетное название «серб»; когда мужик на току выколачивал зерна из колосьев деревянным цепом, а потом веял жито на лопате силою ветра.

И совершенно скандальный факт! Не только правительство и «общество», но даже земские учреждения (введенные в 1864 г.) только с начала XX в. начали серьезно заботиться об оказании агрономической помощи населению — нанимать агрономов,\* устраивать «опытные поля», устраивать склады сельскохозяйственных машин и орудий для продажи их крестьянам на льготных условиях, и склады эти в 1907-14 гг. (в «стольпинскую эпоху») вели бойкую торговлю и быстро раскупались крестьянами.

Деятельность А. В. Кривошеина по проведению в жизнь аграрной реформы описывается автором на стр. 84-111. Первым шагом было укрепление наделов общинной земли в личную собственность крестьян-домохозяев, и миллионы крестьян-общинников подали заявления об укреплении за ними их наделной земли; но юридический акт укрепления наделов, при сохранении черезполосицы и трехпольного севооборота, не решал вопроса об экономическом подъеме крестьянского хозяйства, и скоро центр тяжести ведомства, возглавляемого Кривошеиным, был перенесен на землеустройство. В 1906 г. были учреждены губернские и уездные землеустроительные комиссии, а в 1911 г. правительством было проведено через Государственную Думу подробно разработанное положение о землеустройстве. В состав землеустроительных комиссий входили, кроме чиновников, представители местного земства и крестьян, а техническую работу размежевания полей исполняли сначала сотни, а потом тысячи землемеров (число «межевых чинов» возросло с 600 чел. в 1907 г. до 7000 чел. в 1914 г.). Главную целью их работ было сведение разрозненных полосок земли, укрепленных за отдельным домохозяином, в один участок, «отруб» (когда крестьянин-собственник оставался жить в деревне) или «хутор» (когда он поселялся на своем участке вне деревни). Работа эта, при запутанности аграрных отношений в общинном строе, была чрезвычайно сложной и трудной, но подвигалась успешно, и в 1916 г. число хуторов и отрубов достигло 1.229 тыс., а площадь отведенной им земли 11.336 тыс. десятин. Кроме того землеустроительные комиссии производили много иных работ по групповому и единоличному

---

\* В 1895 г. на всю Россию было на службе земских агрономов 134, казенных 14; в 1915 г. соответственные цифры 3266 и 1365.

землеустройству и, конечно, множество начатых работ остались незакончены к 1917 г.\*

Второй — после землеустройства — важной частью столыпинской социально-экономической политики, осуществлявшейся под руководством А. В. Кривошеина, было заселение Сибири русскими переселенцами. В 1906-1913 гг. в Сибирь переселилось свыше 3-х миллионов крестьян, причем с 1911 г. правительственная регламентация переселения была прекращена, и оно регулировалось только размерами правительственных ссуд переселенцам, возрастающих по мере трудности и отдаленности заселяемых районов. В результате крестьянской самодеятельности и правительственной помощи в Сибири в предвоенные годы происходил быстрый рост земледелия и скотоводства, значительно превышавший рост населения. В средне-азиатских областях ведомство А. В. Кривошеина производило оросительные работы (устройство каналов), которые способствовали огромному росту посевной площади хлопка.

Добавлю, что широкое развитие деятельности руководимого А. В. Кривошеиным ведомства нашло яркое отражение в цифрах государственного бюджета: расходы главного управления землеустройства и земледелия, составлявшие в 1906 г. 36 миллионов рублей, в 1914 г. составляли 146 милл. рублей.

В своей сложной и многотрудной деятельности А. В. Кривошеин стремился опираться на содействие «общественности». В своей речи на тему «мы и они», произнесенной им в июле 1913 г. в Киеве при открытии сельско-хозяйственной выставки он говорил о необходимости не только «мирного сосуществования», но и дружественного сотрудничества между правительством и обществом. На местах Кривошеин привлекал к участию в работе землеустроительных комиссий представителей

---

\* О ходе и результатах столыпинской аграрной реформы см. George Pavlovsky. *Agricultural Russia on the Eve of the Revolution*, London, 1930. — С. Г. Пушкарев. *Россия в XIX веке*. Нью Йорк, 1956, гл. IX. — С. М. Дубровский. *Столыпинская земельная реформа*. Москва, 1963. Дубровский, конечно, всячески поносит Столыпина и утверждает, что его реформа потерпела «фиаско», но приводимые им во множестве статистические таблицы свидетельствуют о значительном и всестороннем подъеме сельского хозяйства в 1907-1914 гг.; это был именно подъем крестьянского хозяйства, ибо на экономику и технику помещичьих хозяйств реформа непосредственно не влияла.

земства и крестьян, а в центре стремился установить дружественные отношения с Государственной Думой (и значительно в этом преуспел).

До смерти Столыпина (в 1911 г.) у Кривошеина было согласие и тесное сотрудничество с премьер-министром, но после назначения В. Н. Коковцова председателем совета министров у Кривошеина скоро возник «конфликт с Коковцовым», вытекавший из разного понимания принципов финансово-экономической политики; для Коковцова (занимавшего, одновременно с премьерством, пост министра финансов) главными целями было «бюджетное равновесие» и накопление золотого запаса; для Кривошеина — широкое развитие производительных сил страны. Огромный рост дохода от казенной винной монополии возбуждал недовольство тем, что «правительство спаивало страну» (как тогда говорилось). Государь также был озабочен ростом народного пьянства.

В конце 1913 г. возник вопрос о смене премьер-министра; Кривошеин в это время пользовался расположением царя, который предложил ему занять место Коковцова, но Кривошеин отказался и рекомендовал назначить министром-председателем И. Л. Горемыкина, а министром финансов — П. Л. Барка, каковые назначения и состоялись в январе 1914 года.

Я не имею определенного мнения о финансовых талантах Барка, но выдвижение Горемыкина на пост конституционного премьер-министра представляется мне весьма неудачным. К. А. Кривошеин называет время с января 1914 г. до октября 1915 г. (когда Кривошеин был уволен в отставку) временем «фактического премьерства» Кривошеина, но с этим трудно согласиться. «Формальный» глава правительства И. Л. Горемыкин не был и не мог быть каким-то безвольным орудием в руках «фактического премьера» Кривошеина. Твердый и сухой старик, закорузлый бюрократ, Горемыкин мирился с Государственной Думой как с неизбежным злом, а душою и сердцем склонялся к тому самодержавно-бюрократическому строю, которому он так долго служил «верою и правдою», и в 1915 г. он сказал (как сказал бы в 1895 г.) «слово государя для меня закон».

А царское расположение к министрам было величиной неопределенной и переменной. Одновременно с расположением к Кривошеину, царь питал самое дружеское расположение к министру внутренних дел Н. А. Маклакову, откровенному про-

тивнику Государственной Думы и «общественности». Каким же «премьером» мог быть в это время Кривошеин вне своего Министерства?

Неудачный ход войны (и в частности «снарядный голод») вызвал общественное недовольство военным министром Сухомятиным и замену его (летом 1915 г.) генералом Поливановым. Автор книги указывает на «важную роль», которую сыграл Кривошеин в этой замене, так же как и в увольнении реакционных министров Щегловитова и Саблера. Кривошеин стремился к примирению с думским «прогрессивным блоком» и к созданию министерства ген. Поливанова с участием А. И. Гучкова, но царь отверг этот проект. В августовском и сентябрьском конфликте министров с Горемыкиным царь стал на сторону последнего, и это означало «крушение кривошеинских надежд» и конец «кривошеинского фактического премьерства», а в октябре Кривошеин был уволен в отставку (с похвальным рескриптом и с орденом).

В августе 1918 г. Кривошеин перебрался из ленинского царства в Киев; следующими «станциями» были Екатеринодар, Ростов и — Париж. В мае 1920 г., по вызову ген. Врангеля, Кривошеин отправился из Парижа в Крым и 6 июня 1920 г. был назначен помощником главнокомандующего по гражданской части, т.е. главою гражданского правительства. Это был последний этап его службы на Русской земле. Он умер в Берлине в октябре 1921 года.

Книга К. А. Кривошеина написана на основании солидного изучения источников и литературы, относящихся к теме. После каждой главы следуют многочисленные примечания со ссылками на источники и с некоторыми цитатами, дополняющими изложение в тексте.

В заключение должно сказать, что книга К. А. Кривошеина заслуживает внимания и специалистов-историков и «широкой публики». А. В. Кривошеин, наряду с Витте и Столыпиным, принадлежал к числу тех немногих крупных государственных деятелей на рубеже XIX и XX в., которые хотели и могли вести Россию по пути внутреннего преуспеяния и внешнего могущества и могли бы иметь успех в достижении этих целей, если бы... много было этих «если бы» и в международных отношениях того времени и внутри государства Российского...

*С. Пушкарёв*

## СОБЛАЗНЫ ИСТОРИИ

С некоторых пор, в русской эмиграции обнаружился повышенный интерес к истории. Имеется в виду не та эпоха двадцатых-тридцатых годов, когда за границей подвизалась большая группа блестящих русских профессоров-историков, таких как Ростовцев, Виноградов, Васильев, Лаппо, Шмурло, Кизеветтер, Вернадский. Труды их высоко оценены западным миром. Имена их войдут в Пантеон русской культуры.

Но здесь речь идет не об этих ученых и не об их наследстве, а о людях никаких трудов не писавших, но смело и горячо спорящих по вопросам истории. Каждый разговор на историческую тему превращается у них в жаркую политическую дискуссию: «Погибла ли Россия?», «Является ли СССР Россией?» — вот ее любимые темы.

Была у меня, года два-три тому назад, переписка с одним почтенным доктором требовавшим точного объяснения причин современных событий, занимавших его. Все мои уговоры — не считать историю ни «учительницей жизни», ни прикладной наукой, способной объяснять настоящее и будущее, не имели успеха. «Если история ничему не учит, — ответил мне доктор, — или учит очень малому, то эта наука есть сборник занимательных рассказов и жизнеописаний замечательных людей. Она, как бы подраздел изящной словесности со специальным интересом для психиатров и психологов. Она нужна тогда для получения магистерского звания и воспитания патриотизма в юношах».

Надо ли пояснять, что тут слышим голос не академически воспитанных историков, а людей захваченных политическими страстями и размышлениями. История прельщает их не утолением жажды знания, а желанием получить ответ на волнующую тему. Большую популярность приобрели так называемые «вольные философы» типа Бердяева, Федотова, Степуна, отказавшиеся от изучения истории и заменившие его интуитивным «постижением». Так, устанавливали они генетическую связь

между «Москвой Третьим Римом» и «Третьим Интернационалом», давшую им право объявить Россию извечным носителем идеи коммунизма и мирового господства. «Открытие» было подхвачено и имело большой успех. Но никому в голову не пришло заняться монографическим изучением этого сюжета. Монографическое изучение в эмиграции, вообще, замерло и вместо исследовательских работ вводящих в научный оборот новый материал или новые точки зрения, усилилась тенденция писать водянистые общие обзоры от Рюрика до Ленина и возросла страсть к вольным суждениям отмеченным знаком не объективного познания минувшего, а политическими страстями и спекуляциями нашего времени.



Давно установлено, что блестящее развитие физико-математических и биологических наук не мало способствовало перенесению их методов на дисциплины гуманитарные, в том числе, на историю. Вошли в обиход выражения: «законы истории», «причинно-следственная зависимость», «железная необходимость».

Никому, однако, не удалось сформулировать ни одного закона истории. Вряд ли они и возможны. Объектом исторического изучения является человек — существо резко отличающееся от предметов мертвой и всех видов живой материи. Наличие ума, воли, желаний, побуждений этического, религиозного, культурного порядка, делают это явление сугубо индивидуальным, не подводимым ни под какие «закономерности».

Законы естественных наук выведены путем эксперимента и зиждутся на принципе повторяемости явлений. Но никакого эксперимента не может себе позволить историк-исследователь. Предмет его изучения отделен от него реками и морями времени, находится всегда вне поля его непосредственного рассмотрения. Понятие о нем составляется на основании письменных или археологических источников, часто очень скудных. Даже, если их много, они никогда не дают полной и точной картины реального события. А бывают настоящие провалы в источниках. Взять, хоть бы такое грандиозное событие, как дунайские походы Траяна во втором веке нашей эры. В сравнении с ними, завоевание Галлии Юлием Цезарем было мелкой колониальной войной конца девятнадцатого, начала двадцатого

века. Но книга Цезаря о галльской войне дошла до нас и отвела этой войне большее место в истории, чем ей полагалось бы, а от нескольких томов описания походов Траяна сохранились одна фраза в труде грамматика шестого века, да несколько отрывков из греческого произведения писанного, как полагают, лейб-медиком императора.

Вот один из примеров тщеты поисков «закономерностей» в истории.

Нет в ней и повторений. Выражение: «история повторяется» придумано не историками, а безответственными «мыслителями». **Историческое есть качественно единственное.** Это главное, что надо знать об истории. Сторонники «закономерностей» отстраняют этот тезис, рассматривают историю не с индивидуализирующей, а с обобщающей точки зрения. «Обобщения» — один из приемов искажения истории.

Величайшими «обобщителями» являются большевики. «История это политика опрокинутая в прошлое» — провозгласил М. Н. Покровский. Ему же принадлежит другой лозунг: — «История самая политическая из всех наук». Оба лозунга делают ненужным ее изучение. Она укладывается в готовую политическую схему.

Любопытно, что в России предшественником такого исторического взгляда, был человек клерикально-католических воззрений, хотя и православный по крещению — кумир русской «прогрессивной» интеллигенции, знаменитый П. Я. Чаадаев. Исследовательское начало объявлено им ненужным, вредным, отвлекающим разум от «истинных **поучений**». «К чему эти сопоставления веков и народов, которые нагромождает тщеславная ученость?... Ни отыскивать связь времен, ни вечно работать над фактическим материалом — ни к чему не ведет... Истории в наше время нечего делать, кроме, как размышлять».

Писано это, когда изучение египетских иероглифов и ассирийской клинописи только начиналось, когда мир ничего не знал еще ни об ахеменидской Персии, ни о хеттской культуре. Все великие открытия девятнадцатого века были еще впереди, а наш философ уже тогда объявил их ненужными. История для Чаадаева не загадка, не тайна, а нечто познанное в своей сущности. Как для большевиков все непреложные законы открыты Марксом и неизбежно ведут к коммунизму, так у Чаадаева человечество идет к царству Божию и задача историка

сводится к созерцанию божественной воли «властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям».

Распространена в эмиграции манера «осмыслять» современность через историю; ищут виновников теперешних бедствий не в настоящем, а в прошлом, иногда, в очень далеком. Упускается при этом из вида непеременимое условие: — хорошо знать свое собственное время. Но не было еще человека «познавшего» свою эпоху, это все равно, что увидеть Монблан стоя у его подножия. Надо отойти на значительное расстояние, чтобы открылась вершина и весь его охват. Каждая эпоха открывается не современникам, а поздним поколениям. Современники меньше всего имеют права делать о ней какие либо заключения. Недаром, в дореволюционных университетах диссертации на темы совсем недавнего прошлого не допускались к защите.



Но может быть история, в самом деле, не наука и ничему не учит или учит слишком малому, как писал мой корреспондент доктор В.? Термин «наука» в ученом мире до сих пор не распространяется ни на историю, ни на литературоведение, ни на искусствоведение, ни на одну из гуманитарных дисциплин. Они стоят отдельно от «подлинных» наук — математики, физики, астрономии. Ни ролью точной науки, ни ролью «учительницы жизни» история не может похвастать. Утилитарное ее значение не принимается во внимание даже теми кто делает историю — царями, президентами, министрами, знающими ее чаще всего в размере гимназического курса, а то и вовсе не знающими. Нет, пожалуй, ни одной стороны государственной либо общественной жизни где бы история чему то помогала и обнаружила практические свойства. Нужна ли она, вообще?

Большевики, одно время, решили, что не нужна и отменили ее преподавание в школе. Заменили «обществоведением». Но снова восстановили в правах через несколько лет. Факт этот любопытен. Что бы ни говорили о бесполезности, «ненаучности» истории, она всегда занимала большое место в культурном обиходе человечества. Еще в древности ее ценили и превозносили. Чтение Геродотом своего труда на Олимпийских играх, сопровождалось овациями. Впоследствии Плиний говорил, что всякая история, даже плохо написанная, бывает прият-

на. «Еще не зная употребления букв, народы уже любят историю», — писал Карамзин. За что любят? На это тоже трудно ответить. За что любят поэзию? За что любят музыку? Для всех поборников идеи политического и утилитарного значения истории упоминание ее в одном ряду с поэзией — лучшее доказательство ее ненужности. Но у кого, в наши дни, повернется язык сказать о ненужности поэзии? Между тем, исследователями выяснена древнейшая связь ее с историей.

Прежде чем стать наукой история была поэзией. Даже по форме. В дописьменные времена она излагалась в стихах. Так продолжалось чуть не до Геродота. Но и с возникновением письменности, с появлением обширных трудов, поэтический характер продолжал отличать сочинения по истории. Даже в новое время, до самого девятнадцатого века она продолжала относиться к числу изящных искусств.

«История — мост между наукой и искусством» — выразился один из современных философов. Подлинная ценность исторического знания открывается людям способным чувствовать «дыхание веков», как выразился Флобер. Этим чувством могут обладать, по его мнению, «даже безхитростные умы». Вспомним гоголевских героев — рассказчиков, вроде Рудого Панько: «Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давным давно ни года, ни месяца ему нет, деялось на свете!»

Конечно, подобные повествования, в большинстве случаев — сплошные легенды, но в них — зерно «исторического чувства», столь ценимого Флобером.



Почему же историю все-таки называют наукой?

Ответ, обычно, связывают с именем Джамбатисты Вико — итальянского философа восемнадцатого века, который, будто бы поставил изучение истории на подлинно-научный путь своим сочинением о развитии человеческого общества. Он видел это развитие в извечно повторяющихся циклах: — эпоха богов, эпоха героев, эпоха людей. Это первая значительная попытка «обобщающего взгляда» на историю, от которой пошли позднейшие обобщения вплоть до марксистской точки зрения. Это и было объявлено «научным» методом. Но уже в XIX веке начала привлекать внимание фигура другого итальянца

XV-го века, Лоренцо Валла, доказавшего в особом трактате, подложность «Константинова дара» — грамоты, будто бы, выданной императором Константином, на основании которой римские папы считали себя светскими государями в Италии.

Именно это открытие положило начало выделению истории из сонма изящных искусств, философских и религиозных упражнений. В нем восторжествовала идея утверждения факта, как носителя исторической истины.

Против гегемонии факта восставал не один наш Чаадаев, но целый ряд подобных ему писателей на Западе. Они твердили: — накапливать факты бессмысленно; над ними надо размышлять, а не увеличивать их число. Однако вся плеяда исследователей устремилась на открытие новых и новых фактов. Появилось источниковедение, началась разработка архивов, издание документов и рукописных материалов, привлечены вспомогательные дисциплины — археология, нумизматика, эпиграфика, сфрагистика. Открылись неизвестные дотоле области прошлого. Никакие «размышления» не обогатили так наших сведений о всемирной истории и об истории отдельных стран, как эти трудолюбивые исследователи. Только их усилиями история поставлена на путь науки.

Нашим неистовым ее любителям — это пример. Не лучше ли, вместо того, чтобы истощаться в бесплодных дебатах о казнях Грозного или о вредных последствиях петровских реформ — приняться за серьезное изучение тех времен? Только глубокое знание людей, событий, всех особенностей эпохи дает право на «размышления» и выводы. Оно же воспитывает истинное понимание исторического процесса, как величайшей тайны бытия и человеческого духа.

*Н. Ульянов*

# СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

## ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Второй Международный Симпозиум, посвященный творчеству Достоевского, состоялся в городе Сант Вольфганг, в Австрии, с 24-го по 30-е августа 1974 года. Симпозиум был создан правлением Международного Общества по изучению творчества Ф. М. Достоевского. Это Общество было создано на общем собрании участников Первого Международного Симпозиума, который происходил с 1-го по 5-ое сентября 1971 года в Бад Эмсе, в Германии, и был посвящен 150-летию со дня рождения великого русского писателя. Второй Симпозиум был подготовлен и проведен Программным комитетом, в состав которого вошли: проф. Роберт Луис Джексон из Йельского университета, проф. Джозеф Франк из Принстонского ун-та и Михай Новиков из Бухарестского ун-та, и Организационным комитетом, в составе которого были: проф. Надежда Натова из Джордж Вашингтонского университета, проф. Георгий Докс — председатель австрийского Общества по изучению стран Восточной и Юго-восточной Европы, и проф. Рудольф Ньюхойзер из Канады — редактор Бюллетеня, издаваемого Международным и Северо-Американским обществами по изучению творчества Достоевского. Основная работа по подготовке Симпозиума была проведена проф. Георгием Доксом, снявшим на берегу озера Вольфганг для участников Симпозиума отель Аухоф и прилегающее к нему специальное здание для заседаний. К вечеру 24-го августа в этот отель съехались 75 человек из 15-и стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии (ФРГ), Голландии, Дании, Италии, Канады, Норвегии, Румынии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Швеции и Югославии. Ученые из других стран — Финляндии, Польши, Венгрии, Советского Союза и Новой Зеландии, изъявившие ранее свое желание принять участие в Симпозиуме, не могли прибыть в Сант Вольфганг по разным причинам, но некоторые из них прислали свои доклады или резюме докладов, а также приветствия своим коллегам, собравшимся в Сант Вольфганге, и пожелания успеха Симпозиуму в его работе. Прием, устроенный Организационным комитетом вечером 24-го августа, дал возможность участникам Симпозиума возобновить знакомства, завязанные в Бад Эмсе, и встретиться с новыми членами Общества и участниками Симпозиума, среди которых на этот раз

были такие всемирно известные ученые как профессор Дмитрий Иванович Чижевский из Гейдельбергского университета и профессор Ренэ Уэллек из Принстонского университета.

Утром 25-го августа Симпозиум был официально открыт председателем Международного Общества профессором Нилсом Оке Нилсоном из Стокгольмского университета. На заседаниях Симпозиума, продолжавшихся шесть дней, было представлено 45 докладов и сообщений на темы, включенные в программу: 1) Достоевский и Пушкин, 2) Достоевский и идеи европейского просвещения, 3) Достоевский и романтизм, 4) Достоевский и социальные и политические идеи сороковых годов, 5) Достоевский и социальные и политические идеи шестидесятых годов и 6) Поэтика Достоевского. В конце заседаний состоялись дискуссии на тему докладов каждого дня. Дискуссии — этот наиболее трудный вид научных собраний — вызвали живой интерес участников и были на этот раз успешны. В дискуссии, посвященной связи Достоевского с идеями европейского просвещения, приняло участие 16 человек; в дискуссии на четвертый день Симпозиума, когда главной темой дня было отношение Достоевского к социальным, философским и политическим идеям сороковых годов, приняло участие 17 человек. Таким образом активное участие в Симпозиуме приняло 56 человек, и каждому участнику была предоставлена возможность высказать свое мнение по поводу обсуждавшихся вопросов или свои соображения по поводу проблем, затронутых докладчиками. Организаторы Симпозиума распределили время и на заседаниях, разделенных на утренние и послеобеденные сессии, а также и вне официальных заседаний, таким образом, чтобы предоставить участникам Симпозиума как можно больше возможности обсудить интересующие их вопросы, поделиться своим опытом и результатами своих исследований. По мнению участников, в устной и письменной форме, высказанному членам Организационного комитета, Симпозиум успешно выполнил свою задачу.

Положительным фактом следует считать активное участие во Втором Симпозиуме большинства участников первого, Юбилейного, Симпозиума, состоявшегося три года тому назад в Бад Эмсе, куда, как известно, Достоевский приезжал четыре раза для лечения минеральными водами. Следует также отметить активную работу во время подготовки Симпозиума представителей Германии, Румынии и Италии, обеспечившей вдвое большее число ученых из этих стран, прибывших на Симпозиум, в сравнении с Первым Симпозиумом в Бад Эмсе. В Сант Вольфганге были не только литературоведы, сделавшие предметом своего специального исследования произведения Достоевского, но и философы, среди которых в первую очередь следует упомянуть профессора Рейнгарда Лаута из Мюнхенского университета, психологи и специалисты по сравнительной литературе

как профессора Дмитрий Чижевский, Рене Уеллек, Ион Замфиреску (Румыния) и Мишель Кадо (Франция). Очень важно было участие профессора психологии, философии и медицины, директора экспериментальной психиатрической клиники при Гейдельбергском ун-те Хуберта Телленбаха. В своем докладе и в выступлениях в дискуссиях проф. Телленбах дал новую, основанную на научных данных, интерпретацию некоторых поступков и характеров героев произведений Достоевского. Участие в Симпозиуме представителя Дании проф. Карла Стифа, представителя Норвегии проф. Зигурда Фастинга и молодого югославского ученого Миливоје Йовановича также свидетельствуют о расширении деятельности Международного Общества по изучению Достоевского и об интересе, проявляемом к деятельности Общества со стороны ученых разных стран.

Сближению ученых из разных стран и созданию дружеской, непринужденной атмосферы способствовали также приемы, устроенные Организационным комитетом, прием, данный в честь участников Симпозиума доктором Эрвином Венцелем, главой правительства Верхней Австрии, совместно с представителем Министерства культуры и мэром города Сант Вольфганга, а также совместная поездка в Бад Ишл, где участники Симпозиума посетили виллу императора Франца Иосифа и музей композитора Легара. Следует также упомянуть, что в зале заседаний была устроена выставка работ участников Симпозиума с той же целью — способствовать более близкому ознакомлению участников Симпозиума и членов Общества с работами их коллег. Стены здания, в котором происходили заседания Симпозиума, были украшены работами австрийского художника Йоханнеса Крейчи, в которых он воплотил свое понимание идей и чувств, волнующих героев романа «Братья Карамазовы».

На общем собрании всех участников Симпозиума, 27-го августа, было решено созвать следующий, третий, Международный Симпозиум, посвященный творчеству Достоевского, в конце августа 1977 года. Представители двух стран — Румынии и Дании, профессора Михай Новиков и Карл Стиф, предложили как возможное место созыва следующего Симпозиума Бухарест или Копенгаген. Точное место следующего Симпозиума будет установлено летом 1975 года. Был избран также программный комитет в составе профессоров: Новикова, Стифа, Баццарелли, Ван дер Энга, Джексона и Йовановича, из шести стран: Румынии, Дании, Италии, Голландии, США и Югославии.

На собрании было также предложено и решено переизбрать Правление Международного Общества по изучению Достоевского в прежнем составе. Были утверждены на второй срок: Н. О. Нилсон, председатель Исполнительного Комитета (Стокгольмский ун-т), четыре заместителя председателя: Д. В. Гришин (Мельбурнский ун-т),

Р. Л. Джексон (Йельский ун-т), Р. Лаут (Мюнхенский ун-т), М. М. Новиков (Бухарестский ун-т); ученый секретарь Общества Н. А. Натова (Джордж Вашингтонский ун-т) и издатель Бюллетеня Общества Р. Ньюхойзер (Ун-т Западного Онтарио, Канада). Была также избрана финансовая комиссия в составе проф. Георгия Докса (Австрия) и Хорста-Юргена Герика (Германия).

В последний день Симпозиума, 30 августа, по инициативе одного из заместителей председателя Общества, в старинной католической церкви Сант Вольфганга была отслужена панихида по Достоевскому. Сделано это было по традиции, ведущей свое начало от Юбилейного Симпозиума, где панихида по великому русскому писателю была отслужена в русской церкви Бад Эмса, в которой молился еще сам писатель во время своего пребывания в Эмсе в 1876 году.

Симпозиум в Сант Вольфганге закончился вечером 30 августа банкетом, на котором были подведены итоги встречи ученых из 15-и стран и выражена надежда на следующую плодотворную встречу через три года на Третьем Симпозиуме.

*Ученый секретарь Международного Общества  
по изучению творчества Достоевского  
Надежда Натова*

## РУССКАЯ МУЗЫКА ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

В русской культуре последних веков почетное и яркое место принадлежит блестящему цветению русской музыки. Но как досаден пробел в образовании многих русских поколений: мы все прилежно и даже мелочно изучали в среднеучебных заведениях историю русской литературы, ее основные направления, ее лучшие произведения, подробности жизни наших писателей. Но нам очень мало говорили о других проявлениях русской духовной жизни: о развитии искусства — живописи, архитектуры и музыки.

А между тем, если в международном аспекте имена Толстого, Достоевского и Чехова несомненно известны и дороги каждому образованному человеку, то ведь также известны и имена многих наших музыкальных творцов, и их жизнь и их значение следовало бы знать со школьной скамьи.

Все мы знаем, что музыка, особенно пение, близки народной душе. Богатство наших народных песен с их своеобразием идет во многом еще от языческих времен. Гусли были нашим древним инструментом еще у первых княжеских певцов. Но если у нас случайно сохранилось «Слово о полку Игореве» как образец высокого лирико-эпического вдохновения древней Руси, то у нас нет никаких записей русской светской музыки того времени. И трудно судить, насколько

бедные напевы былин, записанные в XIX веке, отражают полноту древних напевов.

Во всяком случае древняя Русь знала светское пение, может быть, уже и многогласное (под влиянием церковного), но почти не знала оркестровой музыки, разнообразия светских инструментов. Между тем наличие органа в католических церквях вызвала в Западной Европе богатое развитие инструментальной музыки уже в средние века.

На Руси церковная стихия создала церковное пение, и до Петра Великого русская музыка тесно связана с церковной, как и вся литература московского периода.

Пересадка западноевропейских форм культуры в XVIII веке вызвала к жизни светскую литературу в рамках сперва классицизма, затем сентиментализма. Таланты Ломоносова и Державина дают уже в этих формах яркие создания пробуждения и перевоплощения народного духа. Но музыка еще дремлет. Если в XVIII веке имеются уже придворные театры и оркестры, то они в руках немцев, а еще больше итальянцев, бывших нашими учителями в этой области. Итальянское бельканто и совершенство пения «а капелла» повлияло прежде всего на нашу церковную музыку.

У Бортнянского (1752-1825) и Турчанинова (1779-1856) очень много итальянских приемов, хотя и они стараются связывать эти приемы с византийской традицией.

Робкие начала русского светского творчества есть и в области пения и театра. Так появляются впервые комические оперы (оперы-буфф), написанные не только итальянцами, но уже и русскими. Например, «Танюша» Волкова (1756 г.), «Анюта» Фомина (1772 г.) и «Мельник, сват и колдун» (1796 г.) Титова, первые романсы Нелединского-Мелецкого.

В Александровскую эпоху музыка развивается, сильно запаздывая по сравнению с литературой. Карамзин и Жуковский уже реформируют русский язык и стиль, вносят и искренние и глубокие настроения в русскую прозу и поэзию, но музыка проявляется лишь в первых робких попытках сентиментального романса, начиная с Н. А. Титова, Варламова и Гурилева, начавших писать в 1820-х годах. Национальной оперы еще нет: на национальный подъем Отечественной войны отозвался лишь итальянец Кавос оперой «Иван Сусанин» (1815 г.). Сентиментальный романс, в котором изредка встретится народный мотив, — вот начало русской самостоятельной оперы.

Но движение идет быстро. Русские композиторы овладевают не только церковным многогласием, но и сложной техникой оркестровой полифонии. Западный романтизм создал историческую оперу на национальные сюжеты. И как отзвук романтизма явилась «Аскольдова могила» Верстовского (1799-1862), а накануне ранней смерти

Пушкина гениальный Глинка (1804-1857) создает своего «Ивана Су-санина» в 1836 году. На первом представлении были и Пушкин и Жуковский и радостными стихами приветствовали великое событие — создание настоящей русской национальной оперы.

Опера Глинки имеет огромное значение. Он уже овладел искусством оркестра благодаря упорному труду самоучки. В России тогда еще не было музыкальных школ. Глинка много взял у итальянцев (в обработке голосовых партий), он научился и у немцев (общий стиль романтической оперы, искусство контрапункта). Но он сознательно обратился к русским сюжетам и русским напевам, к русским хоровым песням. В своей второй опере «Руслан и Людмила» (1842 г.) он еще глубже вошел в русскую стихию, а кроме того, ввел и восточные мотивы, столь обогатившие позднее русскую музыку. Наконец, перед смертью Глинка серьезно изучал старое русское церковное пение. Это проявление русского самосознания в западноевропейском совершенстве форм роднит его с Пушкиным.

За Глинкой следует сильный, но суховатый Серов (1820-1871) с операми «Рогнеда» и «Юдифь», поклонник Вагнера. Велико значение Даргомыжского (1813-1871): в романсах он достигает самыми скромными средствами удивительной искренности выражения, идя дальше Шуберта и Шумана. Под влиянием эстетики Чернышевского он провозглашает принцип «правды выражения» как основное требование. Искусство должно отражать жизнь. Он готов отказаться от внешних эффектов ради внутренней правды. Если в своей «Русалке» (1855 г.) на пушкинский текст он еще близок к народно-романтической опере Глинки, то в «Каменном госте» он идет по новому пути, подчиняя музыку тексту и жертвуя напевностью ради психологической экспрессии. Он сознательно стремится «приблизить музыку к естественным интонациям человеческой речи».

1860-ые годы — эпоха великого расцвета русской прозы: Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский. Поэзия как бы ослабевает (хотя пишут Некрасов и Ал. Толстой). Но с тем большей силой поэтическое начало находит себе исход в ярком цветении музыки. С одной стороны, в Петербурге создается народничество «могучей кучки». В эти годы изучения былин и народных песен несколько талантов, объединенных любовью к народу, к богатству простонародной песни, к миру родной истории и старых поверий, создали свой кружок. Их пятеро, они творят под руководством неистового публициста В. В. Стасова, проповедника реализма и народности в искусстве. Выше всех из них М. Мусоргский, раньше всех засиявший и раньше всех сгоревший (1839-1881). Его оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» поражают своим величием, своими новыми гармоническими сочетаниями, свежестью мелодических оборотов и силой трагического выражения. Это Богом данный гений, необычайно одаренный,

которому не повредили самые крайние натуралистические воззрения, которых он придерживался. Он провозглашал «назойливое ковыряние в тончайших чертах природы человека и человеческих масс» и этим обрекал музыку на служебную связь с вокальным искусством. Но его реализм достигает удивительной выразительности и в области сатиры («Блоха»), и в области нежного юмора («В детской»), и мрачного трагизма («Пляска смерти» и «Без солнца»).

Менее талантливы Балакирев (1837-1910) и Цезарь Кюи (1835-1917), более идеологи, чем природные таланты, но и они дали прекрасные достижения в области вокальной музыки.

Крупным талантом был Бородин (1834-1887), профессор химии, занимавшийся музыкой лишь урывками, но оставивший такое великое произведение, как опера «Князь Игорь» и несколько симфонических произведений.

Наиболее плодовитым был Римский-Корсаков (1844-1908), прошедший серьезную школу контрапункта. Он пишет симфонии уже на 20-м году жизни, овладевает богатством оркестровой звучности. Его оперы «Псковитянка», «Царская невеста», «Снегурочка», «Садко», наконец, «Сказание о граде Китеже» и сказки о «Царе Салтане» и «Золотом петушке» — воплотили в законченных формах мир родных фантастических поверий и родной истории. С богатством оркестровой обработки Римский-Корсаков сочетает свежесть мотивов (чаще всего взятых из народного творчества) и доводит до совершенства хоровые сцены. Это преобладание хоров в операх стало типичной чертой русской оперы. Оно связано и с многогласием русской церковной и народной песни и со стремлением сделать оперу выражением народной души, типичным для «могучей кучки».

Несколько иным путем пошел Чайковский (1840-1893), из Петербурга переселившийся в Москву и ставший там основателем московской школы творчества. По странной игре судьбы, европейский Петербург выдвинул национализм «могучей кучки», а матушка-Москва породила более западническое направление русской музыки. Оно выразилось прежде всего в Чайковском, которого иногда упрекали в чрезмерном подражании Западу.

Заслуга Чайковского в том, что, пройдя через консерваторию, он вполне овладел богатством техники и формальной структуры. Он написал и балеты, и романсы, и квартеты, и трио, и симфонические увертюры, и замечательные симфонии. Его шесть симфоний, написанные в течение четверти века — это лучшие достижения русской оркестровой музыки, каждая выше предыдущей. А четвертая, пятая и шестая — это (после Бетховена) высшие достижения европейской музыки XIX века, выражающие мировую тоску, общечеловеческие стремления и сохраняющие нечто бессознательно родное, русское в настроениях. Его оперы, в отличие от архаического уклона Римского-

Корсакова, изображают Россию после Петра Великого («Мазепа», «Пиковая дама», «Евгений Онегин») и тесно связаны с лучшими темами Пушкина. Искусство Чайковского выросло из Бетховенских принципов. Он воспользовался европейскими инструментальными формами и их органичностью, но создал русское звукоощущение в западных достижениях.

От Чайковского идет школа московских симфонистов: Ляпунов (1859-1924), Танеев (1856-1915), Рахманинов (1873-1943) и, наконец, Скрябин (1872-1915). Последние два особенно удаляются от оперного изобразительного начала в сторону симфонической и камерной музыки. Утонченное искусство Скрябина, исходя от Шопена и Чайковского, ушло в область искания новых гармоний, дематериализации звука и этим предвляло новые пути XX века.

Мировую славу приобрел Рахманинов, с его четкими ритмами, с пианистическим блеском, создавший яркие вдохновенные вещи, особенно его 2-й и 3-й концерты для фортепиано с оркестром.

За исключением Скрябина, совершенно отказавшегося от вокального творчества, все названные композиторы, посвящая менее внимания опере, очень любят вокальное искусство. Танеев, Аренский, Рахманинов, Гречанинов дали многочисленные романсы, всегда с серьезным выбором слов, с глубиной содержания и выражения. Недаром каждый из их романсов издавался всегда с переводом на иностранный язык.

Скажем, русская музыка в течение XIX века прошла быстрыми шагами огромный путь от скромных начал, от первых салонных романсов Титова до величественных симфоний, монументальных опер и богатой камерной музыки, овладев всеми формами, накопленными в Западной Европе в течение веков, став наравне с немецкой, итальянской и французской музыкой и даже может быть перегнав их.

Вспомним, что русский балет, который долгое время, начиная с XVIII века, находился под влиянием итальянских и французских композиторов, в еще более короткое время прошел тот же путь. Чайковский и Аренский стали писать балеты и этим отблагодарили этот вид театрального искусства. Богатые средства императорских театров поставили эту отрасль на удивительную высоту, и к началу XX века русский балет, с именами Анны Павловой, Нижинского, Карсавиной и др., совершил триумфальное шествие по Западной Европе, уже ознакомившейся с русской оперой и русским симфоническим искусством.

Можно сказать, что западный мир в бóльшей мере знает нашу культуру по нашей музыке и театру, чем по нашей литературе. Гораздо меньше знает он нашу живопись и архитектуру.

*Проф. А. В. Соловьев*

# БИБЛИОГРАФИЯ

## О КНИГЕ Н. С. АРСЕНЬЕВА «ДАРЫ И ВСТРЕЧИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ»\*

Всегда радостно и полезно прочесть книгу, чей автор выше тебя духовно. «Дух дышит, где хочет», а его веяние благотворно для сердца. Книга Н. Арсеньева писалась долго, составлена из очерков с 1942 года по 1972-73 гг. Своеобразие тринадцати очерков — духовной и душевной автобиографии их автора — в гармоническом соединении личных воспоминаний о своей семье, о Московском университете и оценке роли и духовного служения русской эмиграции, трудов А. Хомякова, В. Кожевникова, кн. С. Трубецкого и С. Франка. Но и это не исчерпывает богатого содержания книги. Во второй части дана мастерская глава «Что общего у нас со Средними Веками».

В книге влечет читателя чистота светлой печали, истинно благодарное Богу сердце, некая, примиряющая нас со всем грустно-тревожным в жизни, благость. «Богатство индивидуальных ценностей — именно в их незаменимой, бесконечно дорогой нам индивидуальности — и Основной Смысл, просвечивающий через них и влекущий, ведущий нас к Себе через них и вместе с ними. Смысл жизни в том, чтобы *прикоснуться к любви* и быть захваченным любовью и служить ей». Есть немало страниц особо художественных, и то тут то там поэтическое восприятие прорывается: «Надо мной раскинула свои гостеприимные длинные ветви *широкоплечая*, мохнатая ель... Тишина иногда ставит человека перед самим собой и перед тем, что ему дороже себя самого; она упрощает и смягчает душу... Воспоминания для молодых — призыв вперед, «А для старых эти вспыхивающие в душе отблески, эти светящиеся, оживающие в нас «оазисы» прошлого готовят тоже к тому, что впереди — к смерти, то есть, по-видимому, к еще более возвышенной, но совсем уже другой жизни».

В своей молодости и даже юности Н. С. Арсеньев старался «прикоснуться к глубинным источникам человеческой мысли», к религиозным вдохновениям и «к сокровищам художественного, поэтического творчества». Всю жизнь он искал источники Духа, находил их в св. Писании, в житиях святых, у Отцов Церкви и у величайших поэтов разных народов. Огромен перечень гениев разных наций,

---

\* Изд. «Посев», 1974 (стр. 340).

глубокомысленных и часто редких книг и трактатов прочтенных, продуманных и воскрывших душу и сердце. В книге останавливают наше внимание и очерки, посвященные матери и отцу философа. Вся трогательная любовь матери к людям, ее почти святая жизнь служения нуждающимся описаны и просто и впечатлительно. Вообще некий отблеск доброты, прощения, понимания людей и их слабостей найдет каждый в этом труде проф. Н. Арсеньева. Он умел и умеет быть благодарным и окружающей природе, и добрым людям нашего лихолетья, и поэтам, и мудрецам русским и иноземным. Боже, говоришь себе, какой же я малоблагодарный! И мне светил Новый Завет и Отцы Церкви, и Н. Лосский, и А. Хомяков и С. Франк, и В. Шекспир, и Достоевский, и Пушкин... Кажется восторгался, кое-что постиг, а благодарности, умиления-то почти не было. Ему учит Н. Арсеньев. Вот и спасибо! В наше время черствеют сердца, им не хватает умиления и тишины Благого и Благоговейного Молчания. Книга повествует и о напряженной борьбе, напр. в стенах Университета, за права духа, против дешевки материалистического истолкования культуры и Веры. Чрезвычайно показательно и поведение части студентов в 1907 году, когда «небольшие группы революционного студенчества в черных папахах, и иногда — помню — с дубинками в руках, врвались в аудитории, чтобы срывать лекции, но получали отпор (не рукопашный, а словесный) от самих слушателей...». Теперь же эдакие группы вместо дубинок вносят и оружие и... увы, им обычно уступают, замечу я. Любопытны и поучительны страницы, посвященные дореволюционным собраниям в «Кружке ищущих христианского просвещения» и в «Религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева», описание кликушества части декадентов и Андрея Белого (Бугаева) в частности. А если верно, что в предреволюционной России был «дух гуманной терпимости, преодолевавшей партийную или революционную, или сословную узость и стоящей в связи с высшими ценностями русской духовной традиции» и он не заглошался «и даже все более креп», то откуда пришло разрушение традиций, права и культуры? Как это случилось, спрошу я. Другое дело сам автор — Н. Арсеньев. Для него изучение гуманистических наук, вникание в творчество гениев служило лестницей восходящей к Небу. Вера в творческий Логос Божий начинала гореть в сердце молодого ученого. Размышление над книгой проф. Трубецкого, чтение св. Писания, Отцов Церкви, философов — Платона, Паскаля и В. Кожевникова, заставляло чутко относиться и к мистикам. Верно, что есть ложная или фальшиво-подражательная мистика, наигранный «экстаз» и т.п. Но справедливо и то, «чтобы понять их (мистиков) свидетельства, изучающий их тексты должен сам исполниться этим состоянием — благоговейным трепетом перед Истинным и Решающим Бытием — или, по крайней мере, теоретически

или психологически понять, что здесь мы... стоим перед самым святым в опыте человека».

Шестая глава посвящена «Проблеме единения христиан», в сути трактует об экуменизме. Судя и по результатам всего этого движения в книге Н. Арсеньева не видно настоящего успеха. Хорошие, умные, добрые христиане были, есть и будут близки друг другу. Но не в этом суть, по моему. Можно любить, преклоняться перед Блаженным Августином, Фомою Кэмпийским, св. Франциском Ассизским, св. Терезою и т.д., дружить с англиканцами и протестантами типа Вурмбрандта — но от экуменизма останутся «рожки да ножки». И Н. Арсеньев с грустью отмечает, что все это движение после 1948 г. «пошло по или профессионально-учено-богословскому или трибуно-политическому пути»...

С точки зрения человека большой духовной активности Н. Арсеньев рассматривает и значение русской эмиграции. Он видит смысл ее бытия в служении тому, что «не проходит», а вечно пребывает в виде духовной и духоносной традиции. Ей и посвящена жизнь Н. С. Арсеньева, его книги, речи и поэзия. Это свидетельство жизнью, словом и идеалом о Непреходящем, о Вечном в истории и душе человеческой.

Книга издана очень хорошо, а речь книги близка и проникает в любое неподвзятое русское сердце.

*Р. Плетнев*

ВАЛЕРИЙ ЧАЛИДЗЕ. *«Права человека и Советский Союз»*. Изд-во «Хроника». Нью Йорк. 1974.

Этот труд, посвященный правам человека в Советском Союзе, является, по-моему, наиболее полным и обоснованным в громадной литературе, вышедшей за границу на эту тему. Книга написана прекрасно, простым языком, понятным даже не подготовленному читателю. Книга является хорошим руководством на эту тему не только для русских эмигрантов, но, что особенно важно, для всего свободного мира. Этот труд должен бы быть переведен на все главные языки.

Но в книге есть утверждения, по которым хотелось бы высказаться. Так, например, в главе «Отмирание государства и права» автор пишет: «интересно отметить, что этот постепенный переход, повидимому, начался. В последние годы контроль партийных организаций над государственными оказывается более сильным, и не так давно, не без согласия американского президента, Генеральный секретарь партии вопреки Конституции представлял Советский Союз в официальных международных переговорах и подписывал соглашения от имени Советского Союза». И автор добавляет «...согласие американского президента, впрочем, понятно — на фоне нынешней

прагматичности мира естественно стремиться к тому, чтобы вести переговоры с реальными представителями власти, а не с лицами занимающими полусимволические посты, даже если это высшие государственные посты, узаконенные Конституцией.

Если проследить всю историю т. н. «советского права» с самых его истоков, т.е. со дня переворота 25 октября 1917 года и установления большевицкой диктатуры под вывеской «диктатуры пролетариата», то собственно говоря этот партийный контроль, не считаясь ни с какими органами «советской власти», осуществлялся большевиками с самого захвата власти. Новых тенденций, о которых говорит автор, мы совершенно не видим.

Об отмирании права автор пишет «...главное это здесь — одобренное советской правовой доктриной пренебрежение формализмом в юридической теории, законодательной деятельности и в юридической практике». И далее: «...так и на основе процедур, регламентированных партийным правом, а не государственным законодательством» ...Но и этого мало. Автор добавляет «...что советские органы власти, судя по их деятельности, не считают себя связанными никакими, вообще говоря, правовыми и моральными принципами и пренебрегают ими когда сочтут это нужным». И автор дает яркий пример подобного рода «деятельности». «В 1964 году Хрущев был смещен со своих постов и новый премьер А. Косыгин был назначен Указом Президиума Верховного Совета СССР, несмотря на то, что по Конституции СССР это не входит в полномочия Президиума: лишь Верховный Совет может назначить Председателя Совета Министров». Оказывается, не без сарказма, замечает автор, правительство просто забыло как положено назначать Председателя Совета Министров.

Эту интересную главу автор заключает так: «Пример высших органов власти заразителен и чиновники исполнительной власти также часто не считают себя связанными ничем, кроме соображений о «пользе дела». Обычно они уверены, что начальство не будет порицать их за превышение полномочий, если не нанесен ущерб «пользе дела» (польза в понимании начальства, разумеется). Так, например, «...известно, что вопросы регистрации брака не подлежат в конкретных случаях юрисдикции (т.е. компетенции Б. К.) Председателя Совета Министров, однако Косыгин вряд ли вспомнил об ограниченности своих полномочий, говоря Светлане Аллилуевой: «Живите как хотите. Но ваш брак регистрировать мы не дадим».

И еще одно замечание автора о советской «законности». «Подобно этому Президиум Верховного Совета не вспоминает об ограниченности своих полномочий, издавая в некоторых конкретных случаях, вопреки закону, непубликуемые указы о придании обратной силы уголовно правовой норме, назначающей более строгую меру наказания, чем та, которая действовала в момент совершения пре-

ступления (вследствие такого превышения Президиумом своей власти был приговорен к расстрелу по «валютному делу» Рокотов в 1961 г.).

Как вывод из этой книги, возникает вопрос: существует ли вообще в Советском Союзе право, как понимала всегда и понимает его теперь наука о праве в свободных государствах Запада? Так, например, профессор Московского Университета кн. Евгений Николаевич Трубецкой в своем известном труде «Энциклопедия Права» так определял понятие права. Право — это свобода. Там где нет свободы — там нет и права. И пояснял примером. Что такое крепостное право? Это свобода помещика распоряжаться трудом крепостного крестьянина. Отнимите эту свободу распоряжения и крепостное право падает, что и произошло 19 февраля 1861 года в России.

В. Чалидзе в своем труде прекрасно иллюстрировал, что по существу, в СССР правовых начал не существует, что их заменяют т. н. партийная мораль, распоряжения, указания и инструкции партийных органов, применяемые лишь в зависимости от политических требований момента.

О каких же, собственно говоря, можно говорить «правах человека» в Советском Союзе? В рабовладельческом государстве говорят не о правах а о неволе. И это хорошо показано В. Чалидзе в его труде.

*Борис Константиновский*

П. МУРАВЬЕВ. «*Время и день*». Нью Йорк, 1974. (333 стр.).

Это удивительная книга. Да, без преувеличения, удивительная. Она, как киплингская кошка, ходит сама по себе, и по своим собственным непроторенным дорогам. «Время и день» удивляет с первых страниц: его герой Боб Хендриксон, страдающий бессонницей, садится ночью в кресло у окна, и очень просто и естественно беседует с зайцем, живущим в саду. Причем заяц философствует не хуже самого Боба.

После такой смеси действительности и сказочности, повествование, казалось, должно было бы вестись в двух планах. Но в дальнейшем, на протяжении многих глав, оно ведется в тонах бытового романа. Все же фантастика не вполне исключена из него и нет-нет да и врывается в эту «реальную реальность», преображая ее.

Трагическая судьба Боба разворачивается на фоне современной Америки, — в Нью Йорке конца шестидесятых годов — точно, подробно и во многом даже проникновенно изображенной. Боб, без вины виноватый герой «Времени и дня», обладает всевозможными достоинствами, и совершенно лишен недостатков. Он добр, умен, великодушен и, что необходимо в Америке, активен и энергичен. Но он страдает «комплексом вины». Этот комплекс приводит его, в конце

концов, к самоубийству, как единственному выходу из ловушки, устроенной самому себе.

Боб романтик. Как впрочем и все персонажи романа. Все они благородны, благожелательны друг к другу. Никто из них, на протяжении 333 страниц, не совершил ни одного низкого поступка. Существуют ли такие люди? Не знаю. Когда-то они водились в большом числе (правда, наряду с теми, у кого душа черна как сажа) в литературе прошлого века.

Но до чего приятно встретиться с ними теперь, в особенности в сверхматериалистической, индустриализованной Америке, где им, казалось бы, совсем не место. Особенно с милым Бобом, жертвой своей безмерной романтичности. Ведь Боб погибает только оттого, что не проявил надлежащего восторга, узнав, что скоро станет отцом. А проявить этот восторг ему помешало то, что они с его женой Мэри месяцами мечтали о путешествии в Европу, которое наконец-то должно было осуществиться. Боб не сумел скрыть от жены своего разочарования, что путешествие расстраивается, и она, не менее романтическая чем он и к тому же безрассудная, не сообщив ему, решается избавиться от помехи-ребенка и в результате неудачной операции, умирает. Боб потрясен сознанием своей вины; он лишается сна и постоянно мучится угрызениями совести.

Положение осложняется и тем, что четырнадцатилетняя сестра Мэри, Кити, считает, что унаследовала Боба и, чтобы исполнить волю покойной, должна выйти за него замуж. Но как эта романтическая путаница приводит Боба к самоубийству, передать трудно. Это надо самому прочесть — столько в ней необычайных ощущений, мыслей, и так она вся пронизана поэзией. Особенно запоминаются страницы, где говорится о времени, живописи и музыке.

Но значит ли это, что «Время и день» — книга, лишенная недостатков? Совсем нет, недостатков в ней немало. Это, если не ошибаюсь, первая книга П. Муравьева и она, как и полагается, страдает отсутствием писательского опыта.

Прежде всего ее следовало бы очень сильно сократить. Она страдает многословием, бесконечными диалогами и ненужными подробностями. Автор не всегда отдает себе отчет, что важно для его повествования, а что вредит ему. Он, повидимому, не считается с золотым правилом Чехова: если на стене повешено ружье, оно непременно должно выстрелить. Во «Времени и дне» развешано много нестреляющих ружей. Ни к чему, конечно, и подробные маршруты с точным перечислением улиц и дорог, по которым ходят и ездят герои романа, как и сообщение цвета их автомобилей, их марок и года выпуска. Не следует подробно описывать и внешность не только эпизодических лиц, но даже и главных героев. Давно известно, что описание формы носа, цвета лица, морщин, глаз, бровей,

волос и так далее, как и точного указания роста и одежды, не создают «живого портрета», а напротив — мешают видеть описываемого. Такие описания слегка отдают архаичностью и дисгармонизируют с очень своеобразным и часто авангардным стилем, в котором написаны многие страницы.

Но все эти, легко устранимые недостатки не играют большой роли и не мешают «Времени и дню» быть удивительной книгой. Не только удивительной, но и доброй, светлой книгой. А добрых, светлых книг в современной литературе все меньше и меньше — к сожалению.

*Ирина Одоевцева*

*Андрей Седых. «Звездочеты с Босфора». Издание 2-е. Нью Йорк. 1973 (157 стр.).*

Каюсь, первое издание (1948) этой приятной книги Андрея Седых я как-то пропустил, не прочел, потому наверное, что жил тогда далеко, в Европе. И прочтя ее только теперь, во втором издании, захотелось о ней написать: надо написать, подумал я, в наши дни не часто встречаешь такую прозу. Но вижу, что написать о книге трудно потому, что И. А. Бунин (писатель «с абсолютным слухом», как он сам о себе говорит, и говорит, вероятно, правильно) уже написал о «Звездочетах с Босфора» почти все нужное в своем к ней предисловии. «Зная его (Андрея Седых) талантливость, — пишет Бунин, — я решил высказаться небольшим предисловием». И Бунин отмечает писательские черты А. Седых, сказавшиеся не только в этой книге но и в прежних: «отлично написано, легко, свободно, разнообразно, без единого фальшивого слова, с живыми лицами, с присутствием каждому из них языком». А об одном из рассказов книги («Миссис Катя Джонсон») Бунин пишет (и справедливо пишет!) что прочел его «качая головой, с намернувшимися на глаза слезами: как передано!» Мне остается только сказать: с подлинным верно! Мастерски передано!

Я хотел бы отметить язык книги — меткость его, непринужденность, верную, яркую окраску самых разных южных говоров, но и об этом уже сказал Бунин: «какая богатая лингвистика!», пишет он. Но все-таки и у меня осталось нечто, о чем Бунин не говорит. Отмечу — всегда верный признак хорошей прозы — ритм фразы. Когда я прочел начало, «зачин» рассказа «Гидра»: — «Гидра» грузилась в Варне третий день. Под вечер подвезли на подводе провизию — целую тушу быка, ящики с томатами, качкавал, хлеб», — я подумал после первой фразы: крепко зачин сделан и вспомнил даже классические зачины, как напр. — «Кирджали был родом болгар».

Хороши у А. Седых и все диалоги — точные, краткие, без лишних слов. А отсутствие «лишних» слов и есть первейший признак

мастерской прозы. В «лишних» словах читатель обычно и гибнет, от них и засыпает. А вот цирк у Седых: «— Парад аллэ! — Что могло сравниться по красоте с этой минутой? Под звуки марша на арену выходили наши кумиры — люди с сказочными и уродливыми бицепсами, сломанными ушами, низколобые, угрюмые тяжеловесы. Они были в разноцветных трико, в медалях, почетных поясах, лентах — цирк гремел от рукоплесканий». Правильно пишет И. Бунин, что в описании цирка у Андрея Седых «все чудесно» ...и «цирк удался ему не хуже Куприна».

После всегда тяжелой и страшной советской прозы за книгой «Звездочеты с Босфора» — отдыхаешь: ясно, солнечно, иногда смешно, иногда грустно и везде талантливо.

*Роман Гуль*

А. Е. КРУЧЕНЫХ. *Избранное*. Редакция и предисловие Владимира Маркова. Центрифуга. Т. 8. Изд-во Вильгельм Финк. Мюнхен. 1973. (520 стр.).

В эту книгу включены фотостаты сборников Алексея Крученых (1886-1968) 10-х и 20-х г.г. Много рисунков Н. Гончаровой, К. Малевича, О. Розановой и др. Редактор В. Ф. Марков — знаток футуризма, автор монографии о поэмах Хлебникова и Истории футуризма.

Крученых — один из изобретателей зауми, вымышленного иррационального языка. Самый знаменитый его заумный стих: *Дыр бул щыл*. Кое-кто из читателей воскликнет: какой вздор! Но заумь Крученых или Хлебникова не бессмысленна и не такая уж новинка. В начале 900-х г.г. заумные стихи писали немецкие поэты Пауль Шеербарт и более известный Христиан Моргенштерн, антропософ, друг Андрея Белого. А через несколько лет после русских заумников появились близкие им дадаисты в Цюрихе (Тристан Тзара, Хуго Балль и др.).

Заумные слова не имеют значения, но какой-то смысл можно в них обнаружить, и это установлено современными лингвистами, как западными, так и советскими. В СССР делались такие опыты: слушателям в лаборатории давались несуществующие слова, напр., яждец, агабак. Лабораторные кролики почти одинаково на них реагировали. Яждец не нравился (это ябеда шпион, а агабак восхищал (красивый юноша). В сборнике *Развитие фонетики русск. яз.*, 1966.

Записывались и, по большей части, однородные реакции слушателей на заумные стихи Крученых, Хлебникова и Елены Гуро. Русские заумники-футуристы — экспериментаторы. Но была и мистическая заумь. Это глоссолалия апостлов в день Пятидесятницы или же у хлыстов, а также у близких им сектантов Англии, США и в

магометанском мире. Как ни странно, к хлыстам ближе Гуго Балль, радевший в цюрихском кафе Вольтер... тогда как наши заумные поэты преимущественно экспериментировали хотя и читали хлыстовские песни. По своему духовному «чину» хлысты или американские вертуны (шэйкерс) куда выше современных заумников, включая цюрихских. — Они ведь действительно верили, что их устами глаголет Св. Дух.

Грамматики, лексикографы всегда старались *отвердить* языки, которые в невозвратные времена всеобщей безграмотности находились в текучем состоянии: так, немногочисленные дикари в Новой Гвинее до сих пор говорят на десятках наречий, их меняют и даже создают. Свой язык или хотя бы отдельные слова изобретают и дети дошкольного возраста. Очень много неологизмов у Андрея Белого, но их еще больше у футуристов и хлебниковский *смехач* уже вошел в русский язык. А у Крученых запоминается его *рококуй*... В нашу компьютерную эпоху понятна тоска футуристов или дадаистов не только по зауми, но вообще по речетворчеству. Они бунтари-анархисты, как по существу верно называл русских футуристов советский литературовед Михайловский (и не он один). Анархистами за оградой церкви можно назвать и хлыстов.

У Крученых не было речевого гения Хлебникова. Среди его стихов, как понятных, так и непонятных, поэты едва ли найдут счастливые стихи, которые сами собой бормочутся. Задорный полемист Крученых «разносит» Пушкина, а также символистов. Кое-что в его разносах забавно, но творческих мыслей у него мало. Его специальность — *сдвигология*. Сдвигами он называет повторения тех же слогов в конце слова и в начале следующего. Так, в стихе Пушкина он улавливает ик (икоты): *И к дальним берегам*... Но здесь ему явно изменяет его русский слух. Первые три слова произносятся слитно, и глухое *к* звучит как звонкое *г* — *игдальним*. У Пушкина Крученых нашел 7000 сдвигов, как звуковых, так и смысловых. Некоторые из них он «одобряет», напр., в этом стихе из *Е. О.*: *Узрюли русской Терпсихоры*... *Узрюли*, говорит он — это глазули (глаза)! Не так уж это еретично! Поэты и любители поэзии часто ищут и находят в самых логических стихах какое-то «блаженное бессмысленное слово» (Мандельштам). *Узрю* ли значит увижу ли, но слышится в нем и какое-то магическое *узрюли*!

Пусть и ошибаясь или завираясь, а иногда и что-то смутно угадывая, Крученых, как и другие футуристы, приучает внимательнее относиться к языку. Но, ударяя по нервам привычек (и иногда дурных) он, в противоположность Хлебникову, не дает никакой настоящей пищи ни уму, ни сердцу. Все же, в обширном хозяйстве русской поэзии нужен был и Крученых — поэт-Несчастливцев.

Юрий Иваск

ВАЛЕНТИНА БОГДАН. *Студенты первой пятилетки*. Буэнос Айрес. «Наша страна». 1973 (279 стр.).

Признаюсь, что, взяв в руки эту книгу, я была настроена настороженно: ведь и мои трудные студенческие годы начались именно в указанный период и поэтому я оказалась бы особенно чувствительной к неточному или неверному освещению, этой темы. Но с первых же страниц я почувствовала, что опасения напрасны: живо, ярко, умно и предельно правдиво Валентина Богдан рассказывает обо всем, связанном с темой ее книги. Ничто не забыто, не пропущено в воссоздании обстановки тех лет, и хотя я была студенткой гуманитарного вуза в Киеве, а В. Богдан училась на механическом факультете Краснодарского института пищевой промышленности, мне казалось, когда я читала страницы ее повести, что это мои собственные воспоминания, начиная со вступительных экзаменов: — «В связи со слухами о классовом и партийном подборе студентов, возбуждение среди экзаменуемых возросло. К заботам об экзаменах прибавилось еще беспокойство о социальном происхождении бабушек и дедушек».

Но вот мы обе — не комсомолки, к тому же идущие по происхождению только в третью очередь — все же начинаем наш студенческий путь, сразу же избилующий общими чертами: та же общественная нагрузка по ликвидации неграмотности среди взрослых, те же бесконечные собрания, на которых «прорабатываются» решения различных съездов и речи вождей; то же голосование по методу «кто против?», когда студентам предлагали уже готовую резолюцию и сидящие в зале узнавали из нее, что профессора и студенты требуют смертной казни очередных «врагов народа». «Резолюция была принята единогласно, никто не посмел поднять руки против».

Как знакомы бывшим студентам того времени описание субботников в подшефном колхозе или на заводе, занятий по пресловутому бригадному методу (описанному и мной в «Повести кривых лет»), «когда вся бригада должна будет равняться по слабому, разжевывая ему трудные места». В. Богдан не преминула упомянуть и о вопросе, волновавшем тогда умы молодежи и вызывавшем раздумья и споры среди студентов, не удовлетворенных официальными установками, полученными на лекциях диамата: «Когда исторические условия созревают для какого-то действия, нужная личность всегда находится».

Валентина Богдан — мастер диалога. В основном, ее книга построена не на описаниях, а на разговорах действующих лиц, и эти разговоры — непосредственные, естественные, точно соответствующие по духу обстановке тех лет — правдиво отражают исторический фон и живо воссоздают в представлении читателей разные

типы студентов; автор подает их без ретуши, без нарочитого сгущения красок.

Интересен образ смелой студентки Ольги, позволившей себе мыслить самостоятельно, не следуя строго предписанным нормам — объявленной за это «неустойчивой в пролетарской идеологии», позже исключенной из института и посланной «для перевоспитания» на завод. Очень правдиво дан образ «твердокаменного» Максима. На каждом курсе, в каждом вузе были такие свои Максимы, о которых даже товарищи по комсомолу говорили: «Сказать откровенно, мы его боимся». Причины самоубийства «мягкотелого» комсомольца Федя тоже хорошо понятны тем, кто, если и не принимал лично участия в «раскулачивании», то слышал от товарищей о том, что происходило в селах и станицах в период проведения сплошной коллективизации — посылка студентов-комсомольцев «на борьбу с кулачем» применялась очень широко в описываемый В. Богдан период:

«Они работали по раскулачиванию казаков: делали обыски, выселяли кулаков из домов, в общем, помогали ГПУ. Одно дело было особенно неприятное: выбросили на улицу семью с несколькими детьми из их собственного дома. Нашли под полом спрятанное зерно... [Эти люди] сопротивлялись, потом хотели унести кое-какие вещи из дома, и их били, а отца тут же арестовали. После этого Федя пошел домой и покончил с собой... Когда его назначили к посылке, я говорил в Бюро: «Его не назначайте, он мягкотелый». Так мне ответили — «Пусть закаляется».

Показателен разговор Вали с Максимом по поводу известия о том, что «станция Полтавская подлежит поголовному выселению в Сибирь за саботаж и за невыполнение государственных заданий. Сообщается, что станция окружена кордоном войск ГПУ...» Под нажимом Вали, считавшей это большой несправедливостью, Максим, пытаясь оправдать такую меру, вынужден признать, что «нужно терроризировать, иначе коллективизация провалится... мы почти не встречали поддержки у населения...».

Не прошла Валентина Богдан и мимо позорного явления советской жизни сталинского периода — отказа от родных и близких во избежание репрессий. Так, студент Петр, состоявший по материнской линии в родстве с видным казачьим генералом, отказывается от матери, чтобы избежать исключения из института в качестве «классово-чуждого элемента» за год до получения диплома. Он признается любимой девушке, что мать сама настояла на таком поступке: — «Послать письмо в газету и отречься от нее — это ее идея. Она говорила: «Власть поступает с тобой несправедливо, и ты должен всеми средствами защищаться».

Петр надеется закончить институт, а затем добиться назначения

в какой-нибудь медвежий угол, где он не будет привлекать внимания и куда сможет выписать родителей. Пока же ему приходится мириться с презрением, которое не пытается скрыть большинство из его товарищей по институту.

Посылка студентов на уборку урожая сельскохозяйственных культур, страшные годы голода на Украине и Кубани — все это описано очень верно — как я могу судить по собственному опыту. Вот как рассказывает об условиях работы в колхозе немолодой студент-парттысячник, «партизан и член партии чуть ли не с семнадцатого года», Иван Платонович, посланный на уборку кукурузы руководителем группы студентов:

«...работа тяжелая, и погода отвратительная... На обед нам привезли суп из перловой крупы, жидкий, как вода. После работы на ужин такой же водянистый суп, только с пшеном... И так каждый день... Я решил поехать поговорить в парткоме... На меня в парткоме напали прямо ужас как, говорят — «ведь работают же колхозники на такой пище». Я им отвечаю: «если бы колхозники работали, нам бы не пришлось ехать им помогать... Поймите, дорогие товарищи, ведь студент на Днепрогде [Днепропетровская гидроэлектрическая станция], он не может работать на воде...» Ну, и влетело мне за это! Я и дезертир, и разлагатель, и не хочу выполнять партийное задание... Дали мне выговор с занесением в личное дело. Запачкали навсегда мое партийное лицо».

Все отмеченные выше факты были общими в жизни студентов разных вузов; но есть в книге и очень интересные страницы, посвященные уже только личному опыту автора. К таким относится красочное описание практики на сыроваренном заводе высоко в горах Кавказа, где Валя услышала все подробности восстания карачаевцев о котором она смутно слышала и раньше, но о чем нельзя было говорить.

В целом книга Валентины Богдан, легко, живо и талантливо написанная, рассчитанная на широкие круги читателей, так насыщена достоверными подробностями, так честно и точно передает атмосферу 1930-34 гг., что на нее могут ссылаться историки — она этого вполне заслуживает.

*Татьяна Фесенко*

#### ОКРЫЛЯЮЩАЯ КНИГА. (Второй сборник Зерновых)\*

Удельный вес этого второго тома «хроники семьи Зерновых» велик. Темы, затронутые в нем, разнообразны, глубоки и, как правило, увлекательны. Материал книги огромен. Читатель, даже не

---

\* За Рубежом. Белград-Париж-Оксфорд (Хроника семьи Зерновых) (1921-1972). Под редакцией Н. М. и М. В. Зерновых, ИМКА-Пресс, 1973, 561 стр.

один раз ознакомившийся с текстом, остается в положении «открывателя новых земель»: события личные, общественные, церковные, общеисторические, множество мыслей, поток драгоценных подробностей о людях и их деяниях, — полвека не только жизни одного человека, но шести авторов и полвека мировой эволюции в столетие революций. Все это отражено в весьма индивидуальных очерках, написанных, однако, с явным стремлением к точности, простоте, объективности и скромности повествования, — черты, гармонирующие с окрыляющим духом православия, радостно исповедуемого всеми участниками этого *соборно* созданного труда.

Надо воздать честь прежде всего редакторам: Николаю Михайловичу и Милице Владимировне Зерновым. Они удачно выполнили труднейшую задачу не только по приведению субъективных воспоминаний к тематическому согласию и хронологической последовательности (что это подчас было нелегко особенно заметно по «части четвертой: Вторая Мировая война»), но и к созданию текста, необычайно интересного для многих: читатель из части в часть и из главы в главу погружается весь, «с головой», в дела, чувства и рассуждения авторов и «сквозь них» в эпоху и события, нередко освещаемые здесь иначе, чем виделось из других стран или из другой среды.

Как и в первом томе «хроники семьи Зерновых», «На Переломе», основная тема второго тома хроники, «За Рубежом», оказывается *исторической*, т.е. повествующей *что, почему и как* случилось в биографиях авторов. В сочетании с темой развития религиозного сознания, пронизывающей все тексты в той или иной степени, книга представляет собой единственные в своем роде мемуары, звучащие как православный голос радостного утверждения Божьего мира без конфессионального подчеркивания или гордыни избранничества.

Читатели — с увлечением и с полным доверием — идут за авторами по «дорогам десятилетий» и по разным странам, куда привела их судьба. По моему, ряд описаний (например, Белграда двадцатых годов, Германии, особенно Англии и, в частности, Лондона), вероятно, попадут, со временем, в исторические хрестоматии, — настолько они содержательны и выпуклы в кратких выразительных характеристиках. (Отмечу, однако, мимоходом, что едва ли правильно было бы считать английского короля «правлящим монархом», стр. 40, — впрочем, эту «обмолвку» можно отнести за счет взволнованности молодого — тогда! — путешественника: устойчивость тронов объясняется в новейшей истории иной причиной — монархи «царствуют, но не управляют»).

Многочисленные изображения событий исторического значения, особенно набросанные Николаем Михайловичем, чрезвычайно ценны: при его таланте быть строго фактичным в описаниях и умно осторожным в обобщениях многие страницы из жизни русской эмиграции

звучат как-то по-новому, и они, конечно, будут исключительно важны, когда (когда-нибудь!) дойдет дело до написания истории русской эмиграции. В частности, в сборнике зазвучали совершенно иначе, чем часто принято, «югославянские мотивы» у русских, выброшенных революцией в Королевство сербов, хорватов, словенцев. Уточнены проблемы церковных споров и расхождений в зарубежье, вдохновляюще рассказано о Русском Христианском Студенческом Движении, приобрела «плоть и кровь» деятельность Содружества св. Албания и преп. Сергия, освещена, в какой-то мере, работа с русскими детьми в Париже и так далее.

Возможно, что описания и ударения, делаемые Зерновыми, не всеми и не во всех темах будут приняты безоговорочно, но обычно наиболее острые места отлично документированы, — в этом видна академическая основательность редактора.

Надо подчеркнуть, что у Н. М. Зернова интеллектуально взвешенные характеристики иногда выражены в чисто портретной живописи. Вот, например, А. В. Карташев, министр вероисповеданий Временного Правительства, историк русской церкви: «...Со светло серыми глазами и аккуратно подстриженной бородкой, он напоминал не то волка, не то северную лису, был весь складный, внимательный, слушал терпеливо собеседника, слегка склонив набок большую голову. Говорить Карташев был мастер. Плавно жестикулируя, прикрывая глаза, он, подобно многоводной реке, властно уносил с собою слушателей, не прибегая к ораторским эффектам, но покоряя их силой мысли, живостью образов, даром исторических прозрений...» Это замечательно меткий и верный набросок внешнего и внутреннего облика автора «Воссоздания Святой Руси». Или — вот, «умственный силуэт» одного из самых блестящих эсеровских ораторов, комиссара Временного правительства, некоторое время силою слова удерживавшего Черноморский флот от скатывания в большевизм, одного из редакторов «Современных Записок» и «Нового Града» — «Фундаминский был человеком большого обаяния. Высокий, представительный, с густыми, слегка вьющимися волосами, он напоминал русского барина. У него было широкое, великодушное сердце и редкий дар дружбы. Он был готов на любые жертвы для людей, которых он любил, и ради идей, в которые он верил. Его мученическая смерть завершила его творческую жизнь, отданную на служение евангельской истине, которую он обрел после долгих сомнений, трудов и подвигов». Точнейшее и справедливейшее определение основных черт этого необыкновенного человека.

Немалое количество подобных «портретных медальонов», множество полезнейших хронологических указаний, подчас библиографические ссылки на важные работы превращают сборник и, в частности, очерки пера Н. М. Зернова в своего рода «энциклопедию»

по некоторым секторам эмигрантской жизни. Эта жизнь была (несмотря на шаткость своей материальной базы) необычайно богатой культурными силами: эта — (по истине) золотая россыпь русской интеллигенции не показана в рецензируемой книге исчерпывающе, а только, конечно, по сектору авторских интересов, — однако, и то, что названо, производит сильнейшее впечатление.

Следует заметить, что иногда выбор имен не бесспорен: например, на стр. 126 назван поэт Б. Ю. Поплавский, но нет имени ни Георгия Иванова, ни Антонина Ладинского, литературное значение которых много выше автора «Флагов». Как будто-бы, нигде не произнесено имени Марины Цветаевой. (Попутно надлежит высказать сожаление, что в обоих томах нет указателя имен: конечно, указатели слегка удорожили бы книгу, но и сделали-бы ее более «доступной» для справок). На стр. 125 есть не совсем удачное обобщение: «Социал-революционеры группировались в Чехии, где они получали государственную поддержку. Их орган был: «Воля России». На самом деле чехословацкая помощь русским эмигрантам проводилась в индивидуальном порядке, и в Праге был самый разнообразный спектр русских политических и общественных организаций и много деятелей, весьма далеких от эсерства, хотя крупнейшая «единица» — Земгор (остаток российского Земско-Городского Союза), содержавшая русскую гимназию, громадную русскую библиотеку, санатории и разные технические курсы, действительно, возглавлялась группой из членов партии социалистов-революционеров. Эсеровская пресса существовала в разных странах.

В сборнике «За Рубежом» еще ярче, чем в сборнике «На Переломе», 1970 года, выступают индивидуальные черты авторов. Сестры Зерновы более эмоциональны, чем другие авторы. Софья Михайловна склонна к драматизации изложения (в большинстве ее очерков этот прием удается), она владеет диалогом. Мне запомнился в каком-то смысле «фильмовой рассказ» — «Первая поездка в Америку» и совершенно исключительное повествование — «Детский дом в Монжероне». Ее главы — «Церковные люди в России» производят глубокое и даже более того — сильное впечатление. В писаниях Марии Михайловны угадывается человек с полетом воображения, ее мистическая направленность легко воспринимается читателем (без скептического сопротивления, ибо ее искренность вне сомнений). Но тема «власовцев» сама по себе настолько страшна, что, может быть, было-бы лучше отказаться от последних двух несколько напыщенных фраз (об «обряде» и «страдном пути» русского человека, стр. 348).

Превосходны по сдержанности чувств, подчеркнутой точности языка и конкретности рассказа очерки доктора В. М. Зернова, из которых надлежит выделить главу «И. А. Бунин», дающую тонкие

зарисовки и писателя, и Веры Николаевны Буниной и слегка какой-то части парижской эмиграции.

Несколько десятков страниц в этом томе созданы М. В. Лавровой-Зерновой. Написаны они, по истине, прекрасно. Необычайная красочность изображаемой ею обстановки и сердечность ее отношения к окружающим людям (вместе со строгим авторским самоконтролем) особенно ярки в картинах Индии, Гавайских островов и Полинезии, где чета Зерновых тоже провела некоторое время, находясь как-бы в различных «православных миссиях». Совершенно единственна в своем лаконизме речи и в силе правды глава — «Братья и сестры по вере», — о впечатлениях в России во время ее поездок в отечество в 1963 году и — дважды — летом 1966 года.

У всех авторов необычайная для нашей эпохи — укорененность в религиозном понимании мира и безоговорочная, целостная, открыто выражаемая вера в Бога, чудесно помогающая всем им в «житейском море» и придающая всему сборнику окрыляющий характер радостного, оптимистического православия. В этом отношении сборник «За Рубежом» еще более силен, чем первый том «На Переломе». Много сложнейших вопросов бытия современной православной церкви и общения ее с иными христианскими верованиями, судьбы экуменического движения и сближения отдельных ветвей христианства затронуты и обсуждены в этой ценной книге, которая должна была бы стать настольной у всех, кто понимает или хотел бы понять, что такое религиозное начало в жизни.

Мне лично, стоявшему вдалеке от жизненного пути и делания Зерновых, дорого отметить наличие в их сборнике многих точек, в которых великолепная правдивость их повествования совпадает с моей осведомленностью в зарубежных делах и моими личными впечатлениями. Таковы, например, характеристики отдельных деятелей эмиграции, описания некоторых подробностей в работе Русского Студенческого Христианского Движения (в частности, в Эстонии; я присутствовал на съезде 1929 года в Псково-Печерском монастыре и, помнится, даже напечатал «Впечатления» о съезде в «Руле» — Берлин, в «Россия и Славянство» — Париж, в «За Свободу» — Варшава) или — например — рассказ нашего покойного общего друга, англиканского священника — о Джона Финдлоу, о митрополите Николае Крутицком и др.

Н. М. Зернов и все другие члены этой столь русской, дружной, воодушевленной семьи совершили — воистину — чрезвычайно важное дело, граничащее с подвигом, написав и издав эти — необычайной искренности, интересности и серьезности — воспоминания, преодолев при этом многие соблазны, подстерегающие мемуаристов и исповедников, и на многих сотнях страниц показав соборно силу

веры в непрестанном «добром делании», что и есть православное утверждение радости жизни.

«Хроника семьи Зерновых» — подлинный вклад в русскую культуру, талантливо отражающий своеобразие нашей эпохи и некоторые из русских путей в ней.

*Кембриджский университет*

*Ник. Андреев*

*Л. РЖЕВСКИЙ. Три темы по Достоевскому. Изд. «Посев», 1972.*

Есть в небольшой книжке Л. Ржевского покоряющие интонации и доверительный тон беседы. Талантливая наблюдательность, острый глаз, умение высказать свои интуиции, уместные ссылки на тексты Достоевского и высказывания о нем — все это привлекает, располагает и окружает вас атмосферой, благоприятствующей раздумьям.

Свои очерки автор начинает открещиваясь от «ермиловской линии» трактовки творчества Ф. М. Достоевского. Л. Ржевскому это нужно для того, чтобы раскрыть несколько тем, игнорируемых советскими клерками из департамента литературоведения. Но заслуживают ли сентенции такого «знатока» Достоевского, как В. Ермилов, того, чтобы их оспаривать? Ведь едва ли не каждый его пассаж пахнет все теми же серебряниками. В крайнем случае, тему Ермилов и Достоевский еще выдержит комедийный жанр, если тот, кто соблазнится им, запасется редкостным терпением, необходимым для знакомства с писаниями «знатока Достоевского» номер один. Наше скромное мнение: правильное отношение к «ермиловской линии» — игнорирование ее.

Первый очерк Л. Ржевского озаглавлен «Мотив жалости в поэтике Достоевского». Тема сострадания неоднократно привлекала внимание исследователей творчества великого русского писателя. Но едва ли не впервые этот мотив жалости трактуется как внутренняя «эмоциональная субстанция» романов Достоевского. Хотелось бы подробнее остановиться на этой синтетической, а потому и плодотворной идее, которая пришла к нашему автору как результат успешных попыток найти источник этической силы гениального писателя.

Второй очерк в книге Л. Ржевского посвящен «мистериям соблазна». Романы Достоевского постольку и гениальны, поскольку мистичны. Именно под этим углом зрения раскрывается нам признание писателя о своем реализме: я реалист, только в высшем смысле. В плане такого прочтения Достоевского, нашего автора интересует только «мистерия беса». Просматривая эту тему в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Бесах» и «Братьях Карамазовых», можно согласиться с утверждением Л. Ржевского, что именно через идею одержимости следует искать разгадку зла.

Выбирая очень точно цитаты, автор часто оставляет их без

комментариев. Очерк воспринимается скорее как заявка на исследование, обещающее быть интересным, нежели таковое; воспринимается как развернутое оглавление, конспект, план, набросок, но не как окончательный текст. И очень жаль, поскольку свежий исследовательский подход обещает читателю перспективу оригинальной мысли.

В языке автора нередко проскальзывает установка на структуралистические построения, что воспринимается как неподходящее средство литературоведческих наблюдений над романами Достоевского. Едва ли можно оспаривать структурный метод в приложении к некоторым аспектам литературы. Но нам кажется, что самая сущность искусства Достоевского недостижима для структурного анализа. И когда читаешь: «функция жалости» как «приема» или «экспонируемая эмоция жалости», — ощущается, что, хотя написано это и осторожно, но хороший вкус Л. Ржевского здесь изменяет ему. Право же, «структурное назначение жалости» не занимало Достоевского! Должно быть, все помнят сцену из «Преступления и наказания» — сон о забитой до смерти лошади. И как не помнить, ибо страницы эти — единственные по своей выразительности и остроте чувства в мировой прозе. И, повидимому, надо настроить себя довольно странно, чтобы и в данном случае говорить о «структурной функции жалости». Л. Ржевский, конечно, знает все это сам, ибо не напрасно же цитирует он Альфреда Бема: «Не объяснение творчества..., а воссоздание жизни через раскрытие творчества — вот путь к познанию Достоевского».

Третий очерк книги — «Язык романа «Бесы» и образ автора» — читается точно с тем же одобрением и с той же досадой, как и два предыдущих. Читателю предлагаются одновременно два подхода: во-первых, чистая интуиция, и чем больше автор доверяет ей, тем пронизательнее его наблюдения; во-вторых, некий «структурализм», который воспринимается нами больше как авторское настроение, нежели исследовательский метод.

В необозримой мировой литературе все же не так много художников слова, у которых глубока, а порой и неисчерпаема каждая деталь. В русской прозе таков — и не прежде ли всего — Достоевский. Вот почему его читатели приветствуют любую самостоятельную попытку увидеть глубину мысли Достоевского там, где прежде видели только «слово», только «образ». В этом смысле, бесспорно, содержательны наблюдения Л. Ржевского над языком романа «Бесы». Обильные цитаты, встречающиеся в очерке, имеют в виду две цели: они останавливают внимание на тех подробностях, из которых немалое число ускользало от нас при чтении романа; во-вторых, они приучают к искусству медленного чтения Достоевского, обещая нам такие открытия, о которых мы могли лишь подозревать.

В общем, свежесть мысли и острота исследовательских наблюдений устраняют те некоторые «сучки и задоринки» книги Л. Ржевского, о которых упоминалось. Многие читатели найдут в этих очерках идеи, вполне новые. После знакомства с «Тремя темами» возникает желание опять читать Достоевского, но еще вдумчивее и неторопливей.

*В. Крейденков*

РОМАН ГУЛЬ. «Дзержинский». Изд. «Мост». 1974 (162 стр.).

Дзержинский — это имя когда-то вселяло страх и ужас. Сегодня он — один из коммунистических «святых». Роман Гуль написал о нем книгу, первое издание которой вышло в Париже в 1936 году. Ссылка А. Солженицына на эту книгу в его знаменитом «Архипелаге Гулаг» навела Р. Гуля на счастливую мысль — выпустить второе, исправленное издание этой жуткой и вместе с тем весьма поучительной книги.

«Дзержинский» Р. Гуля — не просто биография российского Фукье-Тенвилля, но и описание того трагического периода в истории России, когда Ленин, защищая узурпированную им власть, вооружил ее «карающим мечом революции».

Дзержинский — это именно тот тип революционера, который был нужен Ленину для его террора. В своем исследовании Р. Гуль уделил особое внимание психологии и душевному складу Дзержинского. И правильно: без учета душевных качеств и характера Дзержинского нельзя понять, почему красный террор был так жесток, осуществляя свою пресловутую «революционную целесообразность».

Феликс Дзержинский — отпрыск старого польского дворянского рода. В юности он фанатически верил в Бога и готовился стать католическим священником. Как поляк, он ненавидел Россию и мечтал «уничтожить всех москалей». Сойдясь в гимназии с кружком юных марксистов, он внезапно отверг Бога и уверовал в «Эрфуртскую программу» с таким же фанатизмом и такой же нетерпимостью. С этого момента Дзержинский с головой уходит в революционную деятельность, сперва в родной Польше, а затем и во всероссийском масштабе.

Шесть раз арестованный, сославшийся и неоднократно бежавший из царской ссылки, Дзержинский встретил февральскую революцию в Бутырской тюрьме, где начал отбывать шестилетнюю каторгу. А в августе 1917 года «огненный поляк с сектантски вывихнутой душой» на партийном съезде был избран в ЦК большевической партии. 20 декабря 1917 г. созданием ВЧК был заложен «краеугольный камень террора», с назначением Дзержинского председателем этого бесчеловечного учреждения.

С этого момента этот фанатик революции полностью отдался уничтожению всех, кого считал врагами революции: «из-под пера Дзержинского смертные приговоры шли сотнями». В ВЧК он сумел подобрать таких же жестоких помощников: правая рука — Петерс, левая — Лацис. И опора — латышские полки и ЧОН. И иные подручные на местах: в Москве Кедров и Эйдук, на Кавказе Атарбеков, Саенко в Харькове, Урицкий в Ленинграде. Бела Кун, Шульман, Агранов, Землячка... Всех не перечесать.

Как пишет Р. Гуль, Дзержинский настоял «на присвоении ВЧК права непосредственной расправы на основе только ‘классового правосознания и революционной совести’. И право расстрела за ним было признано». Отсюда и вакханалия красного террора, своими кровавыми делами затмившего и испанскую инквизицию и террор якобинцев.

Недоучку Дзержинского Р. Гуль сравнивает с Робеспьером и Маратом. Р. Гуль пишет: «Арифметически председателя ВЧК можно определить так: это был на одну треть Робеспьер (без его ума) и на две трети Марат (без его дарованья). Для исторической личности смесь не особенно увлекательная». Но Дзержинский оказался «исключительно талантливым тюремщиком». Он лично допрашивал обреченных на смерть, работал по ночам и видимо от него идет «традиция» работы «органов» в ночное время.

Захватывающе интересна 15-я глава книги «Террор на террор». В ней краткая история разгрома организации Б. Савинкова «Союз Защиты Родины и Свободы» в мае 1918 года. В ней также краткая история заговора левых эс-эров, сопровождавшегося убийством немецкого посла графа Мирбаха. Когда заговорщикам удалось схватить Дзержинского и Лациса, власть Ленина повисла на волоске. Россия, казалось, была близка к освобождению... Увы, это был только миг, упущенный заговорщиками. Освобожденные Петерсом из-под ареста, Дзержинский и Лацис немедля жестоко расправились с восстанием, расстреливая не только виновных, но и всех заподозренных.

Убийство Урицкого Канегиссером и выстрел в Ленина Фанни Каплан вызвали новые волны красного террора. Как пишет Р. Гуль, «Не было ни одной губернской или уездной чеки, которая не расстреляла бы в отместку за эти выстрелы десятки и сотни невинных людей»... «На чекистском языке это называлось ‘противозаразной прививкой’. И Дзержинский привил ее в такой дозе, что страна замерла в кладбищенской тишине».

Дзержинский, организовавший систему террора и провокации, несомненно укрепил власть ленинской партии. Как правильно отмечает Р. Гуль, после создания ВЧК фактическая власть оказалась в руках Дзержинского. Морем крови ленинская революция победила.

Когда же не стало фронтов гражданской войны, с Европой начали завязываться дипломатические отношения, занялась заря НЭП-а, — Ленин решил спрятать главу своего кровавого ведомства. В 1921 г. Дзержинский стал наркомом путей сообщения. Свое техническое невежество он покрывал пропагандными окриками и действиями через Транспортные отделы ГПУ. То же самое было и после назначения Дзержинского в феврале 1924 г. на пост главы ВСНХ. В борьбе Сталина с Троцким Дзержинский стал на сторону Сталина. «Золотое сердце» Дзержинского перестало биться после его доклада 20 июня 1926 года — он умер от припадка грудной жабы.

Книга заканчивается кратким очерком «жизни и деятельности» Вячеслава Менжинского. Поляк, как и Дзержинский, Менжинский не был типичным «героем» большевицкой партии. В противоположность Дзержинскому, Менжинский был широко образован. Но Дзержинский, умевший подбирать нужных его кровавому ведомству людей, увидел в нем подходящего человека. После него Менжинский стал начальником ВЧК переименованной в ГПУ.

Книга Р. Гуля — предельно сжатое повествование только о начале террора. Эта книга дает ясное представление о том, как и чем смогла удержаться в России чудовищно нелепая власть большевиков. Книга интересна не только для историков и политиков. Каждый русский человек, интересующийся судьбами России, найдет в ней ответ на вопрос: как удержалась и укрепилась власть большевиков в России.

*Б. Прянишников*

ДМИТРИЙ ПАНИН. *«Записки Сологодина»*. Изд. «Посев». Франкфурт 1973.

Для меня эта книга, в первую очередь, интересна тем, что автор, рассказывающий в ней о своей жизни в СССР, с самого начала относился враждебно к советской власти. Так оно было и со мной и, без сомнения, с огромным числом людей. Панина революция застала еще ребенком, и в силу этого его опыт во многом тот же, что и моего поколения, хотя он и несколько старше. Надо еще прибавить, что Панин и принадлежит к самой мне знакомой среде интеллигенции (сам он не любит этого слова и хотел бы, чтобы его называли «интеллектуалом», но вряд ли такое словотворчество стоит поощрять).

Я могу по опыту подтвердить верность многого из того, о чем он пишет и что я сам когда-то пережил. Например, горячее сочувствие, которое мы испытывали сперва к Финляндии, потом к Испании в их борьбе против большевизма... Идеализированные пред-

ставления об эмиграции и мечты в один прекрасный день встретить в СССР людей, присланных «оттуда».

Можно еще присоединить к этому — надежду на Германию, при решительном отталкивании от ее государственной системы, и позже горькое в ней разочарование при виде ее безумной самоубийственной политики в оккупированной части России. Автор остается верен себе и логичным в своем полном сочувствии власовскому движению, в котором сам не мог участвовать, будучи во время войны уже в концлагере.

В отношении лагерей, — о которых я ничего не могу сказать по личному опыту, — любопытно отметить, что Панин, сидевший долгие годы вместе с Солженицыным, кое в чем с ним расходится. Так, по Солженицыну, у политических заключенных просто нет возможности бороться с уголовными; если же верить Панину, то небольшая группа спаянных между собой людей, правда, молодых и здоровых, но в конце концов рядовых интеллигентов, могла держать блатных на почтительном расстоянии.

Что до более общих теоретических суждений автора, они весьма различной ценности. Так, он вполне правильно указывает, что виновниками революции нельзя считать какой-либо отдельный народ в России, как например, евреев или латышей. «...Октябрьской катастрофе содействовал сброд, забросивший веру в Бога и наплевавший на любую национальную культуру. Троцкие, свердловы, кагановичи имеют такое же отношение к еврейскому народу, как ленины, бухарины, рыковы, абакумовы — к русскому; лацисы, петерсы — к латвийскому, джугашвили (сталины), берия — к грузинскому...».

Но наоборот, никак нельзя согласиться с Паниным, когда он дальше пробует всю вину возложить на интеллигенцию вкуче; и переворот сделала она, и большевики выделились из нее... Эти упреки были бы правильны только в применении к левой и еще скорее к крайне левой интеллигенции. Тогда как интеллигенция была и умеренная, и даже правая (иначе, куда же следовало бы отнести, например, Гумилева и Розанова?). Но дело в том, что тех интеллигентов, которые к большевизму не причастны, Панин хочет именовать «интеллектуалами». Конечно, тогда все меняется. Только вряд ли такие искусственные различия содействуют ясности мысли и изложения.

Другой пункт, наводящий на сомнения, это — умиление, с которым Панин говорит о своей встрече с Европой и особенно с Италией. Вполне понятно, что после СССР Запад ему предстал в розовом свете. И, конечно, у итальянского народа есть много хороших черт, включая и гостеприимство. Но как же Панин так таки и не заметил, насколько Италия пропитана коммунизмом? Менее удивительно, что при первых контактах католическая Церковь ему показалась единой

и дисциплинированной. Увы! И она, именно теперь, раздираема противоречиями...

Поживя несколько дольше в Европе, автор «Записок Сологодина» наверное и сам убедится, как сильно распространена в европейских странах коммунистическая зараза, как глубоко она проникает и какой страшный вред приносит. Увидит он и многое другое и тогда сможет судить о происходящем в мире более объективно и более трезво.

*Владимир Рудинский*

Ю. СРЕЧИНСКИЙ. *Как мы покорялись*. Цена октября. Издательство «Заря». Канада. 1974.

Эта небольшая книга отразила великое в малом. А появление ее вызвал А. И. Солженицын, пославший в своем потрясающем «Архипелаг Гулаг» несправедливый упрек русскому народу в том, что в 1917 году «мы с удовольствием покорялись», а потому «мы просто заслужили все дальнейшее».

Книгу Ю. Сречинского нельзя читать без волнения. Со всей горячностью сердца и твердым убеждением в своей правоте, автор вкратце излагает историю борьбы русского народа с коммунизмом еще в ранние, ленинские времена. Эту борьбу, впрочем, не заметили многие зарубежные историки, но она, как пишет Ю. Сречинский, не прошла мимо внимания С. Мельгунова, С. Маслова и профессора Питирима Сорокина.

Автор вполне основательно утверждает, что «только массивными дозами террора можно было удержать строптивый народ в повиновении». Больше того, задуманная Лениным и его партией мировая революция не удалась тогда именно благодаря сопротивлению русского народа.

Излагаемая Ю. Сречинским история тех дней покоится на бесчисленных фактах и серьезных документах, указанных в обширной библиографии, приложенной к книге.

Против советской власти восставали рабочие ижевцы и воткинцы; рабочие Ижорского завода; матросы Кронштадта. Но сильнее всего восставали крестьяне: так, по сведениям чекиста Лациса, только в 20 губерниях в 1918 г. было подавлено 245 восстаний и 99 восстаний в 1919 году. Подобные восстания происходили и позже — в 1920, 1921 и 1922 годах. А самое большое из них — Антоновское восстание в Тамбовской губернии — превратилось в подлинно народную войну крестьян с угнетателями-большевиками.

А. С. Антонов, в прошлом член партии эс-эров, возглавлял восставших крестьян с 15 августа 1920 года до июля 1921 года. Под

его руководством были сформированы две народные армии, насчитывавшие в своих рядах около 50 тысяч человек. Эти армии долго и не без успеха сражались против регулярных частей красной армии и войск ВЧК.

Для подавления восстания Ленин был вынужден бросить крупные силы, под командованием Тухачевского, только что расправившегося с матросами Кронштадта. В неравной борьбе тамбовские крестьяне были побеждены, и 20 июля 1921 г. представитель ВЦИК-а в Тамбовской губернии Антонов-Овсеенко мог послать Ленину победную телеграмму, гласившую об уничтожении «банд».

В главе «Мера нашего свободолюбия» Ю. Сречинский пишет, что торжество победителей обошлось России примерно в 20 миллионов человек за четыре с половиной года.

Итак, по пути большевизма наш народ добровольно не пошел. Неисчислимыми жертвами он доказал свое неукротимое стремление к свободе и вольному труду.

Небольшая, но предельно насыщенная фактами, книга Ю. Сречинского вышла в свет как нельзя вовремя. Пусть она напоминает каждому из нас, и особенно читателю иностранцу, о том огромном вкладе, который внес русский народ в дело защиты свободы не только в нашей стране, но и во всем мире.

*Б. Прянишников*

С. БЕЛОВ: *Книгоиздатели Сабашниковы*. Изд. «Московский рабочий». М. 1974 (176 стр.).

В последнее время в России пробудился интерес к национальному прошлому, к истории искусства и культурным памятникам. Тщательное, интересное и живое исследование библиографа, книголюба и Достоевсколога Сергея Владимировича Белова должно привлечь внимание и специалиста и всякого культурного читателя. С. Белов отмечает: «Когда братья Сабашниковы задумали издать первую книгу,\* Михаилу Васильевичу было 17 лет, а его брату — 16. Факт беспрецедентный в истории русского издательского дела, хотя и другие крупные представители русского книжного дела начинали издательскую деятельность в молодости: М. О. Вольфу был 31 год, А. Ф. Марксу — 31, И. Д. Сытину — 25, Ф. Ф. Павленкову — 26, П. П. Сойкину — 23». Семья Сабашниковых, из купцов Сибири, была высокообразованной. Дочь М. В. Сабашникова — известная детская писательница, Федор Васильевич Сабашников откупил и изумительно издал редкую рукопись Леонардо да Винчи «Кодекс о полете птиц»,

\* Труд проф. П. Маевского «Злаки Средней России», 1891.

1893 г. За это издание его в Италии сделали «почетным гражданином города Винчи». Учителями С. и М. Сабашниковых были люди высокой культуры и обширных знаний: С. Фортунатов, Ф. Егоров, С. Меч, М. Любавский, Н. Тихонравов, Ф. Корш и другие. Семья была очень талантлива и многие таланты были ее друзьями, как, напр. А. Рубинштейн, поэт Вячеслав Иванов, Ф. Зелинский, С. Жебелев. Первая жена Максимилиана Волошина — урожденная Сабашникова — оставила нам уже после революции ценную книгу воспоминаний "Die Grüne Schlange." В издательстве Сабашниковых вышли не только книги по дарвинизму, по новейшей ботанике, по физике и т.д., но и книги по истории и литературе. В программе издательства находим шесть основных разделов: 1) Античные писатели. 2) Творения Востока (Низами, Саади и др.). 3) Писатели Запада. 4) Народная словесность (Калевала, Сербский нар. эпос, Скандинавский эпос и т.д.). 5) Русская устная словесность и 6) Книги — «Библии».

Книгу С. Белова украшает предисловие академика Д. С. Лихачева. В нем он между прочим пишет: «Это необычная книга. Это книга о книгах, а точнее, о тех, кто их выпускает. Она посвящена жизни и деятельности замечательных русских книгоиздателей... Писать книги об издателях трудно... Но автор справился со своей задачей... Материал в ней изложен доходчиво и интересно». Это правда и жаль, что выпустили всего 35.000 экземпляров. Книга занимательна и полезна, своего читателя в России она найдет.

Р. Плетнев

ПОЛК. Н. М. ЛЕВИТОВ. *Корниловский Ударный Полк*. Париж. 1974 (669 стр.).

Корниловский Ударный полк, самый молодой полк Российской армии, и самый старый в Добровольческой армии, боровшейся с большевиками на юге России в 1917-1920 г.г. Сформирован полк был в страшный военный 1917 год, на юго-западном фронте, в мае месяце. В первом же бою, в июньском наступлении стремительным ударом полк прорвал фронт немцев под Повелче-Ямницы, захватил артиллерию и много пленных, и тем приобрел боевую славу.

После ареста ген. Корнилова и его бегства из Быхова на Дон, туда-же стали прибывать группами и по одиночке чины Ударного полка. Началась гражданская война. Ежедневно полк вел тяжелые бои с наступающими большевицкими отрядами. Насколько были сильны бои можно видеть по следующему примеру: с 1-го января 1919 г. по 1-е мая 1919 г. в Донецком бассейне, полк выдержал 57 боев. К 1-му января в полку числилось 1.500 человек, а за период с 1-го января по 1-ое мая, убитых, раненых, без вести пропавших

и заболевших было 3.303 человека. Всего же с 25 июня 1917 года по 1 ноября 1920 года полк участвовал более чем в 570 сражениях. Потери полка: убитыми — 13.674 человека, ранеными — 34.328, всего — 48.002 человека. Такова была боевая жизнь Корниловского Ударного Полка. О ней и пишет полковник М. Н. Левитов, последний, доблестный командир 2-го Корниловского Ударного полка, в своей книге «Корниловский Ударный Полк».

Много труда и терпения положил полковник Левитов по соби- ранию и восстановлению документов, пропавших во время отступ- ления к Новороссийску, и Крыму, и эвакуации за-границу. Нужно было не только собрать официальные документы, но и выбрать все нужное из предоставленных в его распоряжение воспоминаний участ- ников боев, да и самому полковнику Левитову удалось сохранить журнал боевых действий 2-го полка. Много времени ушло на то, чтобы систематизировать весь собранный материал и преодолеть разные затруднения с изданием книги.

Параллельно с описанием боевых действий корниловцев, в книге имеется и описание действий противника. Таким образом дается ясная картина боя. Для будущего историка, военного специалиста, это может быть очень ценно.

Книга начинается с описания событий 17 года, формирования полка. Далее — бои на фронте, прибытие на Дон, гражданская война, Галлиполи и начальные годы в эмиграции. Содержит она много ин- тересных сведений, характеристики командного состава, отдельных лиц, интересна глава о врачах и сестрах милосердия корниловского полка, написанная по материалам собранным одной из старейших полковых сестер милосердия В. С. Васильевой-Левитовой; описание боев с приложением схем, много редких фотографий.

Книга интересна, не только как воспоминания о прошлом, для еще живых участников боев, но и для всех, кому дорога память о русской армии, о корниловцах, о жертвенности и героизме белого воина в годы братоубийственной войны.

В одной из своих статей, последний начальник штаба дивизии, генштаба полковник Месснер пишет: «Мы вымираем, это значитель- ный, важный факт. Но мы еще существуем, — это тоже факт важный и значительный, потому что мы храним в душах своих, в полковых объединениях, дух России, дух Белой Борьбы, дух нашего доблест- ного войска». Книга полковника М. Н. Левитова сохранит для по- томства память о жертвенном подвиге, о борьбе за спасение России.

Издана книга хорошо, в мягком переплете, на котором изобра- жена полковая эмблема. Тираж, к сожалению, всего 300 экземпляров, но надо надеяться, что книга будет переиздана.

Д. А. ЛЕВИЦКИЙ. *Аркадий Аверченко. Жизненный путь.* Вашингтон. 1973 (192 стр.).

В 1968 году Д. А. Левицкий представил Славянскому отделу Пенсильванского университета диссертацию, посвященную жизни и творчеству забытого в наши дни выдающегося русского юмориста Аркадия Тимофеевича Аверченко. Отчетная книга это — первая часть обширной диссертации. В ней автор описывает жизненный путь Аверченко и лишь попутно касается его творчества. Как правильно отмечает профессор М. Ю. Гергелевич во вступительной (написанной по-английски), статье, труд Д. А. Левицкого по существу пионерский. До сих пор не было ни одной работы, которая бы описывала жизнь замечательного юмориста А. Аверченко, в свое время пользовавшегося большой известностью в России.

В предисловии Левицкий справедливо отмечает: «сообщаемые об Аверченко данные, в особенности в той части, которая относится к его биографии, очень скудны и, сверх того, нередко содержат противоречивые сведения и ошибки».

Заполнению «белых пятен» и исправлению грубых подчас ошибок Левицкий посвятил много времени, собирая по крупицам все, что могло быть собрано. В книге восемь глав: «Детство и юность Аркадия Аверченко», «Петербургские годы», «Скитания от Петрограда до Севастополя», «В 'белом' Крыму», «Первые этапы эмиграции», «В Чехословакии», «Гастрольные поездки», «Болезнь и смерть». Уже одно перечисление этих глав дает представление о том, что автор стремился наиболее полно охватить жизненный путь нашего юмориста.

Составляя биографический очерк, Левицкий использовал все доступные материалы: далеко неполную «Автобиографию» самого Аверченко; его архив, хранившийся у сестры писателя Ольги Тимофеевны Смирдиной, по первому браку — Фальченко, проживавшей и скончавшейся в 1965 году в Париже; свидетельства М. Г. Корнфельда, издателя журналов «Стрекоза» и «Сатирикон», импрессарио Л. Д. Леонидова, Н. В. Ремизова (Реми), Е. Е. Климова, Н. Н. Брешко-Брешковского и других лиц; статьи и рецензии, опубликованные в русских дореволюционных, в иностранных и эмигрантских газетах и журналах.

Как известно, Аверченко не получил законченного образования — он не окончил даже средней школы. Но природный талант быстро вывел его в первые ряды современных ему писателей. После первых опытов в «Харьковском будильнике» началась его петербургская карьера: журналы «Стрекоза», «Сатирикон» и, наконец, его собственный «Новый Сатирикон». После большевицкой революции советская власть закрыла «Новый Сатирикон». Писатель бежал на юг

России, где продолжал писать. В частности, в Крыму он написал свою известную «Дюжину ножей в спину революции», о которой — как ни странно — похвально отозвался Ленин.

Эмигрантский период жизни Аверченко был коротким, но полным творчества. Роковая болезнь унесла Аверченко в расцвете сил и таланта. Левицкий справедливо пишет, что смерть Аверченко вызвала большой отклик в эмиграции.

Отчетная книга издана отлично, с двумя фотографиями: Аверченко начала 20-ых годов в Чехословакии, и его памятник на Ольшанском кладбище в Праге.

Хорошо документированный автором труд читается с неослабевающим интересом. Он легко найдет место на книжной полке любителя русской литературы. В заключение, остается пожелать автору удачи в деле издания второй части диссертации, где рассматриваются отдельные этапы литературной деятельности А. Аверченко.

*Б. Прянишников*

ВЛАДИМИР АНТ. *«Песни Космоса и Земли»*. Сан-Франциско, 1971.

В этой небольшой книжке собраны стихи разного жанра, на разные сюжеты и разного качества. В наиболее удачных попадают места, где дышит подлинная поэзия, как, например, отрывок из стихотворения «Ноктюрн», в котором можно, пожалуй, уловить отзвуки Фета:

И тишина струится в дом,  
И каждый шорох чутко слышен.  
Задув свечу,  
Сижу, молчу,  
А за окном  
Цветенье вишен...

Другие строфы Анта нас несколько неожиданно переносят совсем в иную эпоху — к Ломоносову и Державину. Возьмем, например, «размышление о Божьем величии», заключенное в стихотворении «Земля»:

Достаточно на нашу землю бросить взгляд,  
Дабы уверовать в существованье Бога!  
Кто все условия для жизни взвесил строго?  
Кто создал нам цветущий этот сад?

и кончающемся так:

И кто растениям земным способность дал  
Усваивать себе для пищи минерал  
И существам живым дарить плоды посева?!

В некоторых стихах можно почувствовать влияние Гумилева; например, в географическом сонете «Тихий океан» (хотя, впрочем, чтобы быть точным, оно через Гумилева восходит, собственно, к Хосе-Мариа де Эредиа). Вот его последние строфы:

Он опьянен чудовищными снами,  
Родятся в нем тайфуны и цунами!  
Вулканами, как стражей, окружен  
От мыса Горн до пасмурной Камчатки  
Он всюду дерзко лезет на рожон  
И проявляет хищные повадки!

Оригинален цикл стихов, посвященных животным. Наиболее сильное впечатление производит «Песнь о мамонте», лучшие пассажи которого отдаленно напоминают описание дракона в гумилевской «Поэме начала»:

Он шел с косогора, огромен и грозен,  
Как темный, травую опушенный холм.  
И ноги его, как стволы стройных сосен,  
Давили кусты и лесной бурелом.

Отметим также «Балладу о трех котках». Прочитав полные любви стихи Анта о зверях, невольно думаешь, что и рай автор должен себе представлять по Ходасевичу:

...те сады за огненной рекой,  
Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин.

В своей поэзии Ант старается сочетать привычный поэтический язык с просторечными выражениями и терминами техническими и научными. Иногда это ему удается. Но порой на этой почве возникают шероховатости и неуклюжие фразы. Возможно, при дальнейшей работе эти разнородные элементы в его творчестве сольются в единое целое.

*Владимир Рудинский*

Д. В. ГРИШИН. *Речь Достоевского о Пушкине*. The University of Melbourne. Australia. Australian contribution to the Second International Symposium. Austria. 1974. (4 фотостата). 32 стр.

Проф. Д. Гришин, автор двух книг о «Дневнике Писателя», дает небольшое, но насыщенное фактами исследование критики современников Речи о Пушкине. Он приводит выдержки из ряда газет и журналов («Голос», «Дело», «Русское богатство», «Русский архив», «Будильник», «Вестник Европы») и таких лиц как: О. Миллер, К. Леонтьев, А. Амфитеатров, К. Случевский, Н. Михайловский, А. Гра-

довский и др. Даже леводушное «Дело» отмечало сразу необычайный успех Достоевского: «Передать речь Достоевского невозможно. Глубже и блистательнее ее ничего нельзя себе представить... Человеческое слово не может претендовать на большую силу». А. Амфи-театров вспоминал, что «речь раздавила, ослепила публику». Несколько позднее началась и критика речи, даже теми же, кто ее сперва восхвалял (Г. Успенский). Д. Гришин подобрал и здесь самое существенное в выражениях таких лиц как Н. Михайловский, К. Леонтьев, А. Горшков, А. Градовский. Но он же совершенно справедливо подчеркнул и ошибочность ряда упреков. Так на стр. 25 Д. Гришин замечает: «Призыв Достоевского к «смирению» был истолкован критиками с наводящей на самые грустные размышления упрощенностью». В конце брошюры даны верные замечания о стиле фразеологических сочетаний и лексике речи Достоевского.

*Ростислав Плетнев*

ОЛЬГА ЖИГАЛОВА. *Шалая Кассандра*. Washington D.C., V. Kamkin, 1971, 329 стр.

Первую книгу Ольги Жигаловой — «Ветер ветку клонит» — приветствовал И. А. Бунин. Что касается второй — отчетной — то Г. Адамович предсказывал, что «и в России роман будет иметь успех и читать его будут очень многие». (Остается только вопрос: когда это может произойти?..)

Героиня романа «Шалая Кассандра», Нина Брокгауз — русская по отцу: ее раннее детство прошло в России. Выросшая уже в Австрии, в поместье отчима, исколесившая много стран с мужем — знаменитым дирижером, она, рано овдовев, встречается с молодым американцем Мартином Филипс, только начинающим свою научную и служебную карьеру.

Описывая внешность своих героев, О. Жигалова отмечает: «Похожи и все же так различны. По всему было видно, что сделаны из разного материала: она была смесью огня и воздуха, он — земли с водой».

Между этими столь различными людьми вспыхивает глубокое и сильное чувство, длящееся годы. Вся книга, по сути, посвящена истории этого взаимоотношения и взаимоотталкивания, изображенного с пронизательностью. Фигуры Мартина и Нины выступают выпукло на умышленно бледном фоне немногочисленных второстепенных персонажей.

«Кассандрой» Нина называла своего двойника, неотступно шагавшего рядом с ней в ногу как неотвязчивая тень. Голос Кассандры звучит в книге на протяжении всего психологического единоборства

между Мартином и Ниной, и это интересный прием. Вообще роман интересен. Хорошо сделаны «наплывы» — сцены из прошлого Нины, когда, «нырнув памятью в такую глубину, где все успокоилось и прояснилось, она начала различать то, что было потеряно и казалось забытым».

Книга написана живо, хотя в ней встречаются «нерусские» формы принятых в русской речи иностранных слов: «синема» вместо «кино», «скептика» вместо «скептицизм», «наполеоны» вместо «наполеондоры», «эвкалиптусы» вместо «эвкалипты», «плимус», вместо принятого в русском языке географического названия «плимут», «Марта» вместо евангельской «Марфы» и т.д. При описании жизни на юге многократно употребляется (да еще в несклоняемой форме) не существующее в русском языке слово «пергола» (беседка или крытая аллея из вьющихся растений). Однако в книге много и зачинающихся образов. Например: «Французская широкая постель... заполняла всю маленькую комнату, как очки свой футляр». Отчим Нины, которому она рассказывает о своем романе, сравнивает ее любовь с... теннисом: «...посылаешь мячи, которые никогда не возвращаются. Пора заметить, что ты играешь партию без партнера».

Таких примеров можно привести много. Оригинальность стиля и неожиданность психологических коллизий придают книге Ольги Жигаловой своеобразие.

*Татьяна Фесенко*

## КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- С. Г. Пушкирев. *Петр Великий*. Оттиск из «Записок Русск. Акад. Группы в США». т. VII. Нью Йорк. 1973 (88 стр.).
- А. П. Федосеев. *Социализм и диктатура*. Сборник статей. Изд. «Посев». Франкфурт на Майне. 1973 (286 стр.).
- Р. Петрович. *Младороссы*. Материалы. Изд. «Заря». Лондон. Онтарио. Канада. 1973 («1 стр.).
- Н. Троицкий. *Круг*. Новеллы. Изд. «Заря» Лондон. Онтарио. Канада 1973 (62 стр.).
- Нострадамус. *Центурии*. Вступление, перевод, примечания Вяч. Завалишина. Изд. Николас Дембре. Адрианополь. 1974 (288 стр.).
- Миртала Кардиналовская. Стихи. Предисловие Р. Якобсона. Бостон. 1972 (75 стр.).
- В. Н. Жернаков. *Алексей Павлович Хионин*. Биографический очерк и библиография. Мельбурнский Университет. 1973 (5 стр.).
- Евгений Климов. *Репродукции рисунков и литографий*. Канада. 1974.
- Виктор Морт. *Мера подлости*. Всеславянское изд. Нью Йорк. 1973 (364 стр.).
- Творческие работы учеников Толстого в Ясной Поляне*. Под ред. Томаса Виннера. Браун Юниверсити Пресс. Провиденс. 1974. (135 стр.).
- Хроника защиты прав в СССР*. Выпуск 7. Изд. Хроника. Нью Йорк. 1974. (64 стр.).
- Николай Арсеньев. *О жизни преизбыточествующей*. Брюссель. 1966. (285 стр.).
- Николай Арсеньев. *О «превозмогающем богатстве» Божиим и о Св. Писании*. Наброски и заметки. Нью Йорк. 1974 (67 стр.).
- Николай Арсеньев. *Безбрежное сияние*. Стихотворения. Си Клиф. 1972 (64 стр.).
- Андрей Седых. *Звездочеты с Босфора*. Предисл. И. Бунина. 2-е издание. Нью Йорк. 1973 (157 стр.).
- John Koethe. *Domes*. Columbia University Press. New York 1973 (57 pg.).
- Victor Terras. *Belinskij and Russian Literary Criticism*. The Heritage of Organic Aesthetics. The University of Wisconsin Press. Madison. 1974 (305 pg.).

- Martin Dewhirst and Robert Farrell.* The Soviet Censorship. The Scarecrow Press. Inc. New York 1973 (170 pg.).
- Nikolai Evreinov.* Five Modern Plays. ARDIS. Ann Arbor 1973 (272 p.).
- Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej.* 13. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa. 1974 (281 p.).
- Jack V. Haney.* From Italy to Muscovy. W. Fink Verlag. München 1973 (198 pg.).
- Russia Mediaevalis. Tomus I.* Ediderunt John Fennel, Ludolf Müller, Andrzej Poppe. W. Fink Verlag. München 1973. (235 p.).
- Dmitrij Tschizewskij. Skovoroda.* Harvard Series in Ukrainian Studies. 18. W. Fink Verlag. München. 1974. (233 p.).
- Jacques Kayaloff.* The Battle of Sardarabad. Mouton. The Hague—Paris. 1974 (220 pg.).
- Charchoune.* Une archéologie de l'âme par Alain Bosquet. Galerie de Seine. Paris. 1974 (79 p.).
- The Gogol Russian Library of Rome.* Roma. S.d. (9 p.).
- Серебряный век русского искусства:* John E. Bowlт, E. Klimoff, B. Losski, M. Ginsburg, M. Chomot. "Apollo", Edited by D. Sutton. London. 1973.
- Е. Е. Климов.* Русские художники. Сборник статей. Издательство «Путь Жизни». Нью Йорк. 1974. (262 стр.).
- Mnemosina.* Studia Litteraria Russica in honorem Vsevolod Setchkarev. Edited by J. T. Baer and N. W. Ingham. W. Fink Verlag. München. 1974 (S. 345).
- Дм. Кленовский.* Теплый вечер. Стихи. Мюнхен. 1975 (65 стр.).
- Гр. Свирский.* Заложники. Роман-документ. Изд. Объединенные издатели. Париж. 1974 (461 стр.).
- Роман Гуль.* Бакунин. Историческая хроника. Издание 3-е. Изд. «Мост». Нью Йорк. 1974 (208 стр.).
- Роман Гуль.* Дзержинский. Начало террора. Издание 2-е. Изд. «Мост». Нью Йорк. 1974 (162 стр.).
- С. Л. Войцеховский.* Трест. Воспоминания и документы. Изд. «Заря». Лондон. Онтарио. 1974 (192 стр.).
- И. Эренбург.* Лазик Ройтшванец. Перепечатка с издания 1929, Берлин. Изд. Финк Ферляг. Мюнхен. 1974 (271 стр.).
- Вл. Набоков.* Подвиг. Роман. Изд. Ардис/Мк.Гроо Хилл. Анн Арбор. 1974 (235 стр.).
- Вл. Набоков.* Машенька. Роман. Изд. Ардис/Мк.Гроо Хилл. Анн Арбор. 1974 (168 стр.).

- Сахаров о себе.* Изд. Альфред Кнопф. Нью Йорк. 1974 (27 стр.).
- Karl Hartman.* Volksepik am Weissen Meer. Wilhelm Fink Verlag. München. 1974 (S. 194).
- Georges Nivat.* Le Palimpseste de l'enfance. Etude sur Kotik Letaiev. Editions l'Age d'Homme à Lausanne. 1974.
- L'affaire Soljenitsyne:* an test révélateur sur les communistes et la gauche. "Est et Ouest." Paris. 1974 (40 p.).
- Ambroise Jobert.* De Luther a Mohila. La Pologne dans la crise de la chretiente 1517-1648. Institut D'Etudes Slaves. Paris. 1974 (483 p.).
- Dimitry V. Lehovich.* White Against Red. The Life of General Anton Denikin. W. W. Norton & Company Inc. New York 1973 (556 p.)
- James E. Falen.* Isaac Babel. The University of Tennessee Press. Knoxville. 1974 (p. 270).
- J. Thomas Shaw.* Pushkin's Rhymes. A Dictionary. The University of Wisconsin Press. Madison. 1974 (p. 673, in folio).

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛИ:**

**РОМАН ГУЛЬ**

**«О Д В У К О Н Ъ»**

**Советская и эмигрантская литература.**

Нью Йорк. 1973 (322 стр.) Цена 6 долларов

**РОМАН ГУЛЬ**

**«А З Е Ф»**

**Исторический роман.**

Издание 4-е исправленное

Иью Йорк. 1974 (319 стр.) Цена 6 долларов

**РОМАН ГУЛЬ**

**«Д З Е Р Ж И Н С К И Й»**

**(Начало террора)**

Издание 2-е исправленное

Нью Йорк. 1974 (160 стр.) Цена 4 доллара

На эту книгу, вышедшую в 1936 году в Париже, ссылается  
А. И. Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГ».

**РОМАН ГУЛЬ**

**«Б А К У Н И Н»**

**Историческая хроника**

Нью Йорк, 1974 (208 стр.) Цена 6 долларов

Все эти книги можно заказывать в редакции

**«НОВОГО ЖУРНАЛА»**

и во всех русских книжных магазинах.

Книготорговцам обычная скидка.

---

# Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией  
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1975 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1974 год 15 долларов  
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара  
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ  
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY  
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: **МО 6-1692**

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,  
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня

---